

# МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

Собрание избранных  
рассказов и повестей  
В ОДНОМ ТОМЕ





Полное собрание сочинений (Эксмо)

Михаил Зощенко

**Собрание избранных рассказов  
и повестей в одном томе**

«Эксмо»

1927-1950

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Зощенко М. М.**

Собрание избранных рассказов и повестей в одном томе /  
М. М. Зощенко — «Эксмо», 1927-1950 — (Полное собрание  
сочинений (Эксмо))

ISBN 978-5-04-193870-3

Михаил Зощенко (1894–1958) – знаменитый русский и советский писатель-сатирик, чьи колоритные персонажи мгновенно завоевывают любовь читателей каждого нового поколения. В этой книге представлены избранные произведения, отражающие все грани творчества автора: сентиментальные и исторические повести, юмористические рассказы и фельетоны, а также серьезное автобиографическое исследование «Перед восходом солнца».

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-193870-3

© Зощенко М. М., 1927-1950  
© Эксмо, 1927-1950

## Содержание

Сентиментальные повести	7
Аполлон и Тамара	7
Люди	19
Страшная ночь	39
О чем пел соловей	50
Веселое приключение	62
Сирень цветет	75
Мудрость	94
Коза	100
М. П. Синягин	112
Предисловие	112
М. П. Синягин	113
Рассказы	137
Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова	137
Предисловие[2]	137
Черная магия	158
Веселая жизнь	165
Гришка Жиган	169
Искушение	172
Последний барин	172
Веселые рассказы	178
Бабкин муж	181
Нищий	184
Несколько слов в защиту начальников	185
Молитва	187
Медаль	188
Божественное	189
Рыбья самка	190
Старуха Врангель	194
Рассказ про попа	200
Мадонна	204
Учитель	208
Свиное дело	209
Дисциплина	211
Плохая ветка	213
Попугай	214
Сенатор	217
Вор	220
Мемуары старого капельдинера	223
Свинство	224
Европа	226
Новый человек	228
Писатель	229
Последнее Рождество	231
Монастырь	233
Рассказ певца	236

Тетка Марья рассказала	237
Исторический рассказ	238
Колдун	239
Конец ознакомительного фрагмента.	240

**Михаил Михайлович Зощенко**  
**Собрание избранных рассказов**  
**и повестей в одном томе**

© Зощенко М. М., наследники, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

## Сентиментальные повести

### Аполлон и Тамара

#### 1

Жил в одном городе на Большой Проломной улице свободный художник – тапер Аполлон Семенович, по фамилии Перепенчук.

Фамилия эта – Перепенчук – встречается в России не часто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепенчуке, о фельдшере из городского приемного покоя, тем более, что оба они жили в одно время и на одной и той же улице, и по характеру не то чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались.

Но только фельдшер Федор Перепенчук помер значительно пораньше, да и, вернее, не сам помер, не своей то есть смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до IV конгресса.

Об этом газеты своевременно трубили: покончил, дескать, с собой, при исполнении служебного долга, фельдшер из городского приемного покоя, Федор Перепенчук, причина – разочарование в жизни...

Этакую, правда, нелепость могут досужие репортеришки написать. Разочарование в жизни... Федор Перепенчук и разочарование в жизни... Ах, какие это пустяки. Какая несусветная околесица!

Это правда: поверхностно размышляя, точно, жил, жил человек, задумывался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, на первый взгляд – разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепенчука, не сказал бы таких пустяков.

Это к Аполлону Перепенчуку, таперу и музыканту, могло бы подойти это слово – разочарование. Жил потому что человек, бездумно наслаждался прелестью своего бытия, а после, от причин исключительно материальных и физических, и от всяких катастроф и коллизий, – ослаб и к жизни, так сказать, потерял вкус. Но не будем забегать вперед, о нем, об Аполлоне Перепенчуке и будет наше повествование.

А вот Федор Перепенчук... Вся сила его личности была в том, что не от бедности, не от катастроф и коллизий он пришел к своим мыслям, нет, мысли его родились путем зрелого, логического размышления значительного человека. О нем не только что рассказ написать, о нем целые тома сочинений написать можно было бы. Но только не каждый писатель взялся бы исполнить труд этот. Не каждый бы мог быть биографом и, так сказать, жизнеописателем дел и мыслей этого выдающегося человека. Тут потребовался бы сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, а также и знание мельчайших вещей и вещичек – и о происхождении человека, и о зарождении вселенной, и всякие философские воззрения, теория относительно-сти и другие там разные теории, и где какая звезда расположена, и даже хронология исторических событий – все это потребовалось бы для изучения личности Федора Перепенчука.

И в этом отношении Аполлону Перепенчуку ни в какой мере с ним не сравняться.

Аполлон Перепенчук был, прямо-таки, перед ним пустяковый человек, дрянцо даже... Не в обиду будет сказано его родственникам. А, впрочем, родственников по прямой линии у него и не осталось, разве что тетка его по отцу, Аделаида Перепенчук. Ну, да и та в изящной словесности, пожалуй, что ничего не понимает. Пушай обижается.

Приятелей у него тоже не осталось. Да у таких людей, как Федор и Аполлон Перепенчуки, и не могло быть приятелей. У Федора никогда не было, а Аполлон растерял их, как впал в нищету.

И какой это мог быть приятель у Федора Перепенчука, ежели людей он не любил, презирал, вернее, образ своей жизни вел замкнутый, строгий даже, и с людьми если и разговаривал, то для того, чтобы механически высказать накопившиеся воззрения, а не затем, чтобы услышать возгласы одобрения и критику.

Да и кто, какой человек величайшего ума смог бы ответить на его гордые мысли:

– Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение, и если нет, то не является ли жизнь, вообще говоря, отчасти бессмысленной?

Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальнейшей культуры и для счастья вселенной. Но все это туманно и неясно, и для простого человека даже омерзительно. И тогда и всплывают разные удивительные вещи: для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более для дальнейшей культуры, и в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить, и мир от этого бы не изменился.

Но тут нужно гениальное перо и огромные знания, чтобы хоть отчасти отразить величественные замыслы Федора Перепенчука.

И, может, и не следовало бы тревожить тень замечательного человека, если б в свое время отчасти не дошел бы до этих мыслей ученик по духу и дальний его родственник – Аполлон Семенович Перепенчук, тапер, музыкант и свободный художник, проживавший на Большой Проломной улице.

Он проживал на этой улице за несколько лет до войны и революции.

## 2

Слово это – тапер – ничуть для человека не унизительно. Правда, некоторые люди, и в том числе сам Аполлон Семенович Перепенчук, до некоторой степени стеснялись произносить это слово на людях, а в особенности в дамском обществе, превратно полагая, что дамы от этого конфузятся. И если Аполлон Семенович и называл себя тапером, то непременно с прибавлением – артист, свободный художник, или еще как-нибудь по-иному.

Но это несправедливо.

Тапер – это значит музыкант, пианист, но пианист, стесненный в материальных обстоятельствах и вынужденный оттого искусством своим забавлять веселящихся людей.

Профессия эта не столь ценна, как, скажем, театр или живопись, однако и это есть подлинное искусство.

Конечно, существует в этой профессии множество слепых старичков и глухонемых старушек, которые снижают искусство это до обыкновенного ремесла, бессмысленно ударяя по клавишам пальцами, наигрывая разные там польки, полечки и мажоры.

Но под этот разряд ни в какой мере нельзя было отнести Аполлона Семеновича Перепенчука. Истинное призвание, темперамент артиста, лиризм и вдохновение его – все шло вразрез с обычным пониманием ремесла тапера.

Был при этом Аполлон Семенович Перепенчук в достаточной мере красив и даже изыскан. От лица его веяло вдохновением и необыкновенным благородством. И всегда гордо закусенная нижняя губа и надменный профиль артиста – делали фигуру его похожей на изваяние.

Даже кадык, простой, обыкновенный кадык или, как он еще иначе называется – адамово яблоко, то, что у других людей было омерзительно и вызывало насмешки, у него, у Аполлона



Перепенчука, при постоянно гордо закинутой голове – выглядело благородно и даже напоминало что-то греческое.

А ниспадающие волосы! А бархатная блуза! А темно-зеленый до пояса галстук! Собственно говоря, необыкновеннейшей красотой наделен был человек.

А те моменты, когда он появлялся на балу своей стремительной походкой и статуей замирал в дверях, как бы окидывая все общество надменным взглядом... Да, неотразимейший был человек. Не одна женщина лила по нем обильные слезы. А как сердито сторонились его мужчины! Как прятали от него жен под предлогом, что неловко, дескать, жене государственного, скажем, чиновника трепаться с каким-то таперишкой.

А то незабываемое событие, когда старший делопроизводитель Казенной палаты получил анонимное письмо с объяснением, что жена его состоит в нежных отношениях и в предосудительной связи с Аполлоном Перепенчуком!.. Та уморительная сцена, когда делопроизводитель этот два часа караулил на улице Аполлона Семеновича, чтобы помять ему бока, и по ошибке, введенный в заблуждение длинными волосами, избил секретаря городской управы...

Ах, смешные были дела! И что всего смешнее, что все скандалы, записочки и дамские слезы не имели под собой никакой почвы. Имея счастливую внешность ловеласа, романтика и разорителя чужих семей, Аполлон Семенович Перепенчук был, напротив того, необыкновенно робкий и тихий человек.

Он даже чуждался женщин, сторонился их, считая, что настоящий, истинный артист не должен связывать ничем своей жизни...

Правда, женщины писали ему записки и письма, где назначали ему тайные свидания и называли его ласкательными и уменьшительными именами, но он был непоколебим.

Записочки и письма он бережно хранил в шкатулке, в свободное время разбирая их, нумеруя и связывая по пачкам. Но жил уединенно и даже замкнуто. И всем знакомым своим при случае любил сказать:

– Искусство – это выше всего.

А в искусстве он был не последним. Конечно, существуют такие виртуозы, которые на одних лишь черных клавишах могут исполнить разные мотивы, до этого Аполлону Перепенчуку было далеко, однако он имел-таки собственную композицию-вальс «Нахлынувшие на меня мечты»...

Вальс этот он весьма успешно исполнял, при огромном стечении публики, в стенах Купеческого собрания.

Это было в тот год, о котором пойдет речь, год наибольшей его славы и известности. К этому счастливому времени относится и другое его сочинение, неоконченная «Фантази реаль», написанная в мажорных тонах, что не исключало в ней очаровательной лирики. Эта «Фантази реаль» посвящалась некоей Тамаре Омельченко, той самой девице, что сыграла такую решающую и роковую роль в жизни Аполлона Семеновича Перепенчука.

### 3

Но тут автор должен объясниться с читателями. Автор уверяет дорогих читателей, что он ни в какой мере не будет извращать событий. Напротив, он будет их восстанавливать именно так, как они и происходили, сохраняя при этом самые мельчайшие подробности, как например: внешность героев, образ их мыслей, или даже сентиментальные мотивы, которые так не по душе самому автору.

Автор заверяет дорогих читателей, что с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением он вспоминает кое-какие сентиментальные сцены, о которых он должен рассказать, те сцены, когда, например, героиня плачет над портретом, или когда та же героиня

зашивает порванную гимнастерку Аполлону Перепенчуку, или когда, наконец, тетюшка Аделаида Перепенчук объявляет о распродаже гардероба Аполлона Семеновича.

Эти описания пойдут, так сказать, вразрез со вкусом автора, но все это будет сделано ради истины. Ради истины автор сохраняет даже подлинные имена героев. Пусть читатель не думает, что автор из эстетических соображений назвал своих героев столь редкими, исключительными именами – Тамара и Аполлон. Нет, именно так они и прозывались. И это, впрочем, ничуть не удивительно. Автору доподлинно известно, что все девицы в семнадцать и в восемнадцать лет на Большой Проломной улице прозывались именно Тамарами или Иринами.

А произошло такое исключительное событие по причинам достаточно уважительным. Семнадцать лет назад стоял здесь полк каких-то гусар. И такой это был замечательный полк, такие красавцы все были эти гусары и так они воздействовали на горожан с эстетической стороны, что все младенцы женского пола, родившиеся в то время, названы были, с легкой руки супруги начальника губернии, Тамарами или Иринами.

Так вот, в тот счастливый, полный головокружительного успеха год Аполлон Семенович Перепенчук встретил впервые и нежно полюбил девицу Тамару Омельченко.

Было ей тогда неполных восемнадцать лет. Была она не то чтобы красавица, а была она лучше красавицы – такая у ней была во всем благородная закругленность форм, такая плывущая поступь и такое очарование нежной юности. Все мужчины, проходящие мимо, будь то на улице, или даже в обществе, называли ее – булочкой, пончиком или пампушкой. И при этом глядели на нее с большим вниманием и удовольствием.

В тот год она тоже полюбила Аполлона Семеновича Перепенчука.

Они встретились на балу в стенах клуба Купеческого собрания. Это было в начале европейской всемирной войны. Ее поразил вид его, необыкновенно благородный, с гордо закушенной нижней губой. Он был восхищен ее нетронутой свежестью.

В тот вечер он был в особенном ударе. Он бил по роялю со всей силой своего вдохновения так, что дежурный старшина пришел попросить его играть потише, оправдываясь тем, что действительные члены клуба обижаются.

В этот момент Аполлон Перепенчук понял, какой он, в сущности, незначительный еще и мизерный человек. Он, в силу своей профессии прикрепленный к музыкальному инструменту, не сможет даже подойти к любимой девушке. И, раздумывая так, он выражал звуками всю свою тоску и отчаяние несвободного человека.

Она кружилась в вальсах и мазурках со многими представительными мужчинами, но глаза ее все время останавливались на вдохновенном лице Аполлона Перепенчука.

И в конце вечера, преодолевая девичий стыд, она сама подошла к нему, попросив сыграть что-нибудь из его любимых мотивов. Он сыграл вальс «Нахлынувшие на меня мечты».

Этот вальс решил дело. Она, охваченная трепетом первого чувства, взяла его руку и прижала к своим губам.

Злобная молва о новом марьяже Аполлона Перепенчука тотчас охватила все здание Купеческого клуба. Никто не старался скрыть своего любопытства. Мимо них фланировали люди, подсмеиваясь и хихикая. Даже те, кто одевался уже вниз, сбросили свои шубы и снова поднялись наверх, чтобы самим воочию убедиться в правильности пикантных слухов.

Так началась эта любовь.

Аполлон Перепенчук и Тамара стали встречаться по праздникам на углу Проломной и Кирпичного и, гуляя до вечера, говорили о своей любви и о том замечательном, незабываемом вечере, когда они встретились впервые, вспоминая при этом каждую мелочь, прикрашивая все и восторгаясь друг другом.

Это длилось до осени.

А в тот день, когда Аполлон Семенович Перепенчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара, пришел просить руки Тамары, она, с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, невзирая на просьбы своей матери и домочадцев.

– Мамаша, – сказала она, – да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным, знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену.

Во время ее реплики Аполлон Перепенчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову.

Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать, она боялась бедности и необеспеченной жизни, той жизни, которую влачат почти все люди.

Аполлон Перепенчук бросился к себе. Он жил несколько дней в каком-то тумане, в остервенении каком-то, стараясь придумать способ стать знаменитым, прославленным музыкантом. Но то, что раньше казалось ему легким и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным.

В его уме мелькали разные планы: уехать в другой город, бросить музыку, бросить искусство и искать счастья и славы в другой профессии, на другом поприще, стать, например, отважным авиатором, делающим мертвые петли над родным городом, над кровлей любимой девушки, или, наконец, стать изобретателем, путешественником, хирургом... Но это были все только планы. Аполлон Перепенчук тут же разрушал их, смеясь над своей фантазией.

Он послал в Петербург сочинение свое – вальс «Нахлынувшие на меня мечты», но неизвестно, что случилось с рукописью: затерялась ли она на почте, или какой-нибудь человек присвоил ее себе, впоследствии выдавая ее за свою композицию, – неизвестно. В свет она так и не вышла.

Нынче даже мотив ее позабыт. Разве что тетушка Аделаида Перепенчук сохранила его в своей памяти. Ах, она так любила напевать этот вальс!

К этому времени относится и другое сочинение Аполлона Перепенчука – неоконченная «Фантази реаль», неоконченная не в силу творческой беспомощности. Она была не кончена, ибо новый удар сразил нашего бедного героя.

Аполлон Семенович был призван в ряды армии как ратник второго разряда, могущий нести службу в тылу действующих войск.

То, что в фантазиях своих он думал: уехать, искать счастья на стороне, теперь исполнилось.

В декабре шестнадцатого года Аполлон Перепенчук пришел проститься с любимой девушкой.

Даже самые циничные люди, самые зачерствелые сердца плакали, глядя на их нежное расставание.

Прощаясь, Аполлон Перепенчук торжественно сказал, что он или совсем не вернется, или вернется прославленным, знаменитым человеком. Он сказал, что ни война, ни что другое не остановит его стремления к этому.

И девушка, благодарно смеясь, сквозь слезы сказала, что она вполне ему верит и что она непременно будет его женой, когда он вернется таким, как она это хочет, ради их взаимного счастья.

#### 4

И вот прошло несколько лет. Четыре с лишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепенчук уехал в действующую армию.

Огромные изменения произошли за это время. Социальные идеи в значительной мере покачнули и ниспровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался от сыпняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепенчука относится к тому же времени.

Жизнь в городе чрезвычайно изменилась. Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко. И люди боролись за право свое прожить.

И никто за это время не вспомнил Аполлона Семеновича Перепенчука. Разве что Тамара Омельченко да еще тетушка его, Аделаида Перепенчук. Конечно, может быть, и еще какая-нибудь девица подумала о нем, но подумала как о романтическом герое, а не как о тапере и музыканте. Как о тапере о нем никто не вспоминал и не пожалел. В городе таперов не было, да они были и не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них профессия тапера была вымирающей.

На всех вечерах подвизался теперь маэстро Соломон Беленький с двумя первыми скрипками, контрабасом и виолончелью. На всех вечерах, благотворительных балах, на свадьбах и на крестинах работал с успехом, несомненно, головокружительным, этот неизвестно откуда появившийся человек. Его все полюбили. И верно: никто так, как он, не смог бы вертеть скрипку в руках, переворачивая ее и в паузе ударяя по деке смычком. Мало того, он играл попури из любимейших мотивов, мог исполнять разнообразнейшие танцы и заатлантические танцы, как-то «тремудар» или «медведь». При этом не сходящая с его лица улыбка и даже некоторое добродушное подмигиванье танцующим окончательно сделали его любимцем веселящейся публики. Он был, так сказать, артист современности. И он вытеснил из памяти горожан и в прах растоптал Аполлона Семеновича Перепенчука.

А в тот год, когда Аполлона Перепенчука стала забывать Тамара, и даже тетушка Аделаида Перепенчук, считая племянника своего без вести погибшим, вывесила на воротах записку, объявляющую гражданам о распродаже гардероба Аполлона Перепенчука, как-то: двух пар мало ношенных брюк, бархатной тужурки с темно-зеленым галстуком, пикейного жилета и еще кое-каких вещей, – в тот год он вернулся в родной город.

Он ехал в теплушке с солдатами и, подложив под голову мешок, лежал на нарах всю дорогу. Он казался больным. Он страшно переменился. Солдатская шинель, рваная, прожженная на спине, армейские ботинки, штаны широкие, цвета защитной материи, хриплый голос – делали его неузнаваемым. Казалось, что это был другой человек.

Даже губа, его гордо закушенная губа, была вытянута в ленточку от постоянного общения с кларнетом.

Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги, остальные живут, чтобы прожить.

Никогда никому он не рассказывал, как жил эти пять лет и что делал, чтобы вернуться в славу и с почестями.

Единственная вещь – кларнет, который он привез, дала повод людям заподозрить его в том, что славы он искал по-прежнему в искусстве. По-видимому, он был музыкантом в каком-нибудь полковом оркестре. Но ничего не известно доподлинно. Он писем никому не писал, не желая, вероятно, сообщать о незначительных фактах своей жизни.

В общем неизвестно.

Известно только, что вернулся он не только не знаменитым, – вернулся он больным, голодным даже – иным человеком – с морщинами на лбу, с удлиненным носом, с побелевшими глазами и низко опущенной головой.

Он, как вор, вернулся в дом своей тетушки, как вор, бежал по улицам от вокзала, стараясь, чтоб никто его не увидел. Но его если и видели, то не узнавали. Ничего не оставалось в нем старого. Был это другой Аполлон Перепенчук.

Самое возвращение его было ужасно. Новый удар, едва перешагнул он порог, обрушился на его голову. Вещи, его прекрасные вещи: бархатная тужурка, штаны, жилет – погибли безвозвратно. Тетушка, Аделаида Перепенчук, все распродала, вплоть до безопасной бритвы.

С некоторым даже равнодушием и безразличностью выслушал Аполлон Семенович тетушкины рыдания и, не упрекнув ее, только переспросив еще раз о бархатной тужурке, бросился к Тамаре.

Он бежал к ней, задыхаясь и ни о чем не думая, по Большой Проломной. Все псы выбежали ему навстречу и лаяли, пытаясь схватить его за ободранные штаны.

Наконец, еще усилие – ее дом, Тамарин дом... И Аполлон Перепенчук стучит кулаком в дверь.

Она, Тамара, встретила его испуганно, стараясь тотчас, сию минуту, понять, что с ним случилось. И, глядя на его рваную блузу, на изможденное лицо – поняла.

Он смотрел пристально, пронзительно в ее глаза, пытаясь проникнуть в ее думы, понять. Но ничего не понял.

Так они долго стояли друг перед другом, не проронив слова. Потом он стал перед ней на колени и, не зная, о чем сказать, тихо заплакал. Она тоже плакала над ним, по-детски всхлипывая и часто сморкаясь.

Наконец она села в кресло, а Аполлон, опустившись перед ней, бессмысленно лепетал какие-то пустяки. Тамара смотрела на него, но ничего не понимала и ничего не видела, она видела лишь загрязненное его лицо, свалывшиеся волосы и рваную гимнастерку. Ее сердечко, сердечко благоразумной женщины, сжималось. Она принесла нитки и ножницы и, попросив его, не сосчитав за труд, вдеть нитку в иглу, принялась зашивать ему гимнастерку, время от времени укоризненно покачивая головой.

Но тут автор должен сказать, что он не мальчик продолжать описание этой сентиментальной сцены. И, хотя осталось немного, автор переходит к психологии героя, нарочно опустив две-три сентиментальных и интимных подробности, как, например: она расчесывает своим гребнем свалывшиеся его волосы, она обтирает его изможденное лицо полотенцем и прыскает на него «Персидской сиренью»... Автор заявляет, что ему нет дела до этих подробностей, его интересует психология.

Так вот, благодаря этому нежному вниманию со стороны Тамары, Аполлон Перепенчук подумал, что все идет по-прежнему, что по-прежнему она его любит, и с криком восторга он бросился к ней, пытаясь заключить ее в свои объятия.

Но она сказала, нахмурившись:

– Любезный Аполлон Семенович, я, кажется, когда-то наговорила вам много лишнего... Надеюсь, вы не приняли мой невинный девичий лепет за чистую монету.

Он не поднимался с колен, с трудом понимая ее слова. Она встала, прошла по комнате и с сердцем промолвила:

– Может быть, я и виновата перед вами, но вашей женой я не буду.

Аполлон Перепенчук вернулся домой и дома вдруг понял, что ничто теперь не в состоянии вернуть ему прежней жизни и что прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым прославленным человеком. И еще понял: всю свою жизнь он жил не так, как нужно, не то делал и не то говорил... Но как было нужно, он и теперь не знал.

И, ложась спать, он усмехнулся с горечью, как некогда усмехался фельдшер Федор Перепенчук, стараясь, наконец, понять, проникнуть в сущность явлений.



5

В короткое время Аполлон Семенович Перепенчук страшно обеднел. Больше того: это была бедность, даже нищета, человека, потерявшего всякие надежды на улучшение. Правда, он и приехал без ничего, однако первое время он не хотел и не смел признаться в своей ужасающей бедности.

Теперь он с недоброй усмешкой говорил об этом тетушке своей Аделаиде Перепенчук: – Я, тетушка, беден, как испанский нищий.

Тетушка, чувствуя свою вину перед ним, старалась его успокоить, утешить, ободрить, говоря, что еще не все окончательно потеряно, что его жизнь еще вся впереди, что вместо проданного темно-зеленого галстука она сделает ему очаровательный лиловый из корсажа вечернего своего туалета, и что, наконец, бархатную тужурку за недорого взялся бы сделать знакомый ей дамский портной Рипкин.

Но Аполлон Перепенчук только усмехался.

Он не сделал ни одного шага, ни одной попытки как-нибудь изменить, поставить на прежний лад свою городскую жизнь. Это, впрочем, произошло с тех пор, как он узнал, что в городе на всех вечерах подвизается теперь маэстро Соломон Беленький. До этого какие-то неясные мечты, ускользающие планы теснились в его возбужденном мозгу.

Маэстро Соломон Беленький и исчезновение бархатной куртки сделали Аполлона Перепенчука безвольным созерцателем.

Он целыми днями лежал теперь в постели, выходя на улицу для того, чтобы найти оброненный окурочок папиросы или попросить у прохожего на одну завертку щепоточку махорки. Тетушка Аделаида его кормила.

Иногда он вставал с постели, вынимал из матерчатого футляра завязанный им кларнет и играл на нем. Но в его музыке нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот – это был какой-то ужасающий, бесовский рев животного.

И всякий раз, когда он начинал играть, тетушка Аделаида Перепенчук менялась в лице, вынимала из шкафика различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными солями и ложилась в постель, глухо стоная.

Аполлон Семенович бросал кларнет и снова искал успокоения в кровати.

Он лежал и проницательно думал, и мысли приходили к нему те же, что некогда тревожили Федора Перепенчука. Иные мысли, по силе и глубине, ничуть не уступали мыслям его значительного однофамильца. Он думал о человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка, и о том, что человечество, весь мир, должны изменить свою жизнь для того, чтоб найти покой и счастье, и для того, чтоб не подвергаться таким страданиям, как произошло с ним. Ему однажды показалось, что наконец-то он узнал и понял, как надо жить человеку. Какая-то мысль коснулась его мозга и снова исчезла неоформленная.

Это началось с малого. Аполлон Перепенчук как-то спросил тетушку Аделаиду:

– Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?

– Есть, – сказала тетушка, – непременно есть.

– Ну, а вот обезьяна, скажем... Обезьяна человекоподобна... Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?

– Я думаю, – сказала тетушка, – что у обезьяны тоже есть, раз она похожа на человека.

Аполлон Перепенчук вдруг взволновался. Какая-то смелая мысль поразила его.

– Позвольте, тетушка, – сказал он. – Ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и у мухи, и у червяка даже...

– Перестань, – сказала тетушка. – Не богохульствуй.

– Я не богохульствую, – сказал Аполлон Семенович. – Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую... Значит, у червяка тоже есть душа... А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам... И каждая половина, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?

– Отстань, – сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.

– Позвольте, – закричал Перепенчук. – Нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек – это кости и мясо... Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь. Только что живет по-выдуманному. А ему нужно по-другому жить...

Но как нужно было жить, Аполлон Семенович не мог объяснить своей тетушке – он не знал. Тем не менее мыслями своими Аполлон Семенович был потрясен. Ему казалось, что он начал понимать что-то. Но потом в голове его снова все мешалось и путалось. И он признавался себе, что он не знает, как, в сущности, надо было бы жить, чтоб не испытывать того, что он сейчас чувствует. А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него.

Он несколько дней кряду ходил по комнате в страшном волнении. А в тот день, когда волнение достигло наивысшего напряжения, тетушка Аделаида принесла письмо на имя Аполлона Семеновича Перепенчука. Это письмо было от Тамары.

Она, с жеманностью кокетливой женщины, писала в грустном лирическом тоне о том, что нынче она выходит замуж за некоего иностранного коммерсанта Глоба и что, делая этот шаг, она не хочет оставить о себе дурных воспоминаний в памяти Аполлона Перепенчука. Она, дескать, просит его всепокорнейше извинить за все то, что она с ним сделала, она прощенья просит, ибо знает, какой смертельный удар ему нанесла.

Тихо смеялся Аполлон Перепенчук, читая это письмо. Однако ее непоколебимая уверенность в том, что он, Аполлон Перепенчук, погибает из-за нее, ошеломила его. И, думая об этом, он вдруг отчетливо понял, что ему ничего не нужно, даже не нужна та, из-за которой он погибает. И еще ясно, окончательно понял, что он погибает, в сущности, не из-за нее, а погибает оттого, что он не так жил, как нужно. И тут снова все в голове его мешалось и путалось.

И он хотел тотчас пойти к ней и сказать, что не она виновата, а он сам виноват, что он сам совершил ошибку в своей жизни.

Но не пошел, потому что он не знал, в чем заключалась его ошибка.

## 6

Аполлон Семенович Перепенчук пошел к Тамаре спустя неделю. Это произошло неожиданно. Однажды вечером он тихо оделся и, сказав тетушке Аделаиде, что у него болит голова и что он хочет поэтому пройтись по городу, вышел. Он долго и бесцельно бродил по улицам, не думая о том, что пойдет к Тамаре. Необыкновенные думы о бессмысленном существовании не давали ему покоя. Он, сняв фуражку, бродил по улицам, останавливаясь у темных деревянных домов, заглядывая в освещенные окна, стараясь, наконец, понять, проникнуть, узнать, как живут люди и в чем их существование. В освещенных окнах он видел за столом мужчин в подтяжках, женщин за самоваром, детей... Иные мужчины играли в карты, иные сидели, не двигаясь, бессмысленно смотря на огонь, женщины мыли чашки или шили и почти все – ели, широко и беззвучно открывая рты. И, за двумя рядами стекол, Аполлону Перепенчуку казалось, что он слышит их чавканье.

От дома к дому переходил Аполлон Семенович и вдруг очутился у дома Тамары.

Аполлон Перепенчук прильнул к окну ее комнаты. Тамара лежала на диване и казалась спящей. Вдруг Аполлон Семенович, неожиданно для самого себя, постучал по стеклу пальцами.

Тамара вздрогнула, вскочила, прислушиваясь. Потом подошла к окну, стараясь в темноте узнать, кто стучал. Но не узнала и крикнула: «Кто?»

Аполлон Семенович молчал.

Она выбежала на улицу и, узнав его, повела в комнаты. Она стала сердито говорить, что не для чего ему приходить к ней, что все, наконец, кончено, что неужели ему недостаточно ее письменных извинений...

Аполлон Перепенчук смотрел на ее красивое лицо и думал, что незачем ей говорить о том, что не она виновата, а он виноват, что он не так жил, как нужно, – она не поймет и не захочет понять, оттого что в этом у ней была какая-то радость и, может быть, гордость.

И он хотел уж уходить, но вдруг что-то остановило его. Он долго стоял посреди комнаты, напряженно думая, странное успокоение пришло к нему. И он, оглядев комнату Тамары, бессмысленно улыбаясь, вышел.

Он вышел на улицу, прошел два квартала, надел фуражку. Остановился.

– Что такое?

В тот момент, когда он стоял в ее комнате, какая-то счастливая мысль мелькнула в его уме. Он забыл ее... Какая-то мысль, исход какой-то, от которого на мгновение стало ясно и спокойно.

Аполлон Перепенчук стал вспоминать каждую мелочь, каждое слово. Не уехать ли? Нет... Не поступить ли в письмоводители? Нет... Он забыл.

Тогда он бросился опять к ее дому. Да, конечно, он должен сейчас, сию минуту, проникнуть в ее дом, в комнату ее и там, придя на старое место, вспомнить эту проклятую мысль.

Он подошел к двери. Хотел постучать. Но вдруг заметил – дверь открыта. За ним не заперли. Он тихо прошел по коридору, никем не замеченный, и остановился на пороге Тамариной комнаты.

Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию, его – Аполлона Перепенчука.

Пусть на этом месте читатель плачет, сколько ему угодно – автору все равно, ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям.

Аполлон Перепенчук посмотрел на Тамару, на карточку в ее руке, на окно. На цветок, на вазочку с пучком сухой травы, и вдруг вспомнил.

– Да!

Тамара вскрикнула, увидав его. Он бросился прочь, стуча сапогами. За ним бежал кто-то из кухни.

Аполлон Семенович выбежал на улицу. Пошел быстро по Проломной. Потом побежал. Провалился в рыхлый снег. Упал. Встал. Опять побежал.

– Вспомнил!

Он бежал долго, задыхаясь. Уронил фуражку и, не стараясь ее найти, бросился дальше. В городе было тихо. Ночь. Перепенчук бежал.

И вот уже окраина города. Слобода. Заборы. Семафор.

Будки. Канава. Полотно.

Аполлон Перепенчук упал. Пополз. И, уткнувшись в рельсы, лег.

– Вот эта мысль.

Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переставало биться. Ему казалось, что он умирает. Кто-то с фонарем прошел два раза мимо него и, снова вернувшись, пихнул его ногой в бок.

– Ты чего? – сказал мужик с фонарем. – Чего лег?

Перепенчук молчал.

– Чего лег? – с испугом повторил мужик. Фонарь в его руке дрожал.

Аполлон Семенович поднял голову. Сел.

– Люди добрые... Люди добрые... – сказал он.

– Какие люди? – тихо сказал мужик. – Да ты чего задумал-то? Пойдем-кошь в будку. Я здешний... Стрелочник...

Мужик взял его под руку и повел в сторожку.

– Люди добрые... Люди добрые... – бормотал Перепенчук.

Вошли в сторожку. Душно. Стол. Лампа. Самовар. За столом сидел мужик в расстегнутой поддевке. Баба щипцами крошила сахар.

Перепенчук сел на лавку. Зубы его стучали.

– Ты чего лег-то? – спросил опять стрелочник, подмигивая мужику в поддевке. – Не смерти ли захотел? Или рельсину, может, открутить хотел? А?

– А чего он? – спросил мужик в поддевке. – Лег, что ли, на рельсы?

– Лег, – сказал стрелочник. – Я иду с фонарем, а он, курва, лежит, как маленький, уткнувшись харей в самую то есть рельсину.

– Гм, – сказал мужик в поддевке, – сволочь какая.

– Подожди, – сказала баба, – не ори на него. Видишь, трясется человек. Не из радости трясется. На-кошь чайку, попей.

Аполлон Перепенчук, стуча по стакану зубами, выпил.

– Люди добрые...

– Обожди, – сказал стрелочник, снова подмигивая и для чего-то толкая под бок мужика в поддевке. – Дай-кошь, я его спрошу по порядку.

Аполлон Семенович сидел неподвижно.

– Отвечай по порядку, как на анкету, – строго сказал стрелочник. – Фамилия.

– Перепенчук, – сказал Аполлон Семенович.

– Так, – сказал мужик. – Не слышал.

– Лет от роду?

– Тридцать два.

– Зрелый возраст, – сказал мужик, чему-то радуясь. – А мне пятьдесят первый, значит... Возраст все-таки... Безработный?

– Безработный...

Стрелочник усмехнулся и снова подмигнул.

– Эта худа, – сказал он. – Ну, а ремесло какое понимаешь? Знаешь ли какое ремесло?

– Нет...

– Эта худа, – сказал стрелочник, покачав головой. – Как же это, брат, без ремесла-то жить? Это, я тебе скажу, немисливо худа. Человеку нужно непременно понимать ремесло. Скажем, я – сторож, стрелочник. А теперь, скажем, поперли меня, сокращенье там или что иное... Я от этого, братишка, не пропаду. Я сапоги знаю работать. Буду я работать сапоги – рука сломалась – мне и горюшка никакого. Буду-ка я зубами веревки вить. Вот она какое дело. Как же это можно без ремесла. Нипочем не можно... Как же существуешь-то?

– Из дворян, – усмехнулся мужик в поддевке. – Кровь у них никакая... Жить не могут. В рельсы ткаются.

Аполлон Перепенчук встал и хотел уйти из будки. Сторож не пустил, сказал:

– Сядь. Я тебя сейчас великолепно устрою.

Он подмигнул мужику в поддевке и сказал:

– Вася, ты бы его присобачил по своему делу. Дело у тебя тихое, каждый понимать может. Что ж безработному человеку гибнуть?

– Пушай, – сказал мужик, застегивая поддевку, – это можно: приходи-ка ты, гражданин, на Благовещенское кладбище. Спроси заведующего. Меня то есть.

– Да пушай он с тобой пойдет, Вася, – сказала баба. – Мало ли, что случится.

– А пушай! – сказал мужик, вставая и надевая шапку. – Идем, что ли. Прощайте.

Мужик вышел из будки вместе с Аполлоном Перепенчуком.

## 7

Аполлон Семенович Перепенчук вышел в третий и последний период своей жизни – он вступил в должность нештатного могильщика. Почти год Аполлон Семенович проработал на Благовещенском кладбище. Он снова чрезвычайно переменился.

Он ходил теперь в желтых обмотках, в полупальто, с медной бляхой на груди – № 3. От спокойного, бездумного лица его веяло тихим блаженством. Все морщины, пятна, угри и веснушки исчезли с его лица. Нос принял прежнюю форму. И только глаза порою пристально и не мигая останавливались на одном предмете, на одной точке этого предмета, ничего больше не видя и не замечая.

В такие минуты Аполлон думал, вернее, вспоминал свою жизнь, свой пройденный путь, и тогда спокойное лицо его мрачнело. Но воспоминанья эти шли помимо его воли – он не хотел думать и гнал от себя все мысли. Он сознавал, что ему не понять, как надо было жить и какую ошибку он совершил в своей жизни. Да и была ли эта ошибка? Может быть, никакой ошибки и не было, а была жизнь простая, суровая и обыкновенная, которая только двум или трем человекам из тысячи позволяет улыбаться и радоваться.

Однако все огорчения были теперь позади. И счастливое спокойствие не покидало больше Аполлона Семеновича. Теперь он всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни.

В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще, только что вырытую землю и лежал не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь птички, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепенчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля – теплая, а запах ее слаще французской пудры и гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить.

Но однажды Аполлон Семенович Перепенчук встретил Тамару под руку с каким-то, довольно важного вида, иностранцем. Они шли по тропинке Ксении Блаженной и о чем-то бесечно болтали.

Аполлон Перепенчук крался за ними, прячась, как зверь, за могилами и крестами. Парочка долго гуляла по кладбищу, затем, найдя полуразрушенную скамейку, они сели, сжав друг другу руки.

Аполлон Перепенчук бросился прочь.

Но это было только раз. Дальше жизнь опять пошла спокойная и тихая. Дни шли за днями, и ничто не омрачало их тишины. Аполлон Семенович работал, ел, лежал в траве, спал... Иногда он ходил по кладбищу, читал трогательные и аляповатые подписи, присаживался на ту или другую забытую могилу и сидел, не двигаясь и ни о чем не думая.

Девятнадцатого сентября по новому стилю Аполлон Семенович Перепенчук помер от разрыва сердца, работая над одной из могил.

А семнадцатого сентября, т. е. за два дня до его смерти, от родов скончалась Тамара Глоба, урожденная Омельченко. Аполлон Семенович Перепенчук об этом так и не узнал.



## Люди

### 1

Странные вещи творятся в литературе! Нынче, если автор напишет повесть о современных событиях, то такому автору со всех сторон уважение. И критики ему рукоплещут, и читатели ему сочувствуют.

Такому автору и слава, и популярность, и всякое уважение. И портреты такого автора печатают во всех еженедельных органах. И издатели расплачиваются с ним в золоте, не менее, как по сто рублей за лист.

А на наш ничтожный взгляд, по сто рублей за лист – это уж явная и совершенная несправедливость.

В самом деле: для того чтобы написать повесть о современных событиях, необходима соответствующая география местности, то есть пребывание автора в крупных центрах или столицах республики, в которых-то, главным образом, и происходят исторические события.

Но не у каждого автора есть такая география, и не каждый автор имеет материальную возможность существовать с семьей в крупных городах и в столицах.

Вот тут-то и есть камень преткновения и причина несправедливости.

Один автор проживает в Москве и, так сказать, воочию видит весь круговорот событий с его героями и вождями, другой же автор, в силу семейных обстоятельств, влачит жалкое существование в каком-нибудь уездном городишке, где ничего такого особенно героического не происходило и не происходит.

Так вот, где же взять такому автору крупных мировых событий, современных идей и значительных героев?

Или прикажете ему врать? Или прикажете питаться вздорными слухами приезжающих из столицы товарищей?

Нет, нет и нет! Автор слишком любит и уважает художественную литературу, чтобы основывать ее на всевозможных бабьих глупостях и непроверенных слухах.

Конечно, какой-нибудь просвещенный критик, лепечущий на шести иностранных языках, укажет, может быть, что автор отнюдь не должен гнушаться мелкими героями и небольшими провинциальными сценками, которые происходят вокруг него. И что даже еще и лучше зарисовывать небольшие красочные этюды с маленькими провинциальными человечками.

Эх, уважаемый критик! Оставьте делать ваши нелепые замечания! Все и без вас давно продумано, все, может, улицы исхожены и несколько пар сапог истрепано. Все, может, фамилии, более или менее достойные внимания, вынесены на отдельную бумажку с разными примечаниями и нотабенами. И нет! Не только нету сколько-нибудь замечательного героя, но нету даже посредственного человека, о котором интересно и поучительно говорить. Все мелочь, мелюзга, мелкота, о которых в изящной литературе, в современном героическом плане и говорить не приходится.

Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии.

Автор, кроме того, причисляет себя к той единственной честной школе натуралистов, за которыми все будущее русской изящной литературы. Но даже если бы автор и не причислял себя к этой школе, все равно, говорить о незнакомом человеке – затруднительно. То перехватишь через край и заврешься в психологическом анализе, то, наоборот, недоскажешь какой-

нибудь мелочишки, и читатель станет в тупик, удивляясь легкомысленному суждению современных писателей.

Так вот, в силу вышесказанных причин, а также вследствие некоторых стеснительных материальных обстоятельств, автор приступает к написанию современной повести, предупреждая, однако, что герой повести пустяковый и неважный, недостойный, может быть, внимания современной избалованной публики. Здесь речь идет, как, наверное, догадывается читатель, об Иване Ивановиче Белокопытове.

Автор ни за что не стал бы затрачивать на него свое симпатичное дарование, если б не потребность в современной повести. Потребность эта заставляет автора, скрепя сердце, взяться за перо и начать повесть о Белокопытове.

Это будет несколько грустная повесть о крушении всевозможных философских систем, о гибели человека, о том, какая, в сущности, пустяковая вся человеческая культура, и о том, как нетрудно ее потерять. Это будет повесть о крушении идеалистической философии.

В этой плоскости Иван Иванович Белокопытов был даже любопытен и значителен. В остальном автор советует читателю не придавать большого значения и тем паче не переживать с героем его низменных, звериных чувств и животных инстинктов.

Итак, автор берется за перо и приступает к современной повести.

Действующих лиц в повести будет не так-то уж много: Иван Иванович Белокопытов, худошавый, тридцати семи лет, беспартийный. Его жена, Нина Осиповна Арбузова, смугловатая, цыганского типа дамочка, из балетных. Егор Константинович Яркин, тридцати двух лет, беспартийный, заведующий первой городской хлебопекарней. И, наконец, уважаемый всеми начальник станции, товарищ Петр Павлович Ситников.

Есть и еще в повести несколько эпизодических лиц, как, например: Катерина Васильевна Коленкорова, тетка Пепелюха и станционный сторож и герой труда Еремеич – лица, о которых заранее говорить нету смысла ввиду незначительности их роли.

Кроме человеческих персонажей, в повести выведена еще небольшая собачка, о которой говорить, конечно, не приходится.

## 2

Фамилия Белокопытовых – старая, дворянская и помещичья фамилия. В те годы, о которых идет речь, фамилия эта сходилась на нет, и Белокопытовых было всего двое: отец Иван Петрович и отпрыск его Иван Иванович.

Отец, Иван Петрович, очень богатый и представительный мужчина, был несколько странный и чудаковатый господин. Слегка народник, но увлекающийся западными идеями, он то громил мужиков, называя их сволочами и человеческими отребьями, то замыкался в своей библиотеке и жадно читал таких авторов, как Жан Жак Руссо, Вольтер или Бодуэн-де-Куртенэ, восхищаясь их свободомыслием и независимостью взглядов.

И, несмотря на это, отец Иван Петрович Белокопытов нежно любил сельскую жизнь, спокойную и ровную, любил парное молоко, которое поглощал в каком-то изумительном количестве, и увлекался верховой ездой. Он ежедневно выезжал верхом на прогулку, любуясь красотою природы или журчащим говором какого-нибудь лесного ручейка.

Умер отец Белокопытов еще молодым, в полном расцвете своих сил. Его задавила собственная лошадь.

В один из ясных летних дней, собравшись на обычную свою верховую прогулку, он стоял, совершенно одетый, у окна столовой комнаты, нетерпеливо дожидаясь, когда подадут ему лошадь. Молодцеватый и красивый, в серебряных шпорах, он стоял у окна, раздраженно помахивая стеком с золотым набалдашником. Тут же и сынишка, молодой Ваня Белокопытов, резвился вокруг своего отца, беспечно приплясывая и играя колесиками его шпор.

Впрочем, резвился молодой Белокопытов значительно раньше. В год смерти отца ему было за двадцать лет, и он был уже возмужалым юношей с первым пушком на верхней губе.

В тот год он, конечно, не мог резвиться. Он стоял возле отца и убеждал его отказаться от поездки.

– Не поезжайте, папаша, – говорил молодой Белокопытов, предчувствуя недоброе.

Но молодцеватый папаша, подкрутив усы и махнув рукой, дескать, пропадать так пропадать, пошел вниз, чтобы дать вздрючку замешкавшемуся конюху.

Он вышел на двор, сердито вскочил на поданную ему лошадь и, в крайнем раздражении и гневе, дал шпоры.

Видимо, это и было его гибелью. Разъяренное животное понесло и верст за пять от имения сбросило Белокопытова, размозжив ему череп о камни.

Молодой Белокопытов стойко выдержал известие о гибели своего отца. Приказав сначала продать эту лошадь, он оттянул это решение и, лично войдя в конюшню, пристрелил животное, вложив револьвер в ухо. Затем он заперся в доме, горько оплакивая гибель своего отца. И только через несколько месяцев приступил снова к прежним своим занятиям. Он изучал испанский язык и под руководством опытного педагога делал переводы с испанских авторов. Но, кроме испанского языка, он занимался еще и латынью, роясь в старинных книгах и рукописях.

Другой бы на месте Ивана Ивановича, оставшись единственным наследником богатейшего состояния, плюнул бы на всю эту испанскую музыку, погнал бы учителей в три шеи, завил бы горе веревочкой, запил бы, закрутил, заразвратничал, но, к сожалению, не таков был молодой Белокопытов. Он повел жизнь такую же, как и раньше.

Всегда богатый и обеспеченный, не знающий, что такое материальное стеснение, он равнодушно и презрительно относился к деньгам. А тут еще, начитавшись либеральных книг с пометками своего отца, он и вовсе стал пренебрежительно относиться к своему огромному состоянию.

Разные тетушки, узнав о смерти отца Белокопытова, понаехали в имение со всех концов света, рассчитывая – не перепадет ли и им кусочка. Они льстили Ивану Ивановичу, прикладывались к его ручке и восторгались его мудрыми распоряжениями.

Но однажды, собрав всех своих родственников в столовую, Иван Иванович заявил им, что он считает себя не вправе владеть полученным состоянием. Он считает, что наследство – вздор и ерунда и что каждый человек самостоятельно должен делать свою жизнь. И он, Иван Иванович Белокопытов, находясь в здравом уме и твердой памяти, отныне отказывается от всего имущества, с тем, что он сам распределит его различным учреждениям и неимущим частным лицам.

Родственнички в один голос ахали и охали и, восторгаясь необыкновенным великодушием Ивана Ивановича, говорили, что, в сущности, они и есть эти самые неимущие частные лица и учреждения. И Иван Иванович, выделив им почти половину своего состояния, распрощался с ними и принялся ликвидировать свою недвижимость.

Он быстро и за бесценок распродал свои земли, разбазарил и частью раздал мужикам домашнюю утварь и скотину и, все еще с крупным состоянием, переселился в город, наняв у простых, незнакомых ему людей две небольшие комнатухи.

Кой-какие далекие родственники, проживавшие в ту пору в городе, сочли себя оскорбленными и прекратили с ним всякие отношения, находя подобное поведение вредным и опасным для дворянской жизни.

Но, поселившись в городе, Иван Иванович никак не изменил своей жизни и привычек. Он по-прежнему продолжал изучение испанского языка, в свободное время широко занимаясь благотворительностью.

Огромные толпы нищих осаждали квартиру Ивана Ивановича. Разные прощелыги, жулики и авантюристы, в порядке живой очереди, входили теперь к нему с просьбой о вспоможении.

Почти никому не отказывая и жертвуя, кроме того, большие суммы различным учреждениям, Иван Иванович в короткое время разбазарил половину оставшегося у него имущества. Он сошелся, кроме того, с какой-то революционной группой людей, всячески их поддерживая и помогая. Был слушок даже, что он передал группе почти все оставшиеся свои деньги, но насколько это правда, автор не берется утверждать. Во всяком случае, Белокопытов был замешан в одно революционное дело.

Автор был тогда занят своими поэтическими и семейными делами и сквозь пальцы смотрел на общественные события, так что кое-какие подробности от него ускользнули. Автор издавал в тот год первую книжонку своих стихов под названием «Букет резеды». В настоящее время автор, конечно, не назвал бы свои поэтические опыты таким мизерным и сентиментальным заглавием. В настоящее время автор попытался бы эти стишки объединить какой-нибудь отвлеченной философской идеей и назвать книжку соответствующим заглавием, как, например, названа и объединена эта повесть огромным и значительным словом – «Люди». Но, к сожалению, автор тогда был молод и неопытен. Впрочем, книжка все-таки была неплохая. Отпечатанная на лучшей меловой бумаге в количестве трехсот экземпляров, она за четыре с небольшим года разошлась окончательно, до последнего экземпляра, подарив автору некоторую известность среди граждан.

Неплохая была книжонка.

А что касается до Ивана Ивановича, то он, действительно, несколько запутался в обстоятельствах. Какой-то курсистке, приговоренной к ссылке на поселение, он, в припадке великодушия, подарил ильковую шубу.

Эта шуба наделала хлопот Ивану Ивановичу. Он был взят под подозрение, и за ним был установлен негласный надзор. Его подозревали в сношениях с революционерами.

Иван Иванович, человек нервный и впечатлительный, ужасно взволновался тем, что за ним следят. Он буквально хватался за голову, говоря, что он не может жить больше в России, в этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем. И Иван Иванович давал себе слово, что он непременно в ближайшее время все распродаст и уедет за границу как политический эмигрант и что ноги его больше не будет в этом стоячем болоте.

И, приняв такое решение, он немедленно принялся ликвидировать свои дела, торопясь и беспокоясь, что его схватят, арестуют или не разрешат выезда. И, быстро закончив свои дела и оставив себе незначительные деньги на житье, Иван Иванович Белокопытов в один из осенних, пасмурных дней выехал за границу, проклиная свою судьбу и себя за великодушие.

Этот отъезд состоялся в сентябре 1910 года.

### 3

Как жил и что делал Иван Иванович за границей, никому не известно.

Сам Иван Иванович об этом никогда не упоминал, автор же не рискует сочинять небывлицы о тамошней иностранной жизни.

Конечно, какой-нибудь опытный сочинитель, дорвавшись до заграницы, непременно бы тут пустил пыль в глаза читателям, нарисовав им две или три европейские картинки с ночными барами, с шансонетками и с американскими миллиардерами.

Увы! Автор никогда не ездил по заграницам, и жизнь Европы для него темна и неясна.

Автор поэтому с некоторым сожалением и грустью и с некоторой даже виной перед читателями должен пропустить, по крайней мере, десять или одиннадцать лет заграничной жизни

Ивана Ивановича Белокопытова, чтоб окончательно не завратиться в мелких деталях незнакомой жизни.

Но пусть читатель успокоится. Ничего замечательного за эти десять лет в жизни нашего героя не было. Ну – жил человек за границей, ну – женился там на русской балетной танцовщице... Что же еще? Ну – поистратился, конечно, вконец. А в начале русской революции вернулся в Россию. Вот и все.

Конечно, все это можно было бы раздраконить в лучшем, в более заманчивом виде, но опять-таки, по причинам вышеуказанным, автор оставляет все как есть. Пускай другие писатели пользуются красотой своего слога – автор человек не тщеславный – как написал, так и ладно. Лавры других знаменитых писателей автору не мешают жить.

Так вот, уважаемый читатель, вот все, что случилось с Белокопытовым за десять лет. Впрочем, не все.

За границей в первые годы Иван Иванович принялся писать книгу. Он уже приступил к этой книге, назвав ее «О революционных возможностях в России и на Кавказе». Однако сначала мировая война, затем революция сделали эту книгу ненужным, вздорным хламом.

Но Иван Иванович не очень горевал об этом и на третий или на четвертый год революции вернулся в Россию, в свой город. Автор с этого момента и приступает к повести. Тут-то уж автор чувствует себя молодцом и именинником. Тут-то уж автор крепок и непоколебим. И не заврется. Это вам не Европа. Все здесь шло на глазах автора. Всякая мелочь, всякое происшествие автору доподлинно известно или рассказано и получено из первых и уважаемых рук.

Итак, автор начинает свою повесть во всех подробностях только со дня приезда Ивана Ивановича в наш многоуважаемый город.

Это была прелестная весна. Снег уже почти весь стаял. Птицы носились по воздуху, приветствуя своими криками долгожданную весну. Однако без галош еще нельзя было ходить – местами грязь достигала колена и выше.

В один из таких прелестных весенних дней вернулся в свои родные места Иван Иванович Белокопытов.

Это было днем.

Несколько пассажиров моталось по платформе из стороны в сторону, с нетерпением ожидая поезда. Тут же стоял и уважаемый всеми начальник станции, товарищ Ситников.

А когда подошел поезд – из переднего мягкого вагона вышел худощавый человек в мягкой шляпе и в узконосых ботинках без галош.

Это и был Иван Иванович Белокопытов. Одетый по-европейски, в отличном широком пальто, он небрежной походкой сошел на платформу, выкинув предварительно с площадки вагона два прекрасных, желтоватой кожи чемодана с никелированными замками. Затем, обернувшись назад и подав руку смугловатой, цыганского типа дамочке, он помог ей сойти.

Они стояли теперь возле своих чемоданов. Она, с некоторым испугом озираясь по сторонам, он же, мягко улыбаясь и дыша полной грудью, глядел на отходящий поезд.

Поезд давно уже отошел – они стояли, не двигаясь. Куча ошалелых мальчишек, свистя и шлепая босыми ногами, набросилась на чемоданы, теребя их грязными лапами и предлагая тащить их хоть на край света.

Подошедший носильщик, старый герой труда Еремеич, отогнав мальчишек, укоризненно стал рассматривать захватанную руками светло-желтую кожу чемоданов. Затем, взвалив их на плечи, Еремеич двинулся к выходу, предлагая этим следовать приезжим за ним и не стоять по-пустому.

Белокопытов пошел за ним, но у выхода, на крыльце позади станции, приказал Еремеичу остановиться. И, остановившись сам, он снял шляпу и приветствовал свой родной город, свое отечество и свое возвращение.



И стоя на ступеньках вокзала, он с мягкой улыбкой глядел на вдаль уходящую улицу, на канавы с мосточками, на маленькие деревянные дома, на сероватый дымок из труб... Какая-то тихая радость, какой-то восторг приветствия был на его лице.

Он долго стоял с непокрытой головой. Мягкий весенний ветер трепал его немножко сидящие волосы. И, думая о своих скитаниях, о новой жизни, которая ему предстоит, Белокопытов стоял неподвижно, вдыхая всей грудью свежий воздух.

И ему хотелось вот сейчас, тотчас, куда-то идти, что-то делать, что-то создавать, какое-то важное и всем нужное. И он чувствовал в себе необыкновенный прилив юношеской свежести и крепости и какой-то восторг. И тогда ему хотелось низко поклониться родной земле, родному городу и всем людям.

Между тем его супруга, Нина Осиповна Арбузова, стоя позади его и язвительно глядя на его фигуру, нетерпеливо постукивала о камни концом зонтика. Тут же, несколько поодаль, стоял Еремеич, согнувшись под двумя чемоданами, не зная, поставить ли их на землю и тем самым загадить грязью их ослепительную поверхность, или же держать их на спине и ждать, когда прикажут ему нести. Но Иван Иванович, обернувшись, любезно попросил не утруждать себя тяжестью и поставить ношу хотя бы в самую грязь. Иван Иванович даже сам подошел к Еремеичу и, помогая ему поставить чемоданы на землю, спросил:

– Ну, как вообще? Как жизнь?

Несколько грубоватый и лишенный всякой фантазии Еремеич, не привыкший к тому же к таким отвлеченным вопросам и переносивший на своей спине до пятнадцати тысяч чемоданов, корзин и узлов, отвечал простодушно и грубо:

– Живем, хлеб жуем...

Тогда Белокопытов принялся расспрашивать Еремеича о более реальных вещах и событиях, интересуясь, где то или иное лицо и какие изменения произошли в городе. Но Еремеич, проживший безвыездно пятьдесят шесть лет в своем городе, казалось, впервые слышал от Белокопытова фамилии, имени и даже названия улиц.

Сморкаясь и обтирая рукавом вспотевшее лицо, Еремеич то принимался брать чемоданы, желая этим показать, что пора двигаться, то вновь ставил их на место, беспокоясь, что опоздает к следующему поезду.

Нина Осиповна нарушила их мирную беседу, язвительно спросив, намерен ли Иван Иванович тут остаться и тут жить на лоне природы, или же у него есть еще кое-какие планы.

Говоря так, Нина Осиповна сердито стучала туфлей о ступеньки и скорбно сжимала губы.

Иван Иванович принялся что-то отвечать, но тут на шум вышел из помещения уважаемый всеми товарищ Петр Павлович Ситников. За ним следовал дежурный агент уголовного розыска. Но, увидя, что все обстоит благополучно и что общественная тишина и спокойствие ничем не нарушается и ничего, в сущности, не случилось, кроме как семейных споров с постукиванием дамской туфли о ступеньки, Петр Павлович Ситников повернулся было назад, но Иван Иванович догнал его и, спросив, помнит ли он его, стал трясти ему руки, крепко пожимая и радуясь.

Не теряя своего достоинства. Ситников сказал, что он, действительно, что-то припоминает, что физиономия Белокопытова как будто ему знакома, но, насколько это верно, доподлинно не знает и не помнит.

И, отговариваясь служебными делами и пожимая Белокопытову руку, удалился, рукой приветствуя незнакомую смуглую даму.

За ним ушел и дежурный агент, спросив Белокопытова о международной политике и о событиях в Германии. Агент молча выслушал речь Белокопытова и, кивнув головой, отошел, приказав Еремеичу возможно далее отнести от входа чемоданы, для того чтобы проходящие пассажиры не поломали бы себе ноги.

Еремеич с сердцем и окончательно взвалил на себя чемоданы и пошел вперед, спрашивая, куда нести.

– В самом деле, – спросила жена Белокопытова, – куда ж ты намерен идти?

С некоторым недоумением и беспокойством Иван Иванович стал обдумывать, куда ему идти, но не знал и спросил Еремеича, нет ли тут поблизости, хотя бы временно, какой-нибудь комнаты.

Снова поставив чемоданы, Еремеич стал тоже обдумывать и припоминать и, решив наконец, что, кроме как к Катерине Васильевне Коленкоровой идти некуда, пошел вперед. Но Иван Иванович, обогнав его, сказал, что он помнит добрейшую женщину Катерину Васильевну, помнит и знает, где она живет, и что он сам пойдет вперед, указывая дорогу.

И он пошел вперед, размахивая руками и хлюпая своими изящными заграничными ботинками по грязи.

Позади шел, совершенно запарившийся, Еремеич. За ним шла Нина Осиповна Арбузова, высоко подобрав юбки и открыв свои тонковатые ноги в светлых серых чулках.

#### 4

Белокопытовы поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Это была простодушная, доброватая бабенция, по странной причине интересующаяся чем угодно, кроме политических событий.

Эта Катерина Васильевна радушно приняла Белокопытовых в свой дом, говоря, что ответит им самую отличную комнату рядом с товарищем Ярким, заведующим первой государственной хлебопекарней.

И Катерина Васильевна несколько даже торжественно повела их в комнаты.

С каким-то трепетом, вдыхая в себя старый знакомый запах провинциального жилья, Иван Иванович вошел в сенцы, простые и деревянные, с многими дырками в стенах, с глиняным рукомойником в углу на веревке и кучей мусора на полу.

Иван Иванович восторженно прошел через сени, с любопытством рассматривая забытый им глиняный рукомойник, и пошел в комнаты. Ему все сразу понравилось тут – и скрип половиц, и тонкие переборки комнат, и маленькие грязноватые окна, и низенькие потолки. Ему понравилась и комната, хотя, в сущности, комната была неважная и, по мнению автора, даже отвратительная. Но почему-то и сама Нина Осиповна отзывалась о комнате благосклонно, добавив, что для временного жилья это вполне прилично.

Автор приписывает это исключительно усталости приезжих. Автору впоследствии не раз приходилось бывать в этой комнате – более безвкусной обстановки ему не приходилось видеть, хотя автор и сам живет в совершенно плохих условиях, в частном доме, у небогатых людей. Автор при всем своем уважении к приезжим совершенно удивляется их вкусу. Ничего привлекательного в комнате не было. Желтые обои отставали и коробились. Простой кухонный стол, прикрытый клеенкой, несколько стульев, диван и кровать составляли все небогатое имущество комнаты. Единственным, пожалуй, украшением были оленьи рога, высоко повешенные на стене. Но на одних рогах, к сожалению, далеко не уедешь.

Итак, Белокопытовы временно поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Они сразу же повели жизнь тихую и размеренную. Первые дни, никуда не выходя из дому из-за грязи и бездорожья, они сидели в своей комнате, прибирая ее, или восхищаясь оленьими рогами, или делясь своими впечатлениями.

Иван Иванович был весел и шутлив. Он то подбегал к окну, восторгаясь какой-нибудь телкой или глупой курицей, зашедшей поклевать уличную дрянь, то бросался в сени и, как ребенок смеясь, плескался под рукомойником, поливая свои руки то с одного носика, то с другого.

Нина Осиповна, щепетильная, кокетливая особа, не разделяла восторгов по поводу глиняного рукомойника. Она с брезгливой улыбкой говорила, что, во всяком случае, она предпочитает настоящий рукомойник, этакий, знаете ли, с ножкой или с педалью – нажмешь и льется. Впрочем, особой обиды насчет рукомойника Нина Осиповна не высказывала. Напротив, она не раз говорила:

– Если это временно, то я согласна и не сержусь. И за неимением гербовой пишут и на простой.

И, умывшись утром, розовая и свежая, и помолодевшая лет на десять, Нина Осиповна с довольным видом спешила в комнаты и там, надев балетный костюм – этакие, знаете ли, трусики с газовой юбчонкой – танцевала и упражнялась перед зеркалом, грациозно приседая то на одну, то на другую ногу, то на обе враз.

Иван Иванович ласково поглядывал на нее и на ее пустяковые затеи, находя, впрочем, что провинциальный воздух ей положительно благоприятен и что она уже несколько поправилась и пополнила и ноги у ней не такие уж чересчур тонковатые, как были в Берлине.

Утомившись от своих приседаний, Нина Осиповна присаживалась в какое-нибудь кресло, а Иван Иванович, ласково поглаживая ее руку, рассказывал о своей здешней жизни, о том, как одиннадцать лет тому назад он бежал, преследуемый царскими жандармами, и о том, как он провел первые свои годы изгнания. Нина Осиповна расспрашивала мужа, живо интересуясь, сколько он имел денег и какие у него были земли. Ахая и ужасаясь, как это он так быстро и сразу растратил свое состояние, она сердито и резко выговаривала ему за глупую беспечность и чужачество.

– Ну, как можно! Как можно так швыряться деньгами! – говорила она, сдерживая свое негодование.

Иван Иванович пожимал плечами и старался переменить разговор.

Иногда их беседы прерывала Катерина Васильевна. Она входила в комнату и, остановившись у дверей, покачиваясь из стороны в сторону, рассказывала Белокопытовым о всяких городских переменах и сплетнях.

Иван Иванович с жаром расспрашивал ее о своих дальних родственниках и немногочисленных знакомых и, узнав, что большинство из них умерло за эти годы, а иные, как политические эмигранты, уехали, – качал головой и беспокоился ходил вдоль комнаты, пока Нина Осиповна не брала его за руку и не усаживала на стул, говоря, что своим мельканием перед глазами он действует ей на нервы.

Так проходили первые дни без всяких волнений, тревог и происшествий. И только раз, под вечер, постучав в двери, вошел к ним их сосед, Егор Константинович Яркин, и, познакомившись, долго расспрашивал о заграничной жизни, спросив под конец, не продажный ли у них чемодан, стоявший в углу.

И, узнав, что чемодан не продается, а стоит так себе, Егор Константинович, несколько оскорбившись, ушел из комнаты, молча поклонившись присутствующим.

Нина Осиповна брезгливо смотрела ему вслед, на его широкую фигуру с бычачьей шеей, и печально думала, что вряд ли здесь, в этом провинциальном болоте, можно найти настоящего изысканного мужчину.

## 5

Итак, жизнь шла своим чередом.

Грязь уже несколько пообсохла, и по улицам взад и вперед стали снова проходить, спеша по своим делам или прогуливаясь, луца семечки, хохоча и заглядывая в чужие окна.

Иногда на улицу выходили домашние животные и, пощипывая траву или роя ногами землю, степенно проходили мимо дома, нагуливая весенний жирок.

Высокообразованный, знающий отлично испанский язык и отчасти латынь, Иван Иванович ничуть не беспокоился о своей судьбе, надеясь в ближайшие же дни найти себе соответствующую должность и тогда перебраться на новую, более приличную квартиру. И, говоря об этом со своей женой, Иван Иванович спокойным тоном объяснял ей, что хотя сейчас у него материальные дела несколько и стесненные, но что в ближайшее время это изменится к лучшему. Нина Осиповна настойчиво просила его возможно поскорей приняться за дело и поделиться свое положение, и Иван Иванович обещал ей, сказав, что завтра же он это сделает.

Однако первые его шаги не увенчались успехом. Немного обескураженный, он и на другой день пошел в какое-то учреждение, но вернулся грустный и слегка взволнованный. И, пожимая плечами, он оправдывался перед женой, объясняя ей, что это не так-то просто и не так-то сразу дается приличная должность человеку, знающему латинский и испанский языки.

Он каждое утро теперь выходил на поиски службы, но ему отказывали, то ссылаясь на отсутствие соответствующей должности, то на неимение у него служебного стажа.

Впрочем, принимали Ивана Ивановича всюду очень приветливо и внимательно, очень интересовались и расспрашивали о загранице и о возможностях новых мировых потрясений, но, когда он переходил на дело, качали головами, разводили руками, говоря, что они ничего не могут поделать и что испанский язык – язык очень забавный и редкий, но, к сожалению, потребности в нем не ощущается.

Белокопытов уже перестал говорить о своем испанском языке. Он больше напирал теперь на латынь, зная о ее практическом применении, но и латынь Ивана Ивановича не вывозила. Его выслушивали, интересовались даже, прося для слуха изобразить по-латински стишок или фразу, но практического применения никакого не видели.

Иван Иванович перестал напирать на латынь. Он просил теперь письменной работы, но его расспрашивали, что он умеет и какой у него профессиональный стаж. И, узнав, что Иван Иванович ничего не умеет и нет у него никакого профессионального стажа, обижались, говоря, что им совершенно непонятно, к чему и на что его приспособить.

Кое-где, Впрочем, Белокопытову предлагали понаведаться через месяц, не обещая пока ничего существенного.

Иван Иванович Белокопытов приходил теперь домой в мрачном и угнетенном состоянии. Наскоро съев жидковатый обед, он заваливался в брюках на постель и, отвернувшись лицом к стене, избегал разговоров и сцен со своей женой.

А она, в своих трусиках и в розовом газе, прыгала, что дура, около зеркала, топоча ногами и закидывая кверху тонковатые свои руки с острыми локтями.

Иногда она пыталась делать сцены, наговаривая кучу всевозможных неприличностей Ивану Ивановичу и возмущаясь тем, что он вывез ее из-за границы на такую бессодержательную жизнь, но Иван Иванович, чувствуя и зная свою вину, отмалчивался. И только однажды сказал, что он ничего не понимает, что он и сам введен в заблуждение насчет испанского языка и насчет всей своей жизни. Он рассчитывал устроиться на приличную должность, но этого не выходит, оттого что он, оказывается, ничего не умеет и ничего не может, и что об этом он еще никогда не задумывался. Он, оказывается, получил глупое и бестолковое воспитание, рассчитанное на богатую, обеспеченную жизнь помещика и домовладельца. И вот теперь, когда у него ничего нету – он пожинает плоды.

Нина Осиповна заплакала, говоря, что это так не может продолжаться, что должен быть какой-то конец, что, в конце концов, они задолжали кругом и даже добрейшей своей хозяйке Катерине Васильевне. Тогда, попросив ее не плакать, он предложил ей продать чемодан, хотя бы соседу Егору Константиновичу Яркину.

Она так и сделала. Она лично пошла с чемоданом в комнату Яркина и долго просидела там, вернувшись несколько оживленной с деньгами в руках.

В дальнейшем таких сцен не повторялось. Вернее, Иван Иванович, предчувствуя сцену, надевал шляпу и выходил на улицу. И всякий раз, когда выходил на улицу и проходил через сени, слышал, как его сосед Егор Константинович переговаривается через стенку с женой, предлагая ей кусок хлеба или бутерброд с сыром.

Иван Иванович выходил за ворота, на канаву и стоял там, уныло поглядывая на длинную улицу. Иногда он присаживался на скамейку возле палисадничка и, обняв руками свои колени, сидел неподвижно, с беспокойством поглядывая на прохожих.

Мимо него проходили люди, спеша по своим делам. Какая-нибудь баба с корзинкой или с мешком с любопытством осматривала Ивана Ивановича и шла дальше, оборачиваясь назад раз десять или пятнадцать. Какие-нибудь мальчонки пробегали мимо него и, высовывая языки или хлопнув сидящего по коленке, стремительно убегали прочь.

Иван Иванович на все это смотрел с печальной усмешкой, в сотый раз думая все об одном и том же – о своей жизни и о жизни других людей, стараясь найти какую-то разницу или какую-то уясную причину его несчастья.

Иной раз мимо Белокопытова проходили рабочие текстильной фабрики с гармоникой, шутками и песнями. И тогда Белокопытов несколько оживлялся и долго смотрел на них, слушая их веселые, громкие песни, крики и возгласы.

И в такие дни, в дни сидения на канаве, Ивану Ивановичу казалось, что он, пожалуй что, напрасно приехал сюда, в этот город, на эту улицу. Но куда нужно было приехать – он не знал. И еще более обеспокоенный и согнувшийся, он уходил домой, волоча по земле свои ноги.

## 6

Иван Иванович совершенно упал духом. Его восторженное состояние после приезда сменилось молчаливой тоской и апатией.

Он чувствовал какой-то испуг перед неведомой ему, оказывается, жизнью. Ему казалось теперь, что жизнь – это какая-то смертельная борьба за право существовать на земле. И тогда, в смертельной тоске, чувствуя, что речь идет попросту о продлении его жизни, он выдумывал и выискивал свои способности, свои знания и способы их применения. И, перебирая все, что он знает, он приходил к грустному заключению, что он ничего не знает. Он знает испанский язык, он умеет играть на арфе, он немного знаком с электричеством и умеет, например, провести электрический звонок, но все это здесь, в этом городе, казалось ненужным и для горожан несколько смешным и забавным. Ему не смеялись в лицо, но он видел на лицах улыбки сожаления и хитрые, насмешливые взгляды, и тогда он, съжившись, уходил прочь, стараясь подольше не встречаться с людьми.

По заведенной привычке, он все еще ежедневно и аккуратно выходил на поиски работы. Не торопясь и стараясь идти как можно медленней, он без всякого трепета, как раньше, почти механически высказывал свои просьбы. Ему предлагали зайти через месяц, иногда же просто и коротко отказывали.

Иной раз, приведенный в тупое отчаяние, Иван Иванович с сердцем упрекал людей, требуя немедленно работу и немедленную помощь, выставя свои заслуги перед государством и рассказывая историю относительно ильковой шубы, подаренной им ссыльной курсистке.

Целыми днями он таскался теперь по городу и вечером, полуголодный, с гримасой на лице, бродил бесцельно из улицы в улицу, от дома к дому, стараясь оттянуть, отдалить свой приход домой.

Иной раз он проходил через весь город и, не заходя никуда и не останавливаясь, шел все прямо. И, минуя Слободку, выходил в открытое поле, пересекал Собачью рощицу и шел к лесу. Там побродив до сумерек, возвращался домой.

И он входил в свою комнату, закрывая глаза, зная, что налево, у зеркала, в углу сидит неподвижная Нина Осиповна и язвительно или в слезах осматривает его.

Он избегал разговоров, он избегал даже встреч, стараясь побыть в доме недолго и только ночью.

Но однажды он сам заговорил с женой. Он сказал, что все гибнет, что он отдает себя в руки судьбы, а она, Нина Осиповна, может, если найдет нужным, как угодно распоряжаться его имуществом. Он намекал в данном случае на оставшийся чемодан и на кой-какие вещи из его заграничных костюмов.

Услышав через тонкую перегородку об этом, в комнату вошел Егор Константинович Яркин и сказал, что он с удовольствием идет навстречу их желаниям, но только от чемодана отказывается категорически.

– Все чемоданы да чемоданы, – сказал Егор Константинович, хмурясь. – Нет ли чего другого продажного?

И, узнав, что есть, он стал рассматривать какие-то вещи и какие-то штаны, поднося их к самым глазам. И, рассматривая на свет, хаял, понижая их достоинство.

Нина Осиповна, оживленная и неизвестно чем взволнованная, шутила с Егор Константиновичем, то хлопая его легонько по руке, то усаживаясь грациозно на ручке кресла и показывая тонковатой ногой.

Наконец, Егор Константинович, оставив деньги и любезно попрощавшись, ушел, захватив с собой вещи.

Несколько дней после этого прошли спокойно и тихо. Но в конце недели Иван Иванович, выйдя из дому утром, вернулся в полдень совершенно потрясенный и сияющий. Он нашел себе службу. Он все время искал себе какую-то глупую, интеллигентскую письменную работу, но ведь оказывается, есть кое-что и другое!

В общем, он встретил на улице своего старинного приятеля, который, участливо расспросив и узнав о сумасшедшем положении Ивана Ивановича, схватился за голову, обдумывая, как бы немедленно и сразу помочь своему другу. Он, несколько конфузясь, сказал, что он может, хотя бы временно, устроить его в один из потребительских кооперативов. Но что это временно, что такому образованному человеку, как Иван Иванович, необходима соответствующая должность.

Иван Иванович с дикой радостью схватился за предложение, говоря, что он заранее согласен в кооператив, что ему положительно по душе эта работа и что он вовсе не захочет каких-то там проблематических перемен. И, условившись обо всем, Иван Иванович опрометью бросился домой. И дома, теребя за руки то Катерину Васильевну, то свою жену, захлебываясь, говорил о своем месте.

Он тотчас и немедленно развил им целую философскую систему о необходимости приспособляться, о прямой и примитивной жизни и о том, что каждый человек, имеющий право жить, непременно обязан, как и всякое живое существо и как всякий зверь, менять свою шкуру, смотря по времени. Зачем ему какой-то дурацкий интеллигентский труд! Вот чудная профессия, которая даст ему новую радость жизни. Кому надо какой-то испанский язык, какие-то тонченные мозги и так далее.

И, говоря об этом запутанным, ломаным языком, недоговаривая слова и перескакивая с мысли на мысль, он пытался доказать свою теорию. Нина Осиповна слушала его, хлопая ушами, нервно покуривая папиросу за папиросой.

Автор догадывается, что Иван Иванович Белокопытов, слегка запарившись от волнения, говорил о той великой научной теории, о симпатической окраске, о так называемой мимикрии, когда ползущий по стеблю жучок имеет цвет этого стебля для того, чтоб птица не склевала бы его, приняв за хлебную крошку.

Автору все это было ясно и понятно. И автор ничуть не удивляется тому, что Нина Осиповна хлопала ушами, не понимая, о чем идет речь. Автор не слишком-то большого мнения о балетных танцовщицах.

## 7

Иван Иванович Белокопытов поступил в кооператив «Народное благо».

Иван Иванович вставал теперь чуть свет, надевал свой уже потрепанный костюм и, стараясь не разбудить своей жены, на цыпочках выходил из дому и бежал на службу. Он приходил туда почти всегда первым и стоял у двери по часу и больше, дожидаясь, когда, наконец, придет заведующий и откроет лавку. И, выходя из лавки последним, вместе с самим заведующим, он, торопливо шагая и прыгая через канавы, шел домой, неся в руках какую-нибудь выданную снесь.

Дома, захлебываясь и перебивая самого себя, он говорил жене о том, что эта работа ему совершенно по душе, что лучшего он и не хочет в своей жизни и что быть хотя бы и приказчиком – это не так-то позорно и унижительно и что, наконец, эта работа очень приятная и не так уж трудная.

Нина Осиповна довольно симпатично относилась к этой перемене в жизни Иван Ивановича, говоря, что если это временно, то это совсем не так плохо, как кажется на первый взгляд, и что в дальнейшем они, может быть, даже смогут открыть свой небольшой кооперативчик. И, развивая эту мысль, Нина Осиповна приходила в совершенный восторг, рисуя себе картину, как они будут торговать сами – он за прилавком, сильный, с засученными рукавами и с топором для рубки мяса, а она, грациозная и слегка напудренная, за кассой. Да, она непременно будет стоять за кассой и, весело улыбаясь покупателям, будет пересчитывать деньги, связывая их в аккуратные пачечки. Она любит пересчитывать деньги. Даже самые грязные деньги все же чище кухонного передника и посуды.

И, думая так, Нина Осиповна хлопала в ладоши, наскоро надевала розовое трико и газ и снова начинала свои дурацкие прыжки и экивоки. А Иван Иванович, утомленный дневной работой, заваливался спать, с нетерпением ожидая утра.

И, вернувшись к вечеру, Иван Иванович снова и опять делился с женой своими впечатлениями за день или смеясь рассказывал ей о том, как он вешал сегодня масло. И что легкий, едва уловимый нажим одного пальца на весы чрезвычайно меняет вес предмета, оставляя кое-что в пользу приказчика.

Нина Осиповна оживлялась в этих местах. Она удивлялась, почему Иван Иванович нажимает одним только пальцем, а не двумя, говоря, что двумя – это еще больше уменьшит вес масла. При этом страшно жалела, что нельзя вместо масла подсовывать покупателям какую-нибудь светловатую дрянь, вроде глины.

Тогда Иван Иванович поднимал свою жену на смех, упрашивая ее не очень-то вмешиваться в его дела, чтоб не переборщить через край и тем самым не потерять службу. Но Нина Осиповна сердито советовала ему не слишком-то церемониться и не очень-то миндальничать с обстоятельствами. Иван Иванович соглашался. Он с некоторым даже пафосом говорил, что цинизм – это вещь, совершенно необходимая и в жизни нормальная, что без цинизма и жестокости ни один даже зверь не обходится и что, может быть, цинизм и жестокость и есть самые правильные вещи, которые дают право на жизнь. Иван Иванович говорил еще, что он был раньше глупым, сентиментальным щенком, но теперь он возмужал и знает, сколько стоит жизнь, и даже знает, что все, что он раньше считал своим идеалом: жалость, великодушие, нравственность, – все это не стоит ломаного гроша и выеденного куриного яйца. Все это жалкие побрякушки, достойные сентиментальной фальшивой эпохи.



Нина Осиповна не любила его таких отвлеченных философских идей. Она с досадой махала рукой, говоря, что вполне предпочитает не слова, а реальные, видимые факты и деньги.

Так шли дни.

Иван Иванович Белокопытов сделал уже несколько покупок и приобретений. Так, например, он купил несколько глубоких тарелок с синими ободками, две или три кастрюльки и, наконец, примус.

Это было целое торжество, когда Иван Иванович купил примус. Иван Иванович сам распаковал его и сам стал показывать Нине Осиповне, как с ним обращаться и как готовить на нем обед или подогревать мясо.

Иван Иванович стал хозяином и расчетливым человеком. Он чрезвычайно жалел, что за бесценку продал соседу свои заграничные костюмы. Но тут же утешал себя, говоря, что это дело наживное и что в ближайшее время он непременно купит себе хороший, но простой и немаркого цвета, костюм.

Однако костюма Иван Ивановичу купить не удалось.

Однажды, выйдя перед закрытием из лавки и сунув в портфель два фунта стеариновых свечей и кусок мыла, Иван Иванович пошел через двор к выходу.

В воротах его окликнул охранник, приказав ему остановиться и показать содержимое портфеля.

Весь как-то сразу осунувшись, Иван Иванович стоял молча и глядел на охранника, не двигаясь с места. А охранник, сказав, что получен строжайший приказ не выпускать со двора без обыска, повторил свое требование.

Иван Иванович стоял совершенно ошеломленный, с трудом понимая, что происходит. Он позволил открыть свой портфель, откуда, при радостных криках собравшихся, были извлечены злополучные свечи и мыло.

Белокопытова пригласили в охрану, отобрали свечи, сняли с него допрос и, составив убийственный для него протокол, отпустили его, смеясь над его забавным видом, над его фигурой с прижатым к груди пустым и расстегнутым портфелем.

Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Иван Иванович, не представляя ясно своего положения, вышел пошатываясь на улицу. Он пошел сначала по направлению к дому, затем, не дойдя улицы Сен-Жюста, повернул налево и пошел как-то странно, не шевеля руками и не ворочая головой.

Он обошел несколько кварталов, посидел на какой-то лавчонке и поздно ночью вернулся домой.

Он вошел в дом, как слепой шаря перед собой руками, и, войдя в комнату, лег на постель, и, отвернувшись к стене, принялся водить пальцами по узорам обоев.

Он ни слова не проронил своей жене. И та ничего не спрашивала, узнав заранее обо всем. Эту новость сообщил ей Егор Константинович, придя домой после службы.

И теперь, несмотря на присутствие Белокопытова, Егор Константинович, постучав слегка в стену, спросил Нину Осиповну, не нужно ли ей чего и не хочет ли она выкушать стакан чаю с бутербродом.

Нина Осиповна, не глядя на мужа, грудным, мелодичным тоном отвечала, что она сыта по горло и сейчас ложится спать. Егор Константинович еще что-то спросил, предупредительно и вежливо, но она, раздеваясь и зевая, сказала, что спит.

И она действительно легла на диван и, закрыв лицо руками, лежала так неподвижно и странно. Иван Иванович приподнялся, чтобы потушить свет, но, взглянув на диван, сел и долго смотрел на жену. И ему показалось, что у нее отчаянное состояние, что она близка к гибели. И он хотел подойти к жене, стать на колени и что-то говорить бодрым и спокойным тоном. Но не смел.

8

Он лежал, вытянувшись вдоль кровати, стараясь не двигаться и ни о чем не думать. Но думал, и не о случившемся сегодня, а о своей жене, о печальной ее жизни и о том, что не все люди имеют право существовать.

С этими мыслями он стал засыпать. Какая-то страшная усталость сковала его ноги, и какая-то тяжесть легла на все его тело.

И, закрыв глаза, он замер. Дыхание его стало ровное и спокойное.

Но вдруг осторожное шарканье ног и скрип двери заставил его вздрогнуть и проснуться.

Он проснулся, вздрогнув всем телом. Присел на кровать и беспокойно оглядел комнату. Небольшая керосиновая лампа еле горела, скудно отбрасывая длинные тени. Иван Иванович оглянулся на диван – жены не было.

Тогда, беспокоясь и волнуясь за нее, он вскочил на ноги и прошел по комнате, осторожно ступая на носки.

Потом подбежал к двери, открыл ее и в испуге, в предутренней дрожи стуча зубами, бросился в коридор. Он выбежал в кухню, заглянул в сени – все было тихо и спокойно. Только курица в сенях, вспугнутая Иваном Ивановичем, шарахнулась в сторону, страшно закричав.

Белокопытов вернулся в кухню. Сонная Катерина Васильевна сидела теперь на кровати, зевая и мелко крестя свой рот. Она вместе с тем прислушивалась к необычному шуму. И, увидя перед собой Ивана Ивановича, спокойно улеглась, думая, что он идет за нуждой.

Но Иван Иванович, подойдя к хозяйке, стал теревить ее за руку, умоляя ответить, не проходила ли через кухню его жена.

Крестясь и разводя руками, Катерина Васильевна отговаривалась незнанием. Потом она стала надевать на себя юбку, говоря, что если Нина Осиповна и ушла, то, небось, вернется.

Но потом, одевшись и подойдя к запертой двери жильца Яркина, Катерина Васильевна сказала, что жена Ивана Ивановича дома. И если нету ее в комнате, то, небось, сидит у соседа.

И, поманив Белокопытова пальцем, повела его в коридор и, подойдя к дверям Яркина, припала к замочной скважине.

Иван Иванович тоже хотел подойти к двери, но в эту минуту пол под ним скрипнул, и в комнате соседа завопили. И сам Егор Константинович, шлепая босыми ногами, подойдя к двери, спросил хрипло:

– Кто? Чего надо?

Иван Иванович хотел промолчать, но сказал:

– Это я... Не у вас ли Нина Осиповна Арбузова?

– У меня, – грубо сказал Яркин. – Чего надо?

И, не получив ответа, взялся за ручку двери.

В комнате послышался прерывистый шепот. Нина Осиповна настойчиво умоляла отдать ей какой-то револьвер, говоря, что все обойдется благополучно. Потом сама, подойдя ближе к двери и взявшись за ручку, спросила негромко:

– Ваня... ты?

Иван Иванович съезжился и, пробормотав неясное, удалился в свою комнату. И там присел на кровать.

Автор предполагает, что особенного отчаяния у Ивана Ивановича не было. А если Иван Иванович и присел на кровать с видимым отчаянием, то, может, это только в первую минуту. Потом-то, раздумав, он, наверное, даже обрадовался. Автору кажется, что Иван Иванович и не мог не обрадоваться. Страшная обуза сошла с его плеч. Все-таки приходилось беспокоиться о жизни Нины Осиповны, всякие для нее удовольствия, театры и лучший кусок хлеба он должен был предоставлять ей. А теперь, когда жизнь Ивана Ивановича сильно ухудшилась, то и

прокормить такую дамочку вопрос был немаловажный. Тем более, что, напрыгавшись за день перед зеркалом, она и за двоих съедала.

Так вот, посидев на кровати и придя к заключению, что нет ничего ужасного, Иван Иванович снова лег и пролежал до утра, не смыкая глаз. Он ни о чем не думал, но его голова гудела и наливалась свинцом.

И, когда он встал, – это был несколько иной Иван Иванович. Впалые глаза, желтая, сморщенная кожа и трепанные волосы чрезвычайно его изменили. И даже когда он вымылся холодной водой, эта перемена не исчезла.

Утром, одевшись и по привычке причесав волосы, Иван Иванович вышел из дому. Он медленным шагом дошел до кооператива, но, вдруг повернув круто в сторону и вздрогнув, зашагал прочь.

Он долго шел унылым механическим шагом и, выйдя за город, направился на свое любимое место к лесу, за Собачью рощицу.

Он прошел рощу, ступая на желтые осенние листья, и вышел на полянку.

Вся полянка была изрыта старыми, оставшимися от войны окопчиками, землянками и блиндажами. Ржавая колючая проволока висела клочками на небольших кольях.

Иван Иванович любил это место. Он не раз бродил здесь по окопчикам, лежал у опушки леса и, глядя на все эти военные затеи, хитро улыбался своим мыслям. Но теперь он несколько равнодушно, и как бы не замечая ничего, прошел мимо и, дойдя до леса, присел на полузаваленную землянку, вырытую лет, может, семь назад.

Он долго сидел так, ни о чем не думая, потом пошел дальше, потом снова вернулся и лег на траву. И лежал долго, уткнувшись ничком, теребя руками траву. Потом снова встал и пошел в город.

Была ранняя осень. Желтые листья лежали на земле. И земля была теплая и сухая.

## 9

Иван Иванович стал жить один.

Возвращаясь после скитаний домой и с грустью оглядывая свое опустевшее жилье, Иван Иванович присаживался на кровать, обдумывая, какие вещи исчезли из комнаты вместе с Ниной Осиповной. Таких вещей оказалось порядочно: не было примуса, купленного в счастливые дни, не было скатерти на столе, даже было снято и унесено зеркало и небольшой коврик перед кроватью.

Иван Иванович не очень-то огорчился о потере этих вещей. «Черт с ними!» – думал добрый Иван Иванович, прислушиваясь, что говорили за стенкой.

Но за стенкой говорили постоянно шепотом, и слов нельзя было разобрать. Только время от времени были слышны басовые нотки Егора Константиновича. Это Егор Константинович, видимо, утешал Нину Осиповну, боявшуюся за свое новое благополучие и за те вещи, которые она взяла, не спросив мужа.

Но Ивану Ивановичу теперь было не до вещей. Он каждое утро направлялся за город, шел через рощицу и, миновав полянку, выходил к лесу.

Там, присаживаясь на свою землянку или бродя по лесу, он обдумывал свое новое положение. Он старался одной какой-то мыслью определить то, что случилось, что произошло и отчего произошло.

Ушла жена. И она не могла не уйти. Он – человек из прошлого мира. Он оказался неприспособленным к борьбе. А женщины идут за победителем. Ну, что же, теперь все это ясно, теперь уже ничто не спасет его от неминуемой гибели.

Гибель была предрешена – это он знал, но в силу какой-то воли он старался найти выход и хотя бы теоретически придумать возможность выхода, возможность продлить свое существо-

вание. Он не хотел смерти. Напротив, задумываясь об этом, он с досадой отгонял эту мысль, считая ее вздорной и ему ненужной. И старался в такие моменты думать о другом.

И, бродя по лесу, Иван Иванович думал, что отчего бы ему не остаться здесь жить. Ему уже рисовались картины, как он живет в полузаваленной землянке, среди грязи и нечистот, и как ползком, как животное, на четвереньках вылезает из своей норы и отыскивает пищу.

Но потом смеялся.

Он теперь не всякий вечер уходил домой. Он оставался иногда в лесу. И, полуголодный, поедая сырые грибы, корни и ягоды, засыпал под каким-нибудь деревом, положив под голову свои руки.

А во время дождя он вползал в землянку. И сидел в землянке, скорчившись и обняв худые свои ноги, слушая, как капли дождя колотят о деревья.

## 10

Была осень. Шли непрерывные дожди. Снова невозможно было выходить без галош. И снова грязь доходила до колен.

Нина Осиповна жила с Егором Константиновичем Ярким беспечно и тихо. Ей пришлось отложить свои упражнения в танцах. Она была беременна, и Егор Константинович, узнав об этом, боясь за потомство, категорически запретил ей наряжаться в розовую дрянь, грозя, в противном случае, сжечь в печке эти тряпки. И Нина Осиповна, покапризничав и слегка поплавав, смирилась и сидела теперь подле окна, безучастно глядя на грязную улицу. Но иной раз она спрашивала у Яркого, не знает ли он чего об ее муже. Егор Константинович усмехался и махал рукой, прося ради будущего ребенка не думать о муже.

И Нина Осиповна умолкала, думая все же, отчего это все реже и реже она слышит шаги в соседней комнате.

И, действительно, Иван Иванович все реже стал ходить домой, и когда ходил, то избегал встреч с людьми, а встречая, очень конфузился и перебегал улицу, стараясь скрыть свой промокший, побуревший костюм.

Иван Иванович не входил даже теперь в свою комнату. И, приходя домой, останавливался в сенях и молча здоровался с Катериной Васильевной, всякий раз боясь, что она заорет, затопает ногами и погонит его прочь. Но Катерина Васильевна, не скрывая своего удивления и жалости и почему-то не зовя его хотя бы в кухню, выносила ему в сени хлеб, суп или все, что осталось от обеда. И, не сдерживая своих слез, плакала, смотря, как Иван Иванович худыми, серыми пальцами разрывал еду и проглатывал, чмокая и скрипя зубами.

И, съев все, что ему приносилось, и схватив с собой кусок хлеба, Иван Иванович трогал за рукав Катерину Васильевну и убегал снова.

Он снова возвращался в свою землянку. И снова садился в обычную свою позу, кашляя и сплевывая на свой костюм.

Но он не был сумасшедший, этот Иван Иванович Белокопытов. Автору доподлинно известна его встреча с одним из старых приятелей. Иван Иванович вполне разумно и несколько даже иронически говорил о своей жизни. И, потрясая лохмотьями своего заграничного костюма, громко смеялся, говоря, что все это вздор, что все слезает с человека, как осенью шкура животного.

И, попрощавшись с приятелем, крепко пожав ему руку, пошел к своей землянке.

Странно и непонятно жил теперь Иван Иванович. Стараясь ни о чем не думать, а жить так, как-нибудь, чтобы прожить, он все же, видимо, не мог не думать и все время носился со своими планами о жизни, приходя к заключению, что жить в землянке не так-то уж плохо, но что из всех животных он самое плохое животное, у которого хронический бронхит и насморк. И, думая так, Иван Иванович печально покачивал головой.

Ему теперь все чаще и чаще приходила мысль о неминуемой гибели, но он по-прежнему с раздражением отвергал мысль о самоубийстве. Ему казалось, что нет у него на это ни воли, ни охоты, и что ни одно животное никогда еще не погибало от самого себя.

Была ли в этом слабая воля Ивана Ивановича, или была какая-то неопределенная надежда – неизвестно. Во всяком случае однажды и неожиданно Иван Иванович придумал план, по которому он должен погибнуть, не прибегая к насилию над собой.

Это было утром. Осеннее солнце еще было ниже деревьев, когда Иван Иванович, вздрогнув, проснулся в своей землянке. Страшная сырость, дрожь и озноб охватили все его тело. Он проснулся, открыл глаза и вдруг совершенно отчетливо подумал о своей гибели. Ему показалось, что сегодня он должен погибнуть. Как и отчего – он еще не знал. И стал думать. И вдруг решил, что должен погибнуть, как зверь, в какой-то отчаянной схватке.

В его воображении стали рисоваться картины этой схватки. Он борется с человеком, хотя бы с Егором Константиновичем, к которому ушла жена. Они грызутся зубами, валяются по земле, подминают под себя друг друга, рвут волосы...

Иван Иванович окончательно проснулся и, дрожа всем телом, сел на землю. И осторожно, мысль за мыслью стал обдумывать, стараясь не пропустить ни одной мелочи.

Вот он приходит в комнату. Отворяет дверь. Яркий, непременно, сидит за столом направо. У окна будет сидеть Нина Осиповна, сложив на животе руки. Иван Иванович подойдет к Яркому и пихнет его двумя руками в плечо и грудь. Тот откинется назад, стукнется головой о стену, потом вскочит и, вынув револьвер, застрелит его – Ивана Ивановича Белокопытова.

И, придумав такой план, Иван Иванович вскочил на ноги, но, ударившись головой о потолок, сел и пополз из землянки.

И спокойным, ровным шагом пошел в город, обдумывая мелочи. Потом, желая закончить все скорей и разом, бросился опрометью бежать, вскидывая ногами и разбрасывая вокруг себя грязь, листья и брызги.

Он долго бежал. Почти до самого дома. И, только увидев дом, замедлил шаг и пошел совсем тихо.

Какая-то белая собачонка равнодушно залаяла на него.

Нагнувшись и подняв с земли камень, Иван Иванович метко бросил в нее.

Собака с визгом отбежала за ворота и, высунув морду в калитку, отчаянно залаяла, скаля зубы.

Схватив кусок грязи, Иван Иванович бросил в собаку опять. Потом бросил еще раз. Потом подошел к воротам и принялся дразнить животное ногой, подпрыгивая и стараясь попасть по зубам.

Какое-то бешенство, испуг овладели собакою. Она в смертельном страхе скулила уже, поднимая верхнюю губу и стараясь ухватить человека за ногу. Но Иван Иванович ловко и вовремя отдергивал ногу и бил собаку рукой и грязью.

Бабка Пепелюха, как ошпаренная кипятком, выскочила из дому, подбирая самые ужасные и яростные выражения для гнусных мальчишек, дразнивших ее пса. Но, увидев большого, лохматого человека, разинула рот, сказав сначала, что довольно стыдно сознательным гражданам дразнить собак. Но снова смолкла и, разинув рот, остановилась неподвижная, глядя на удивительную сцену.

Иван Иванович, стоя теперь на коленях, боролся с собакой, пытаясь руками разорвать ей пасть. Собака судорожно хрипела, раскидывая и царапая землю ногами.

Тетка Пепелюха, страшно и тонко закричав, бросилась к Ивану Ивановичу и, еле вырвав у него собаку, убежала в дом.

А Иван Иванович, обтерев искусанные свои руки, медленным и тяжелым шагом пошел дальше.

Автору несколько странно и чудно говорить об этом происшествии. Автор даже слегка огорчен поступком Ивана Ивановича. Конечно, автор ничуть не жалеет пепелюхиной собаки, пес с ней, с собакой, автор только огорчается той неясностью и нелепостью поступка и положительно не знает – в тот момент зашел ли у Ивана Ивановича ум за разум, или ум за разум не заходил, а была просто игра, случайность, крайнее раздражение нервов. Впрочем, все это крайне неясно и психологически непонятно.

И такая неясность, уважаемые читатели, к знакомому лицу и к известному характеру! А хорош был бы автор, спутавшись с неизвестным героем! Заврался бы вконец! Тем более, что очень уж разноречивые были на этот счет слухи.

Тетка Пепелюха, например, крестилась и божилась, что Иван Иванович был совершенно тронувшись, что у него висел язык и изо рта слюни текли. Катерина Васильевна, не менее набожная дамочка, тоже была близка к той же мысли. Однако станционный сторож и герой труда Еремеич утверждал обратное. Он говорил, что Иван Иванович Белокопытов здоров, как бык, и что больных и свихнувшихся обыкновенно сажают в специальные дома. Егор Константинович Яркин тоже был уверен в полном уме и твердой памяти Белокопытова. Что же касается уважаемого товарища Ситникова, то Ситников не брался что-либо утверждать, говоря, что он может, в случае крайней надобности, списаться с одним московским психиатром. Но это длинно и неверно. Пока товарищ Ситников напишет, да пока московский психиатр раскачается с ответом, да, небось, ответит еще выпивший, и даром что московский психиатр, а такую галиматью понесет, что вставишь ее в печать, а после поди доказывай, что ты ни при чем тут. Лучше уж, оставив все это на совести самих читателей, автор перейдет к дальнейшему.

## 11

Иван Иванович отер свои руки о костюм и пошел к дому. Кровь медленно стекала с обкусанных собакой пальцев, но Иван Иванович, ничего не замечая и не чувствуя боли, подходил к дому.

Он остановился на мгновение у калитки и, оглянувшись назад, шмыгнул во двор. Потом вбежал по ступенькам и, приоткрыв двери, тихо вошел в сени.

Станный трепет прошел по его телу. Сердце стучало, и дыхание было прерывистым.

Он постоял в сенях и, никем не замеченный, вошел в коридор. И там, на скрипучих досках, подойдя к двери Яркина, остановился, прислушиваясь.

Было, как и всегда, тихо.

Иван Иванович вдруг толкнул от себя дверь и, открыв ее настежь, вошел за порог.

Все было, как и думал Иван Иванович. Направо у стола сидел Яркин. Налево, у окна, в кресле, сложив на животе руки, сидела Нина Осиповна. На столе стояли стаканы. Лежал хлеб. И на шипящем примусе кипел чайник.

Каким-то одним взглядом Иван Иванович впитал в себя все это и, продолжая неподвижно стоять, взглянул на свою жену.

Она тихо ахнула, увидев его, и приподнялась в кресле. А Егор Константинович замахал на нее руками, упрашивая не беспокоиться ради ребенка. Потом, приподнявшись, чтобы пойти навстречу гостю, остановился и снова сел, рукой приглашая войти в комнату и прикрыть дверь, не остужая зря помещения.

И Иван Иванович вошел. Слегка потупив голову и приподняв плечи, он подошел к сидящему Егору Константиновичу и остановился в двух шагах от него. Смертельная бледность вдруг покрыла лицо Егора Константиновича. Он сидел на стуле, несколько откинувшись назад, и, шевеля губами, не двигался с места.

Иван Иванович несколько секунд стоял молча. Потом, быстро взглянув на Яркина, на то место, куда он должен был ударить, вдруг усмехнулся и, отойдя несколько в сторону, присел на стул.

Егор Константинович выпрямился на своем месте и глядел теперь на Белокопытова сердитым, злым взглядом. А Иван Иванович сидел, опустив руки плетью, и невидимым взглядом глядел в одну точку. И думал, что у него нету ни злобы, ни ненависти к этому человеку. Он не мог и не хотел к нему подойти и ударить. И сидел на стуле и чувствовал себя усталым и нездоровым. И ему ничего не хотелось. Ему хотелось выпить горячего чая.

И, думая так, он взглянул на примус, на чайник на примусе, на хлеб, нарезанный ломтиками. Крышка на чайнике приподнималась, пар валил клубом, и вода с шипением обливала примус.

Егор Константинович встал и загасил огонь.

И тогда в комнате наступила совершенная тишина.

Нина Осиповна, увидев, что Иван Иванович пристальным взглядом смотрит на примус, снова приподнялась в своем кресле и жалобным тоном, скорбно сжав губы, стала уверять, что она вовсе не хотела зажить этот несчастный примус, что она взяла его временно, зная, что Иван Иванович в нем не нуждается.

Но Егор Константинович, замахав на нее руками и прося не волноваться, ровным, спокойным голосом стал говорить, что он ни за что не возьмет даром этой штуки, что завтра же он заплатит Ивану Ивановичу полностью все деньги по рыночной стоимости.

– Я заплатил бы вам и сегодня, – сказал Егор Константинович, – но я должен разменять деньги. Завтра вы обязательно зайдите утром же.

– Хорошо, – коротко сказал Иван Иванович. – Я зайду.

И вдруг, забеспокоившись и заерзав на стуле, Иван Иванович обернулся к своей жене и сказал, что он просит его извинить, что он очень устал и потому сидит на стуле такой грязный.

Она закивала головой, волнуясь и скорбно сжимая губы. И, снова приподнявшись на стуле, сказала:

– Ты, Ваня, не сердись...

– Я не сержусь, – просто ответил Иван Иванович.

И встал. Шагнул к жене, потом поклонился и молча вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь.

Он вышел в коридор. Постоял с минуту. И пошел к выходу.

В кухне его ожидала Катерина Васильевна. Почему-то знаками и боясь проронить слово, она манила его, приглашая жестами присесть и покушать супу. И Иван Иванович, почему-то тоже не проронив слова, молча покачал головой и, улыбнувшись и погладив хозяйке руку, вышел.

С криком выбежала Катерина Васильевна за ним, но Иван Иванович, обернувшись и махнув рукой, прося этим не идти за ним, скрылся за воротами.

## 12

На другой день Иван Иванович за деньгами не зашел. Он исчез из города.

Егор Константинович Яркин лично, с деньгами в руках, обегал все улицы, все учреждения, отыскивая Ивана Ивановича. Егор Константинович говорил, что он совершенно тут ни при чем, что деньги за примус – вот они, деньги, – что он вовсе не желает пользоваться чужим добром, и что если он не найдет Ивана Ивановича, то пожертвует эти деньги на детский дом.

Егор Константинович бегал даже на полянку, за Собачью рощицу, но Ивана Ивановича не нашел.

Как зверь, которому неловко после смерти оставить на виду свое тело, Иван Иванович бесследно исчез из города.

Товарищ Петр Павлович Ситников и сторож, герой труда Еремеич в один голос утверждали, что видели, будто Иван Иванович Белокопытов вскочил на отходящий поезд. Но зачем он вскочил и куда он уехал – никому не известно. Никто и никогда о нем больше не слышал.

## 13

Была прелестная весна.

Снег уже стаял. И птицы снова приветствовали свой новый год. В один из таких дней Нина Осиповна Арбузова разрешилась от бремени, подарив миру прекрасного мальчишку в восемь с половиной фунтов.

Егор Константинович был необыкновенно счастлив и доволен.

Деньги же за примус, двенадцать рублей золотом, он пожертвовал на детский дом.



## Страшная ночь

### 1

Пишешь, пишешь, а для чего пишешь – неизвестно.

Читатель, небось, усмехнется тут. А деньги, скажет. Деньги-то, – скажет, – курицын сын, получаешь? До чего, – скажет, – жиреют люди.

Эх, уважаемый читатель! А что такое деньги? Ну, получишь деньги, ну, дров купишь, ну, жене приобретешь какие-нибудь там боты. Только и всего. Нету в деньгах ни душевного успокоения, ни мировой идеи.

А впрочем, если и этот мелкий, корыстный расчет откинуть, то автор и совсем расплевался бы со всей литературой. Бросил бы писать. И ручку с пером сломал бы к чертовой бабушке.

В самом деле.

Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на любовные французские и американские романы, а русскую современную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий сюжет, черт его знает какой.

А где же все это взять?

Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?

А что до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть. И есть величественная, грандиозная фантазия. А попробуй ее написать. Скажут – неверно. Неправильно, скажут. Научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая.

А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию, если автор родился в мелкобуржуазной семье и если он до сих пор еще не может подавить в себе мещанских корыстных интересов к деньгам, к цветам, к занавескам и к мягким креслам?

Эх, уважаемый читатель! Беда как неинтересно быть русским писателем.

Иностранец, тот напишет – ему как с гуся вода. Он тебе и про луну напишет, и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на луну своего героя пошлет в ядре в каком-нибудь...

И ничего.

А попробуй у нас, сунься с этим в литературу. Попробуй, скажем, в ядре нашего техника Курицына, Бориса Петровича, послать на луну. Засмеют. Оскорбятся. Эва, скажут, наплел, собака!.. Разве это, скажут, возможно! Вот и пишешь с полным сознанием своей отсталости.

А что слава, то что ж слава? Если о славе думать, то опять-таки какая слава? Опять-таки неизвестно, как еще потомки взглянут на наши сочинения и какой фазой земля повернется в геологическом смысле.

Вот автор недавно прочел у немецкого философа, будто вся-то наша жизнь и весь расцвет нашей культуры есть не что иное, как междуледниковый период.

Автор признается: трепет прошел по его телу после прочтения.

В самом деле. Представьте себе, читатель... На минуту отойди от своих повседневных забот и представь такую картину: до нас существовала какая-то жизнь и какая-то высокая культура, и после она стерлась. А теперь опять расцвет, и опять совершенно все сотрется. Нас-то, может быть, это и не заденет, а все равно досадное чувство чего-то проходящего, не вечного и случайного и постоянно меняющегося, заставляет снова и снова подумать совершенно заново о собственной жизни.

Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной орфографией вконец намучился, не говоря уж про стиль, а, скажем, через пятьсот лет мамонт какой-нибудь наступит ножищей на твою рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедобную дрянь.

Вот и выходит, что ни в чем нет тебе утешенья. Ни в деньгах, ни в славе, ни в почестях. И вдобавок жизнь какая-то смешная. Какая-то очень она небогатая.

Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит. Кругом бедно, грязно, некультурно...

Ох, до чего скучно это видеть!

И подходит, скажем, к бабе этаким русый, вроде ходячего растения, мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, вроде стекляшек, – чего это баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. «Эх, – скажет, – спать, что ли, ча пойти. Скушно чтой-то...» И пойдет спать.

А вы говорите: подайте стремительность фантазии.

Эх, господа, господа товарищи! Да откуда ее взять? Как ее приспособить к этой деревенской действительности? Скажите! Сделайте такую милость, такое великое одолжение. И рады бы, так сказать, раздуть кадило, да не с чего.

А если в город, опять-таки, пойти, где светят фонари светлым светом, где граждане в полном сознании своего человеческого величия ходят взад и вперед – опять-таки не всегда можно увидеть эту стремительность фантазии.

Ну, ходят.

А пойдешь, читатель, попробуй, потрудись, пойдешь за тем человеком – чаще всего ерунда выйдет.

Идет; оказывается, в долг призанять три рубля денег или на любовное свидание он идет. Ну что это такое!

Придет, сядет напротив своей дамы, что-нибудь скажет ей про любовь, а может, и ничего не скажет, а просто положит руку свою на дамское колено и в глаза посмотрит.

Или придет человек посидеть у хозяина. Выкушает стаканчик чаю, посмотрится в самовар – мол, рожа какая кривая, усмехнется про себя, на скатерть варенье капнет и уйдет. Шапку напялит набок и уйдет.

А спроси его, сукинова сына, зачем он приходил, какая в этом мировая идея или польза для человечества – он и сам не знает.

Конечно, в данном случае, в этой скучной картине городской жизни автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей или, скажем, работников просвещения, которые действительно ходят по городу по важным общественным делам и обстоятельствам.

Этих людей автор никак не имел в виду, когда говорил про дамские, например, колени или просто как рожей в самовар смотрятся. Вот эти, действительно, может быть, чего-нибудь думают, страдают, заботятся. Хотят, может быть, чтоб другим поинтереснее жилось. И, может быть, мечтают, чтоб этой стремительности фантазии было побольше.

Автор, заранее забегаая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества попытаются уличить автора в искажении провинциальной действительности и в нежелании видеть положительных сторон.

Действительность мы не искажаем. Нам за это денег не платят, уважаемые товарищи.

А что видим то, чего бывает, то это абсолютный факт.

Автор вот знал одного такого городского человека. Жил он тихо, как и все почти живут. Пил и ел, и даме своей на колени руки клал, и в очи ей глядел, и вареньем на скатерть капал, и три рубля денег в долг без отдачи занимал.

Об этом человеке автор и напишет свою очень короткую повесть. А может быть, эта повесть будет и не о человеке, а о том глупом и ничтожном приключении, за которое человек, в порядке принудительного взыскания, пострадал на двадцать пять рублей. Это случилось весьма недавно – в августе 1923 года.

Фантазией разбавлять этот случай? Создавать занимательную марьяжную интрижку вокруг него? Нет! Пущай французы про это пишут, а мы потихоньку, а мы помаленьку, мы вровень с русской действительностью.

А веселого читателя, который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам.

## 2

Эта короткая повесть начинается с полного и подробного описания всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике.

Может быть, и существует особое, специальное название этого инструмента – автор не знает, во всяком случае читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра вправо – сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолически позвякивает в свой нехитрый инструмент в нужных местах. Обычно дирижер подмигивает для этой цели правым глазом.

Странные и удивительные бывают профессии.

Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек додумался по канату ходить, или носом свистеть, или позвякивать в треугольник.

Но автор не смеется над своим героем. Нет. Борис Иванович Котофеев был отличного сердца человек, неглупый и со средним образованием.

Жил Борис Иванович не в самом городе, а жил он в предместье, так сказать, на лоне природы.

Природа была не ахти какая замечательная, однако – небольшие сады у каждого дома, трава, и канавы, и деревянные скамейки, усыпанные шелухой подсолнухов, – все это делало вид привлекательным и приятным.

Весной же было здесь совершенно очаровательно.

Борис Иванович жил на Заднем проспекте у Лукерьи Блохиной.

Представьте себе, читатель, небольшой деревянный, желтой окраски дом, низенький шаткий забор, широкие желтоватые кривые ворота. Двор. На дворе по правую руку небольшой сарай. Грабля с поломанными зубьями, стоящая здесь со времен Екатерины II. Колесо от телеги. Камень посреди двора. Крыльцо с оторванной нижней ступенькой.

А войдешь на крыльцо – дверь, обитая рогожей. Сенцы этакие, небольшие, полутемные, с зеленой бочкой в углу. На бочке досточка. На досточке ковшик.

Ватер с тонкой, в три доски, дверью. На двери деревянная вертушечка. Небольшая стекляшка вместо окна. Паутина на ней.

Ах, знакомая и сладкая сердцу картина!

Все это было как-то прелестно. Прелестно тихой, скучной, безмятежной жизнью. И оторванная даже ступенька у крыльца, несмотря на свой невыносимо скучный вид, – и теперь приводит автора в тихое созерцательное настроение.

А Борис Иванович всякий раз, вступая на крыльцо, отплеывался с омерзением в сторону и покачивал головой, глядя на обломанную корявую ступеньку.

Пятнадцать лет назад Борис Иванович Котофеев впервые ступил на это крыльцо и впервые перешагнул порог этого дома. И здесь он остался. Он женился на своей хозяйке, на Лукерье Петровне Блохиной. И стал полновластным хозяином всего этого имения.

И колесо, и сарай, и грабли, и камень – все стало его неотъемлемой собственностью.

Лукерья Петровна с беспокойной усмешкой глядела на то, как Борис Иванович становился всего этого хозяином.

И под сердитую руку она, всякий раз, не забывала прикрикнуть и одернуть Котофеева, говоря, что сам-то он нищий, без кола – без двора, осчастливленный ее многими милостями.

Борис Иванович хотя и огорчался, но молчал.

Он полюбил этот дом. И двор с камнем полюбил. Он полюбил жить здесь за эти пятнадцать лет.

Вот, бывают такие люди, о которых можно в десять минут рассказать всю ихнюю жизнь, всю обстановку жизни, от первого бессмысленного крика до последних дней.

Автор попробует это сделать. Автор попробует очень коротко, в десять минут, но все-таки со всеми подробностями, рассказать о всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

А, впрочем, и рассказывать нечего.

Тихо и покойно текла его жизнь.

И если всю эту жизнь разбить на какие-то периоды, то вся жизнь распадется на пять или шесть небольших частей.

Вот Борис Иванович, окончив реальное училище, вступает в жизнь. Вот он музыкант. В оркестре играет. Вот его роман с хористкой. Женильба на своей хозяйке. Война. Потом революция. А перед этим – пожар местечка.

Все было просто и понятно. И ничто не вызывало никакого сомнения. А главное, все это казалось не случайным. Все это казалось таким, как должно быть и как это бывает у людей, согласно, так сказать, начертанию истории.

Даже революция, сначала крайне смутившая Бориса Ивановича, после оказалась простой и ясной в своей твердой установке на определенные, отличные и вполне реальные идеи.

А все остальное – выбор профессии, дружба, женильба, война, – все это представлялось не случайной игрой судьбы, а чем-то необычайно солидным, твердым и безоговорочным.

Единственно, пожалуй, любовное приключение несколько разбивало стройную систему крепкой и не случайной жизни. Здесь дело обстояло несколько сложнее. Тут Борис Иванович допускал, что это был случайный эпизод, который мог бы и не быть в его жизни. Дело в том, что Борис Иванович Котофеев, в начале своей музыкальной карьеры, сошелся с хористкой из городского театра. Это была юная, опрятная блондинка с неопределенными, светлыми глазами.

Сам Борис Иванович был довольно красивый еще, двадцатидвухлетний юноша. Единственно, пожалуй, несколько портила его – отвисшая нижняя челюсть. Она придавала лицу скучное, растерянное выражение. Однако пышные стоячие усики в достаточной мере скрадывали досадный выступ.

Как началась эта любовь – не вполне известно. Борис Иванович сидел постоянно в глубине оркестра и в первые годы, из боязни ударить в инструмент не вовремя, положительно не спускал глаз с дирижера. И когда он успел перемигнуться с хористкой – так и осталось невыясненным.

Впрочем, в те годы Борис Иванович пользовался жизнью полностью. Он жуировал, ходил вечерами по городскому бульвару и даже посещал танцевальные вечера, на которых иногда, с голубым распорядительским бантом, бабочкой порхал по залу, дирижируя танцами.

Очень возможно, что знакомство как раз и началось на каком-нибудь вечере.

Во всяком случае, знакомство это Борису Ивановичу счастья не принесло. Роман начался удачно. Борис Иванович построил даже план своей дальнейшей жизни совместно с этой

миленькой и симпатичной женщиной. Но через месяц неожиданно блондинка покинула его, едко посмеявшись над его неудачной челюстью.

Борис Иванович, несколько сконфуженный этим обстоятельством и таким легким уходом любимой женщины, решил, после недолгого раздумья, сменить свою жизнь провинциального льва и отчаянного любовника на более спокойное существование. Он не любил, когда что-нибудь происходило случайное и такое, что могло измениться.

Вот тогда-то Борис Иванович и переехал за город, сняв за небольшую плату теплую комнату со столом.

И там он женился на своей квартирной хозяйке. И этот брак с домом, хозяйством и размеренной жизнью вполне утешил его встревоженное сердце.

Через год после брака произошел пожар.

Огонь уничтожил почти половину местечка.

Борис Иванович, обливаясь потом, самолично вытаскивал из дому мебель и перины и складывал все в кустах.

Однако дом не сгорел. Только полопались стекла и облупилась краска.

И уже утром Борис Иванович, веселый и сияющий, втаскивал назад свой скарб.

Это надолго оставило след. Борис Иванович несколько лет подряд делился своими переживаниями со знакомыми и соседями. Но и это сейчас стерлось.

И вот, если закрыть глаза и подумать о прошлом, то все: и пожар, и женитьба, и революция, и музыка, и голубой распорядительский бант на груди – все это стерлось, все слилось в одну сплошную, ровную линию.

Даже любовное событие стерлось и превратилось в какое-то досадное воспоминание, в скучный анекдот о том, как хористка просила подарить ей сумочку из лакированной кожи, и о том, как Борис Иванович, откладывая по рублю, собирал нужную сумму.

Так жил человек.

Так жил он до 37 лет, вплоть до того момента, до того исключительного происшествия в его жизни, за которое он был по суду оштрафован на двадцать пять рублей. Вплоть до этого самого приключения, ради которого автор, собственно, и рискнул испортить несколько листов бумаги и осушить небольшой пузырек чернил.

### 3

Итак, Борис Иванович Котофеев прожил до 37 лет. Очень вероятно, что он еще будет жить очень долго. Человек он очень здоровый, крепкий и с широкой костью. А что прихрамывает Борис Иванович слегка, чуть заметно, то это еще при царском режиме он стер свою ногу.

Однако нога жить не мешала, и жил Борис Иванович ровно и хорошо. Все было ему по плечу. И никогда и ни в чем сомнений не было. И вдруг в самые последние годы Борис Иванович стал задумываться. Ему вдруг показалось, что жизнь не так уж тверда в своем величии, как это рисовалось ему раньше.

Он всегда боялся случайности и старался этого избегать, но тут ему показалось, что жизнь как раз и наполнена этой случайностью. И даже многие события из его жизни показались ему случайными, возникшими от вздорных и пустых причин, которых могло и не быть.

Эти мысли взволновали и уstraшили Бориса Ивановича.

Борис Иванович раз даже завел об этом речь в кругу своих близких друзей.

Это было на его собственных именинах.

– Странно все, господа, – сказал Борис Иванович. – Все как-то, знаете, случайно в нашей жизни. Все, я говорю, на случае основано... Женился я, скажем, на Луше... Я не к тому говорю, что недоволен или что-нибудь вообще. Но случайно же это. Мог бы я вовсе не здесь комнату снять. Я случайно на эту улицу зашел... Значит, что же это выходит? Случай?

Приятеля криво усмехались, ожидая семейного столкновения. Однако столкновения не последовало. Лукерья Петровна, соблюдая настоящий тон, вышла только демонстративно из комнаты, выдула ковшик холодной воды и снова вернулась к столу свеженькая и веселенькая. Зато ночью устроила столь грандиозный скандал, что сбежавшиеся соседи пытались вызвать пожарную часть для ликвидации семейных распрей.

Однако и после скандала Борис Иванович, лежа с открытыми глазами на диване, продолжал обдумывать свою мысль. Он думал о том, что не только его женитьба, но, может, и игра на треугольнике и вообще все его призвания – просто случаи, простое стечение житейских обстоятельств.

«А если случай, – думал Борис Иванович, – значит, все на свете непрочно. Значит, нету какой-то твердости. Значит, все завтра же может измениться».

У автора нет охоты доказывать правильность вздорных мыслей Бориса Ивановича. Но на первый взгляд действительно все в нашей уважаемой жизни кажется отчасти случайным. И случайное наше рождение, и случайное существование, составленное из случайных обстоятельств, и случайная смерть. Все это заставляет и впрямь подумать о том, что на земле нет одного строгого, твердого закона, охраняющего нашу жизнь.

А в самом деле, какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей до мизернейших человеческих измышлений.

Скажем, многие поколения и даже целые замечательные народы воспитывались на том, что бог существует.

А теперь мало-мальски способный философ с необычайной легкостью, одним росчерком пера, доказывает обратное.

Или наука. Уж тут-то все казалось ужасно убедительным и верным, а оглянитесь назад – все неверно и все по временам меняется, от вращения земли до какой-нибудь там теории относительности и вероятности.

Автор – человек без высшего образования, в точных хронологических датах и собственных именах туговато разбирается и поэтому не берется впустую доказывать.

Тем более, что об этом Борис Иванович Котофеев вряд ли, конечно, думал. Был он хотя и неглупый человек со средним образованием, но не настолько уж развит, как некоторые литераторы.

И все-таки он и то заметил какой-то хитрый подвох в жизни. И даже стал с некоторых пор побаиваться за твердость своей судьбы.

Но однажды его сомнение разгорелось в пламя.

Однажды, возвращаясь домой по Заднему проспекту, Борис Иванович Котофеев столкнулся с какой-то темной фигурой в шляпе.

Фигура остановилась перед Борисом Ивановичем и худым голосом попросила об одолжении.

Борис Иванович сунул руку в карман, вынул какую-то мелочишку и подал нищему. И вдруг посмотрел на него.

А тот сконфузился и прикрыл рукой свое горло, будто извиняясь, что на горле нет ни воротничка, ни галстука. Потом, тем же худым голосом, нищий сказал, что он – бывший помещик, и что когда-то он и сам горстями подавал нищим серебро, а теперь, в силу течения новой демократической жизни, он принужден и сам просить об одолжении, поскольку революция отобрала его имение.

Борис Иванович принялся расспрашивать нищего, интересуясь подробностями его прошлой жизни.

– Да что ж, – сказал нищий, польщенный вниманием. – Был я ужасно какой богатый помещик, деньги куры у меня не клевали, а теперь, как видите, в нищете, в худобе и жрать нечего. Все, гражданин хороший, меняется в жизни в свое время.

Дав нищему еще монету, Борис Иванович тихонько пошел к дому. Ему не было жаль нищего, но какое-то неясное беспокойство овладело им.

– Все в жизни меняется в свое время, – бормотал добрейший Борис Иванович, возвращаясь домой.

Дома Борис Иванович рассказал своей жене, Лукерье Петровне, об этой встрече, причем несколько сгустил краски и прибавил от себя кой-какие подробности, например, как этот помещик кидался золотом в нищих и даже разбивал им носы тяжеловесными монетами.

– Ну, и что ж, – сказала жена. – Ну, жил хорошо, теперь – плохо. В этом нет ничего ужасно удивительного. Вот недалеко ходить – сосед наш тоже чересчур бедствует.

И Лукерья Петровна стала рассказывать, как бывший учитель чистописания, Иван Семенович Кушаков, остался ни при чем в своей жизни. А жил тоже хорошо и даже сигары курил.

Котофеев как-то близко принял к сердцу и этого учителя. Он стал расспрашивать жену, почему и отчего тот впал в бедность.

Борис Иванович захотел даже увидеть этого учителя. Захотел немедленно принять самое горячее участие в его плохой жизни.

И он стал просить свою жену, Лукерью Петровну, чтобы та сходила поскорей за учителем, привела бы его и напоила чаем.

Для порядку побранившись и назвав мужа «вахлаком», Лукерья Петровна все же накинула косынку и побежала за учителем, снедаемая крайним любопытством.

Учитель, Иван Семенович Кушаков, пришел почти немедленно.

Это был седоватый, сухенький старичок в длинном худом сюртуке, без жилета. Грязная рубашка без воротника выпирала на груди комком. И медная, желтая, ужасно яркая запонка выдавалась как-то далеко вперед своей пупочкой.

Седоватая щетина на щеках учителя чистописания была давно не брита и росла кустиками.

Учитель вошел в комнату, потирая руки и на ходу прожевывая что-то. Он степенно, но почти весело, поклонился Котофееву и зачем-то подмигнул ему глазом.

Потом присел к столу и, пододвинув тарелку с ситником с изюмом, принялся жевать, тихо усмехаясь себе под нос.

Когда учитель поел, Борис Иванович с жадным любопытством стал расспрашивать о прежней его жизни и о том, как и почему он так опустил и ходит без воротничка, в грязной рубашке и с одной голой запонкой.

Учитель, потирая руки и весело, но ехидно подмигивая, стал говорить, что он, действительно, неплохо жил и даже сигары курил, но с изменением потребностей в чистописании и по декрету народных комиссаров предмет этот был исключен из программы.

– А я с этим свылся уж, – сказал учитель, – привык. И на жизнь не жалуюсь. А что ситный кушал, то в силу привычки, а вовсе не от голоду.

Лукерья Петровна, сложив руки на переднике, хохотала, предполагая, что учитель уже начинает завираться и сейчас заврется окончательно. Она с нескрываемым любопытством глядела на учителя, ожидая от него чего-то необыкновенного.

А Борис Иванович, покачивая головой, бормотал что-то, слушая учителя.

– Что ж, – сказал учитель, снова без нужды усмехаясь, – так и все в нашей жизни меняется. Сегодня, скажем, отменили чистописание, завтра рисование, а там, глядишь, и до вас достучаются.

– Ну, уж вы, того, – сказал Котофеев, слегка задохнувшись. – Как же до меня-то могут достучаться... Если я в искусстве... Если я на треугольнике играю.

– Ну и что ж, – сказал учитель презрительно, – наука и техника нынче движется вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый инструмент – и крышка... И достучались...

Котофеев, снова слегка задохнувшись, взглянул на жену.

– И очень просто, – сказала жена, – если в особенности движется наука и техника...

Борис Иванович вдруг встал и начал нервно ходить по комнате.

– Ну и что ж, ну и пушай, – сказал он, – ну и пушай.

– Тебе пушай, – сказала жена, – а мне отдувайся. Мне же, дуре, на шею сядешь, Пилат-мученик.

Учитель завожился на стуле и примиряюще сказал:

– Так и все: сегодня чистописание, завтра рисование... Все меняется, милостивые мои государи.

Борис Иванович подошел к учителю, попрощался с ним и, попросив его зайти хотя бы завтра к обеду, вызвался проводить гостя до дверей.

Учитель встал, поклонился и, весело потирая руки, снова сказал, выйдя в сени:

– Уж будьте покойны, молодой человек, сегодня чистописание, завтра рисование, а там и по вас хлопнут.

Борис Иванович закрыл за учителем двери и, пройдя в свою спальню, сел на кровати, охватив руками свои колени.

Лукерья Петровна, в стоптанных войлочных туфлях, вошла в комнату и стала прибирать ее к ночи.

– Сегодня чистописание, завтра рисование, – бормотал Борис Иванович, слегка покачиваясь на постели. – Так и вся наша жизнь.

Лукерья Петровна оглянулась на мужа, молча и с остервенением плюнула на пол и стала распутывать свалившиеся за день свои волосы, стряхивая с них солому и щепки.

Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал:

– А что, Луша, а вдруг да и вправду изобретут ударные электрические инструменты? Скажем, кнопочка небольшая на пюпитре... Дирижер тыкнет пальцем – и она звонит...

– И очень даже просто, – сказала Лукерья Петровна. – Очень просто... Ох, сядешь ты мне на шею!.. Чувствую, сядешь...

Борис Иванович пересел с кровати на стул и задумался.

– Горюешь, небось? – сказала Лукерья Петровна. – Задумался? За ум схватился... Не было бы у тебя жены да дома, ну куда бы ты, голоштанник, делся? Ну, например, попрут тебя с оркестру?

– Не в том, Луша, дело, что попрут, – сказал Борис Иванович. – А в том, что превратно все. Случай... Почему-то я, Луша, играю на треугольнике. И вообще... Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?

Лукерья Петровна, лежа в постели, слушала мужа, тщетно стараясь разгадать смысл его слов. И, предполагая в них личное оскорбление и претензию на ее недвижимое имущество, снова сказала:

– Ох, сядешь мне на шею! Сядешь, Пилат-мученик, сукин кот.

– Не сяду, – сказал Котофеев.

И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате.

Страшное волнение охватило его. Рукой проведя по голове, будто стараясь скинуть какие-то неясные мысли, Борис Иванович снова присел на стул.

И сидел долго в неподвижной позе.

Затем, когда дыхание Лукерьи Петровны перешло в легкий, с небольшим свистом, храп, Борис Иванович встал со стула и вышел из комнаты.

И, найдя свою шляпу, Борис Иванович напялил ее на голову и в какой-то необыкновенной тревоге вышел на улицу.



4

Было всего десять часов.

Стоял отличный тихий августовский вечер.

Котофеев шел по проспекту, широко махая руками.

Странное и неясное волнение его не покидало.

Он дошел, совершенно не заметив того, до вокзала.

Прошел в буфет, выпил бокал пива и, снова задохнувшись и чувствуя, что не хватает дыхания, опять вышел на улицу.

Он шел теперь медленно, уныло опустив голову, думая о чем-то. Но если спросить его, о чем он думал, он не ответил бы – он и сам не знал.

Он шел от вокзала все прямо и на аллее, у городского сада, присел на скамейку и снял шляпу.

Какая-то девица, с широкими бедрами, в короткой юбке и в светлых чулках, прошла мимо Котофеева раз, потом вернулась, потом снова прошла и, наконец, села рядом, взглянув на Котофеева.

Борис Иванович вздрогнул, взглянул на девушку, мотнул головой и быстро пошел прочь.

И вдруг Котофееву все показалось ужасно отвратительным и невыносимым. И вся жизнь – скучной и глупой.

– И для чего это я жил... – бормотал Борис Иванович. – Приду завтра – изобретен, скажут. Уже, скажут, изобретен ударный электрический инструмент. Поздравляю, скажут. Ищите, скажут, себе новое дело.

Сильный озноб охватил все тело Бориса Ивановича. Он почти бегом пошел вперед и, дойдя до церковной ограды, остановился. Потом, пошарив рукой калитку, открыл ее и вошел в ограду.

Прохладный воздух, несколько тихих берез, каменные плиты могил как-то сразу успокоили Котофеева. Он присел на одну из плит и задумался. Потом сказал вслух:

– Сегодня чистописание, завтра рисование. Так и вся наша жизнь.

Борис Иванович закурил папиросу и стал обдумывать, как бы он начал жить в случае чего-либо.

– Прожить-то проживу, – бормотал Борис Иванович, – а к Луше не пойду. Лучше народу в ножки поклонюсь. Вот, скажу, человек, скажу, гибнет, граждане. Не оставьте в несчастии...

Борис Иванович вздрогнул и встал. Снова дрожь и озноб охватили его тело.

И вдруг Борису Ивановичу показалось, что электрический треугольник давным-давно изобретен и только держится в тайне, в страшном секрете, с тем, чтобы сразу, одним ударом, свалить его.

Борис Иванович в какой-то тоске почти выбежал из ограды на улицу и пошел, быстро шаркая ногами.

На улице было тихо.

Несколько запоздалых прохожих спешили по своим домам.

Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая отчета в том, что он делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал:

– Гражданин... Милости прошу... Может, человек погибает в эту минуту...

Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь.

– А-а, – закричал Борис Иванович, опускаясь на деревянный тротуар. – Граждане!.. Милости прошу... На мое несчастье... На мою беду... Подайте кто сколько может!

Несколько прохожих окружило Бориса Ивановича, разглядывая его с испугом и изумлением.

Постовой милиционер подошел, тревожно похлопывая рукой по кобуре револьвера, и подергал Бориса Ивановича за плечо.

– Пьяный это, – с удовольствием сказал кто-то в толпе. – Нализался, черт, в будень день. Нет на них закона!

Толпа любопытных окружила Котофеева. Кое-кто из сердобольных пытался поднять его на ноги. Борис Иванович рванулся от них и отскочил в сторону. Толпа расступилась.

Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул и вдруг молча побежал в сторону.

– Крой его, робя! Хватай! – завыл кто-то истошным голосом.

Милиционер резко и пронзительно свистнул. И трель свистка всколыхнула всю улицу.

Борис Иванович, не оглядываясь, бежал ровным, быстрым ходом, низко опустив голову. Сзади, дико улюлюкая и хлопая ногами по грязи, бежали люди.

Борис Иванович метнулся за угол и, добежав до церковной ограды, перепрыгнул ее.

– Здеся! – выл тот же голос. – Сюды, братцы! Сюды, загоняй!.. Крой...

Борис Иванович вбежал на паперть, тихо ахнул, оглянувшись назад, и налег на дверь.

Дверь подалась и со скрипом на ржавых петлях открылась.

Борис Иванович вбежал внутрь.

Одну секунду он постоял в неподвижности, потом, охватив голову руками, по шатким каким-то сухим и скрипучим ступенькам, бросился наверх.

– Здеся! – орал доброхотный следователь. – Бери его, братцы! Крой все по чем попало...

Сотня прохожих и обывателей ринулась через ограду и ворвалась в церковь. Было темно.

Тогда кто-то чиркнул спичкой и зажег восковой огарок на огромном подсвечнике.

Голые высокие стены и жалкая церковная утварь осветились вдруг желтым скудным мигающим светом.

Бориса Ивановича в церкви не было.

И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата.

Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще, поплыли в тихом ночном воздухе.

Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей.

Это продолжалось минуту.

Затем снова завыл знакомый голос:

– Здеся! Братцы, неужели-те человека выпускать? Крой на колокольню! Хватай бродягу!

Несколько человек бросилось наверх.

Когда Бориса Ивановича выводили из церкви, – огромная толпа полуодетых людей, наряд милиции и пригородная пожарная команда стояли у церковной ограды.

Молча, через толпу, Бориса Ивановича провели под руки и поволокли в штаб милиции.

Борис Иванович был смертельно бледен и дрожал всем телом. А ноги его непослушно волочились по мостовой.

## 5

Впоследствии, много дней спустя, когда Бориса Ивановича спрашивали, зачем он это все сделал и зачем, главное, полез на колокольню и стал звонить, он пожимал плечами и сердито отмалчивался или же говорил, что он подробностей не помнит. А когда ему напоминали об этих подробностях, он конфузливо махал руками, упрашивая не говорить об этом.

А в ту ночь продержали Бориса Ивановича в милиции до утра и, составив на него неясный и туманный протокол, отпустили домой, взяв подписку о невыезде из города.

В рваном сюртуке, без шляпы, весь поникший и желтый, Борис Иванович вернулся утром домой.

Лукерья Петровна выла в голос и колотила себя по грудям, проклиная день своего рождения и всю свою разнесчастную жизнь с таким человеческим отребьем, как Борис Иванович Котофеев.

А в тот же вечер Борис Иванович, как и всегда, в чистом опрятном сюртуке, сидел в глубине оркестра и меланхолически позвякивал в свой треугольник.

Был Борис Иванович, как и всегда, чистый и причесанный, и ничего в нем не говорило о том, какую страшную ночь он прожил.

И только две глубокие морщины от носа к губам легли на его лице.

Этих морщин раньше не было.

И не было еще той сутулой посадки, с какой Борис Иванович сидел в оркестре. Но все перемелется – мука будет. Борис Иванович Котофеев жить еще будет долго. Он, дорогой читатель, и нас с тобой переживет. Мы так думаем.

## О чем пел соловей

### 1

А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади...

Ну, что ж! Пушай смеются.

Одно обидно: не поймут ведь, черти, половину. Да и где же им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась!

Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье – все равно бесцельно; все равно не увидит, вероятно, автор полностью этой будущей прекрасной жизни.

Да будет ли она прекрасна – это еще вопрос. Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни.

Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали и выдали вместо помершего родственничка какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху... Конечно, это не без того, – будут случаться такие ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна.

Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в Гостином дворе...

– Возьмите, – скажут, – у нас, гражданин, отличную шубу.

А ты мимо пройдешь. И сердце не забьется.

– Да нет, – скажешь, – уважаемые товарищи. На черта мне сдалась ваша шуба. У меня их шесть.

Ах, черт! До чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь!

Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счета и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь! Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения! И, например, любовь. Каким, небось, пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство!

Ах ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже вчуже, даже без малейшей гарантии застать ее. Но вот – любовь.

Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, – говорят, – какая любовь? Нету никакой любви. И никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, вроде похорон.

Вот с этим автор не может согласиться.

Автор не хочет исповедываться перед случайным читателем и не хочет некоторым, особо неприятным автору, критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда, от избытка всевозможных благородных чувств, падал на колени и, как дурак, целовал землю.

Теперь, когда прошло пятнадцать лет и автор слегка седеет от различных болезней, и от жизненных потрясений, и от забот о куске хлеба, когда автор просто не хочет врать и не для чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть жизнь, как она есть, без всякой лжи

и украшений, – он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и общественных кругах сильно на этот счет ошибаются.

На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей.

– Это, – скажут, – товарищ, не пример – собственная ваша фигура. Что вы, – скажут, – в нос тычете свои любовные пашни? Ваша, – скажут, – персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

– Видали? Случайно! То есть, дозволейте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

– Да это как вам угодно, – скажут. – Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, – скажут, – на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают.

Ха!.. Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в «Правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке.

Это что – не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну, и черт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть.

Итак, любовь.

Пушай об этом изящном чувстве каждый думает, как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже, черт с вами, пушай трамвай впереди, – автор все же остается при своем мнении.

Автор только хочет рассказать читателю об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи в двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

– Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии...

## 2

Фу! Трудно до чего писать в литературе!

По́том весь изойдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри.

И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина. Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологией с ним не связан. Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича.

Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора мало замеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным.

Уже Мишка Рундуков, братишка ее, менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый.

Да о наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки подходящий. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся – какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, когда у него и усов-то не было в момент описания событий.

Что же касается самой старухи, так сказать, мамыши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, ежели мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более,

что старушек вообще трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая эта старушка. Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете.

Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные и ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает.

Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко. Этаким темненький, в один этаж. На фасаде – номер 22. Повыше на досочке багор нарисован. На предмет пожара. Кому что тащить. Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось, нету!.. Ну, да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации.

А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели тоже достаточно рельефно вырисовывается в памяти автора... Три комнаты небольшие. Пол кривой. Рояль Беккера. Этаким жутким рояль. Но играть на нем можно. Кой-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часики под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное – морду врет. Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет.

Скучно, небось, было бы жить в этих комнатах столичным гражданам!

Скучно, небось, столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешано. И у плиты старуха продукты стряпает. Картошку, например, чистит. Шелуха лентой с-под ножа свивается.

Только пушай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил. И жил в них. И, может, и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так – жалкая жалость. Ну, войдешь в эту кухню – и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи! Противно же мордой в чулок! Ну его к черту! Такая гадость.

А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелькоте жила такая выдающаяся барышня, такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова.

Автору всегда было очень-очень жаль эту миловидную барышню. О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. О том, какой это человек. Откуда он взялся. И благонадежен ли он политически. И какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым. И не родственник ли он им.

Нет, он не родственник. Он просто случайно и на время замешался в ихнюю жизнь.

Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя, вместе с тем, автор, закрывая глаза, видит его как живого.

Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутую, видимо, придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь до самых задников.

Что касается образования, то на вид образование было не ниже четырех классов старой гимназии.

Социальное происхождение – неизвестно.

Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся.

А зачем приехал – тоже неясно. Сытнее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так сказать, неведомые дали и приключения? Черт его разберет! Во всякую психологию не влезешь.

Но скорей всего, в провинции сытней показалось. Потому – первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлеба и на горы всевозможных продуктов.

Но, между прочим, как он кормился – для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе.

Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно.

А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку.

И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова по-прежнему часто и развязно моргал глазами.

И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью, и имеющего право жить, и знающего себе полную цену.

И, действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные тридцать два года.

Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы, или траву, или даже листья. Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь.

О чем он думал и какие исключительные идеи осеняли его голову – никому не известно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или, скорей всего, думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру.

И в самом деле: он жил у Волосатова, у дьякона живой церкви, и, в силу своего служебного положения, весьма беспокоился жить у лица, столь политически запачканного.

Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради бога, какой-нибудь новой квартирнки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа.

И, наконец, кто-то, по доброте душевной, сосватал ему небольшую, в две квадратные сажени, комнату. Это было как раз в доме уважаемых Рундуковых. Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра въехал, наняв для этой цели водовоза Никиту.

Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах, дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду.

Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала:

– Скатертью дорожка. Камнем в воду. Не задерживаем.

Собравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе.

### 3

Комната Былинкину, Василию Васильевичу, была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за

жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента.

Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо бекеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее и что сам он, Былинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков.

Старуха обиженно сказала, что у них сорок лет стоит этот рояльчик и для былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, тем более, что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте и, может быть, это у ней основная цель в жизни.

Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что он говорит это в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказа.

На что старуха, крайне обиженная, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможностях вселения со стороны.

Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу.

Два или три дня прошли тихо и без особых перемен.

Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и, наконец, засыпал, слегка похрапывая и вереща носом.

Лизочка Рундукова эти два дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату.

Наконец, на третий день она и сама увидела Былинкина.

Это было рано утром. Былинкин, по обыкновению, собирался на службу.

Он шел по коридору в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развеваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы.

Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащипывая от сухого полена лучину.

Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета.

А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и восторгом.

И верно: в то утро она была очень хороша.

Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно.

В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству.

Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин.

В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так – мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная... Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж!

И странная вещь, читатель!



Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать – измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, черт ее знает, какая греческая – дотронуться нельзя. А дотронешься – криков и скандалов не оберешься. Этакое платье не настоящее – опять не дотронься. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите: кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования?

Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А та – как на булавке. Кому это надо?

Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако относительно женщин автор остается при своем национальном мнении.

Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины.

Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением.

Но это длилось одну минуту.

Лизочка Рундукова, тихо ахнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы.

К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку.

Но не встретил.

Тогда попозже, к вечеру, Былинкин пять или шесть раз смотался на кухню и, наконец, встретил Лизочку Рундукову, которой и поклонился страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову набок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность.

Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

Былинкин приходил теперь домой и, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь трамблям на рояле, упрашивал ее изобразить еще и еще что-нибудь душещипательное.

И она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми или брала несколько бравурных аккордов второй или третьей, а может даже, черт их разберет, и четвертой рапсодии Листа.

И он, Былинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. И, сидя в своей комнате, мечтательно откидывался на спинку кресла, думая о прелестьях человеческого существования.

Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова. Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате.

Зачем это понадобилось Былинкину, автору крайне неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбыть Лизочку с рук.

Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистал раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в ту, то в другую комнату.

И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы, пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил барышню рассказать о ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования.

Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви, или это у нее в первый раз.

И барышня загадочно улыбалась и, тихо перебирая рояльные клавиши, говорила:

– Не знаю...

#### 4

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга.

Они не могли видеться без слез и трепета.

И, встречаясь, всякий раз испытывали все новый и новый прилив восторженной радости.

Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой довольно миленькой барышни.

И, перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизни, и даже последнюю, дьяконицу, с которой у него таки был роман (автор совершенно в этом уверен), Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на тридцать втором году, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства.

Распирали ли Былинкина его жизненные соки, или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам – пока остается тайной природы.

Так или иначе, Былинкин видел, что он иной теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь – смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви.

И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Былинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десятков различных стихотворений и одну балладу.

Автор не знаком с его стишками, но одно стихотворение, под заглавием «К ней и к этой», посланное Былинкиным в «Диктатуру труда» и не принятое редакцией как несозвучное социалистической эпохе, случайно и благодаря любезности технического секретаря, Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору.

У автора особое мнение насчет стишков и любительской поэзии, и поэтому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных строф:

Девизом сердца своего,  
Любовь прогрессом называл.  
И только образ твоего  
Изящного лица внимал.

Ах, Лиза, это я  
Сгорел, как пепел, от огня  
Тому подобного знакомства.

С точки зрения формального метода стишки эти как будто и ничего собой. Но вообще же стишки – довольно паршивые стишки и, действительно, несозвучны и несоритмичны с эпохой.

В дальнейшем Былинкин не увлекался поэзией и не пошел по тяжкому пути поэта. Былинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю и стал жить по-прежнему, не проектируя своих безумных идей на бумагу.

Былинкин и Лизочка, встречаясь теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки Козявки. Иногда же, взяв

друг друга за руки, тихо ахали, восторгаясь необычайными красотами природы или легкой воздушной тучкой, пробегавшей по небу.

Все это было им ново, очаровательно, и, главное, казалось, что видят они все в первый раз.

Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу. А там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и, останавливаясь перед какой-нибудь сосной или елкой, смотрели на нее с изумлением, искренно удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево.

И тогда Василий Былинкин, потрясенный необычайностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног.

А кругом-то луна, кругом таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом этакая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Так вот, Былинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город.

Но в одну из таких прелестных прогулок, видимо, сырой ночью, неосторожный Былинкин простудился и слег. У него открылась болезнь, вроде свинки. Или как врачи называют – заушница.

Уже к вечеру Былинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать.

С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами, в мягких туфлях, металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять, и что делать, и как облегчить участь больного.

Мамаша Рундукова и та вкатывалась в комнату по нескольку раз в день, расспрашивая, не хочет ли больной клюквенного киселька, который будто бы незаменим при всех инфекционных заболеваниях.

Через два дня, когда морду у Былинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором.

Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе, видимо, ругаясь, что дали ему мелочью.

Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: ну, как? Что? Есть ли надежда? И что пущай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека.

Тогда врач, в силу своей профессии привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка – свинка и есть, и помирать от этого, к сожалению, не приходится.

Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения.

Былинкин первые дни боялся подняться с подушки и, ощупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбит ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде.

Но барышня, упрямивая его не беспокоиться, говорила, что, на ее взгляд, он стал более представительный мужчина, чем был раньше.

И Былинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь как нельзя более испытала крепость ихней любви.

5

Это была совершенно необыкновенная любовь. А с тех пор, когда Былинкин встал с одра болезни и голова с шеей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели.

От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие.

В один из ближайших после болезни дней Былинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая пока что лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами.

Былинкин сказал длинную и торжественную речь о том, что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, умудренный житейским опытом, знает, как надо жить, и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что, все это обдумав, он предполагает внести кой-какие изменения в свою намеченную жизнь.

Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел.

Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его и что если б он не сделал этого, то он был бы последним мазуриком и проходимцем. А что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее.

Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их придти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейственный характер.

Соседи горячо поздравляли ее, говоря, что она достаточно уж засиделась и намучилась безысходностью своего существования.

Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла к Былинкину, чтоб самой убедиться в подлинности факта.

И Былинкин удостоверял старуху, торжественно попросив называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она пятьдесят три года живет на свете, но что этот день – самый счастливый в ее жизни. И, в свою очередь, попросила называть его Васей. На что Былинкин милостиво дал свое согласие.

Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам, сломя голову и высунув язык.

Теперь влюбленные не ходили уже за город. Большей частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальнейшей жизни.

И в одну из таких бесед Былинкин принялся с карандашом в руках чертить на бумаге план их будущих комнат, которые будут составлять как бы отдельную, маленькую, но уютную квартиру.

Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказывали, куда лучше поставить кровать, и куда поставить стол, и где расположить туалет.

Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить туалетный столик в углу.

– Это абсолютное мещанство, – сказал Былинкин, – ставить туалетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу гораздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его легкой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать.

– Комод в углу тоже мещанство, – сказала Лизочка, едва не плача. – Да, к тому же, комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос.

– Ерунда, – сказал Былинкин, – как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках! Явная чушь.

– Ты, Вася, поговори с мамашей, – строго сказала Лизочка. – Поговори просто как с родной матерью. Скажи: дескать, дайте, маменька, комод.

– Ерунда, – сказал Былинкин. – Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется.

И Былинкин пошел в старухину комнату.

Было уже довольно поздно. Старуха спала.

Былинкин долго раскачивал ее, и та, брыкаясь во сне, никак не хотела вставать и понять, в чем дело.

– Проснитесь же, мамаша, – строго сказал Былинкин. – Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт? Ведь не трепаться же белью на подоконниках.

С трудом понимая, что от нее нужно, старуха принялась говорить, что комод этот пятьдесят один год стоит на своем месте, и на пятьдесят втором году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо. И что комоды она не сама делает. И что поздно ей, на старости лет, обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху.

Былинкин принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же, наконец, рассчитывать на покойную жизнь.

– Стыдно, мамаша! – сказал Былинкин. – Жалко вам комода! А в гроб вы его не возьмете. Знайте это.

– Не дам комода! – визгливо сказала старуха. – Помру, тогда и берите хоть всю мебель.

– Да, помрете! – сказал Былинкин с негодованием. – Жди!..

Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пуцай невинный ребенок, Мишка Рундуков, своими устами скажет последнее слово, тем более, что он единственный мужской представитель в ихнем рундуковском роду, и комод, по праву, принадлежит ему, а не Лизочке.

Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода.

– Да-а, – сказал Мишка. – Небось, гривенник отвалят, а комод взять хочут. Комоды тоже денег стоят.

Тогда Былинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что ему без комода как без рук и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступится от своих идеалов.

Лизочка буквально металась от матери к Былинкину, умоляя их как-нибудь прийти к соглашению и предлагая по временам перетаскивать комод из одной комнаты в другую.

Тогда, попросив Лизочку не метаться, Былинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил с тем, чтобы с утра заняться этим роковым вопросом.

Утро ничего хорошего не принесло. Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин.

Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича Былинкина, вдоль и поперек и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек!

Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов.

Лизочка с тихим криком перебежала от одного к другому, упрашивая их, наконец, не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе.

Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже, ради любезности, предложить некоторую компенсацию хотя бы за один обед.

Страшно взволнованный, Былинкин язвительно сказал, что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и два раза букеты цветов и, тем не менее, не предъявляет мамаше никаких счетов.

На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпансье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые, к тому же, на другой день завяли.

Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, предоставив все на волю судьбы.

Былинкин хотел побежать за ней и извиниться за неточные сведения, но, снова связавшись со старухой, назвал ее чертовой мамашей и, плюнув в нее, выбежал из дому.

Былинкин ушел из дому и два дня пропадал неизвестно где. И когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывание в этом доме.

Через два дня Былинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате.

Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их. И сожалел ли обо всем Былинкин или все сделал с полным сознанием и решимостью.

Автору известно только, что Былинкин, переехав, долгое еще время, правда, уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные своим несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод и случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы.

Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем оплакивали свою судьбу.

После Былинкин перестал ходить к Рундуковым. И, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно кланялся ей и проходил мимо...

## 6

Так кончилась эта любовь.

Конечно, в иное время, лет, скажем, через триста, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом.

Но жизнь диктует свои законы.

В заключение повести автор хочет сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлекшись переживаниями героев, автор совершенно упустил из виду соловья, о котором столь загадочно сказано было в заглавии.

Автор побаивается, что честный читатель, или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится.

— Позвольте, — скажет, — а где же соловей? Что вы, — скажет, — морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?

Было бы, конечно, смешно начинать сначала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет восполнить кое-какие подробности.

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или

пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

– Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

– Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше. Да, читатель, скорее бы, как сон, прошли эти триста лет, а там заживем.

Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

## Веселое приключение

### 1

Нет, не может автор понять, почему люди пишут скучные повести о всяких драмах и трагедиях.

Автор для душевного успокоения предпочитает взять какую-нибудь веселую развлекательную книжонку о том, о сем.

В самом деле, так приятно читать про что-нибудь счастливое, удачное. Так приятно видеть, когда герои все как на подбор красивые, умные, способные. Ходят чистенько одетые. Героини в шелковых и кисейных платьях. Ну приятно, когда про все хорошее читаешь!

Даже такая незначительная вещь, как погода, и то приятно, когда она хорошая на протяжении всей книги. Ну, это как-то радует и приподнимает настроение, когда солнце светит, когда кругом хорошо. Масса зелени. Тепло. Духовые оркестры поминутно играют. Вот какой желательно иметь фон, на котором бы разворачивалось действие.

Но наши современные писатели, к сожалению, не учитывают этого горячего пожелания публики. У них погодка взята по большей части ерундовая. Либо метель, либо буря. Либо ветер дует в морду герою. Герои же, как нарочно, подобраны нелюбезные. То и дело грубо ругаются. Одеты плохо. Вместо веселых и радостных приключений описываются разные несчастья и неприятности, либо вообще что-нибудь описывается, от чего клюешь носом.

Нет, не согласен автор с такой литературой. Пушай в этой литературе много хороших и гениальных книг, пушай в этих книгах черт знает какие глубокие идеи и разнообразные слова – не может автор найти в них душевного равновесия и радости.

И почему это французы могут изображать отличные и успокоительные стороны жизни, а мы не можем? Да что вы, товарищи, помилуйте! Хороших фактов, что ли, не хватает в нашей жизни? Или легких и бодрых приключений недостает? Или, по-вашему, ощущается нехватка в красивых героинях?

Что вы, дорогие товарищи! Все есть, если поискать. И любовь. И счастье. И благополучие. И красивые герои. И яркая бодрость. И наследства. И ванны. И голубые подштанники. И выигранные займы, по которым можно выиграть 10 000. Все это есть в нашей жизни.

Зачем же тогда засорять эту жизнь и сгущать черные краски? И так-то много скучного и бедного в наши переходные дни, зачем же еще литературой подбавлять пару?

Нет, не согласен автор с нашей высокой литературой! Конечно, автор и сам только недавно пришел к этим решительным мыслям.

Автор и сам недавно еще задавался на самые отчаянные и меланхолические идеи и на разрешения самых немыслимых вопросов. И вот – хватит. Довольно. Не в этом счастье.

Может, и в самом деле надо писать легко и весело. Может, и в самом деле надо писать только о хорошем и счастливом. Чтоб дорогой покупатель из книг черпал бодрость и радость, а не тоску и уныние.

Автор предполагает, что это именно так и должно быть.

И теперь, когда автор заканчивает свою книгу, он приходит к грустному размышлению о том, что вся книга написана не так, как надо бы.

Но что же поделать? Отныне автор берется рассказывать только бодрые, веселые и занимательные истории. Отныне автор отрекается от всех своих мрачных мыслей и меланхолических настроений.

К сожалению, перебирая в своей памяти все приключения и события последних лет, автор с некоторым конфузом и замешательством должен заявить, что для почина особо выда-



ющейся веселой истории автор прямо-таки не может сейчас припомнить. Вспоминается лишь одна, более или менее подходящая историйка, не то чтобы слишком веселая, но, пожалуй, тихонько посмеяться можно будет. Во всяком случае, на первый раз сойдет. А там чего-нибудь навернется более забавное.

А читателя автор насквозь узнал. Читателя хлебом не корми – дай ты ему за его деньги бодрые и счастливые переживания.

Какой-нибудь тут литературный критик, какой-нибудь писатель, какой-нибудь Рабиндранат Тагор ужасно как обрадуется и всполошится. «Вот, – скажет, потирая руки, – взгляните, – скажет, – на сукина сына – явно потрафляет читателю. Хватайте его и бейте по морде чем попало».

Подождите драться и ударять по морде, уважаемые критики. Обождите замахиваться. Дайте сказать человеку. Он не потрафляет читателю, а пишет так, как полагает нужным, ради бодрой идеи и ради общего благополучия. Впрочем, житейская мудрость и опыт многих лет, а также слабое состояние здоровья не позволяют автору вступить в пререканье с критиком.

Так вот, перебирая в памяти десятка полтора всяких историй, автор решает остановиться на забавном и веселом приключении, достойном пера какого-нибудь выдающегося французского писателя.

В этом веселом приключении много было счастливых и острых переживаний, много было бодрости и борьбы. Тут были романтические встречи. И стояла весьма недурная осенняя погода. Счастливый конец завершил эту трагикомическую эпопею.

Автор полагает, что лучшей истории ему для почину прямо-таки не припомнить.

Конечно, на первый взгляд особо выдающейся бодрости и счастья не будет ощущаться. Но нельзя же, чтоб сплошь было счастье и счастье. Этак и жить, сами понимаете, будет скучновато.

Итак, автор постарается в правдивых и бодрых тонах рассказать о веселом приключении, случившемся в самые недавние дни с Сергеем Петровичем Петуховым.

## 2

Сергей Петрович Петухов по воскресеньям на службу не ходил. В этот день, полный отдыха и бодрого веселья, Сергей Петрович вставал поздно, часов этак в десять, а то и в одиннадцать.

Но сегодня не было еще и десяти, когда Сергей Петрович сладко проснулся в своей постели, повернулся на другой бок и радостно улыбнулся наступающему утру.

Это была улыбка молодого, здорового организма, не захватанного еще врачами. Это была улыбка юноши, видевшего ночью отличные сны, светлые перспективы и бодрые горизонты.

И, действительно, в эту ночь Сергей Петрович видел себя каким-то молодым, богатым франтом. Он не помнил в точности, что он видел, но какие-то миловидные мордочки, какие-то танцующие барышни, какие-то легкие неоскорбительные речи и славные улыбки переплетались этой ночью в радостное сновиденье, счастливые картины молодости и удачи.

Сергей Петрович похлопал себя ладонью по зевающему рту и сел на постель.

Довольно чистая ночная рубашка из тонкого мадаполама плотно облегла высокую грудь и молодые крепкие плечи.

Сергей Петрович долго сидел на постели и, обняв свои колени, обдумывал виденный сон.

И под влиянием этого сна, и, может быть, из-за того, что солнце светило в комнату, Сергею Петровичу захотелось легкой и беспечной жизни или какого-нибудь забавного и веселого приключения. Ему хотелось как бы продолжения сегодняшнего удачного сна.

Ему захотелось жить в просторной и веселой комнате, площадью не менее как в три квадратных сажени. Он уже мысленно застилал эту комнату пушистыми персидскими коврами и обставлял ее дорогими роялями и пианинами.

Он уже видел себя под руку с красивой, миловидной девушкой. Ему казалось, что он идет с ней в кафе, где пьет густое какао с венскими сухарями, платит за все один и затем, пошатываясь, выходит на улицу.

Сергей Петрович вздохнул, обвел тихим взглядом свое неказистое помещение и вдруг резким движением вскочил с постели.

Он вскочил с постели, сполоснул морду под жестяным рукомойником, причесал свои трепанные волосы и, прикрепив маленькое карманное зеркальце к стене, стал перед ним завязывать галстук.

Он долго возился с галстуком, потом с сапогами, начищая их до самого отчаянного блеска. Потом долго примерял шляпу. И наконец, одетый и причесанный, слегка надушенный мыльными каплями, вышел на улицу.

Стояло чудное, тихое утро бабьего лета. Масса зелени, воздуха и солнца на минуту ослепила Сергея Петровича. Где-то гремел духовой оркестр – хоронили общественного деятеля.

Сергея постоял у дома, повертел в руке палочку и пошел вдаль по проспекту легкой танцующей походкой.

Сергею Петухову было двадцать пять лет. Он был молод и здоров. У него были крепкие и сильные мускулы, у него были крупные, удачные черты лица и красивые серые глаза с ресницами и бровями. Проходящие женщины с явным удовольствием глядели на его выпуклый стан, на его круглые полные щеки и на свежеразглаженные брюки без излишних пятен. Сергей Петрович прищуренным глазом приветствовал каждую проходящую мимо женщину. Иногда он оборачивался и смотрел ей вслед, что-то обдумывая. Он шел медленно и дышал полной грудью. Иногда насвистывал какой-нибудь веселый мотив. Иногда останавливался у магазина рядом с какой-нибудь девушкой и смотрел на нее искоса, как бы оценивая и сравнивая с теми выдающимися барышнями, каких он видел этой ночью.

Вдруг Сергей обернулся и пристально посмотрел вслед какой-то проходящей девушке.

«Катюша Червякова собственной персоной», – подумал Сергей Петрович и, немного постояв, пошел вслед за ней.

Слегка задышавшись, он догнал девушку. Он хотел сзади веселым, шаловливым движением рук закрыть ей глаза и после спросить фальшивым тоном: «Кто вас схватил за глаза?» Но вдруг вспомнил, что руки у него сегодня не особо чистые и что перед уходом он чистил сапоги, и ядовитый скипидарный дух гуталина вряд ли выветрился за пятиминутную прогулку. Серега раздумал это сделать и только, подойдя совсем близко к девушке, он, одернув ее за руку и шуточно затопав ногами, вскричал:

– Хоп, берегись!

Девушка, смертельно побледнев, испуганно отшатнулась. Скорей всего, она предположила, что какой-то дурак выкатывает тележку со двора. Но, увидев Сергея Петровича, она расхохоталась. Они вдвоем, взявшись за руки, хохотали, как дети. Они буквально минут десять не могли произнести ни одного слова от приступов смеха.

Потом, слегка успокоившись, он спросил, куда она идет. И, узнав, что она гуляет, он взял ее под руку и поволочил за собой.

Много раз встречался Сергей Петрович с этой девушкой, но никогда не думал о ней и не вспоминал даже. А сейчас, под влиянием легкого веселого сна и бодрящей погоды, Серега ощутил в своей груди какое-то томление и любовный трепет.

Он крепко взял девушку под руку и торжественно повел ее по городу, как бы приглашая прохожих взглянуть на продолжение его сна.

Катюша Червякова, привыкшая видеть Сергея Петровича слегка хмурым, с обидчиво выпяченной нижней губой, решительно недоумевала. Она не знала, какая счастливая муха укусила ее кавалера. Но по природе своей веселая и смешливая, она поддерживала его бодрое, шаловливое настроение ума. Она говорила всякие пустяки, и он, захлебываясь от смеха и молодости, буквально хрюкал на всю улицу.

Молодость, красота и прекрасная погода связали вдруг эту парочку: им обоим показалось, что наступила любовь, увлечение или что-то вроде этого.

И, когда они прощались у ее дома, Сергей Петрович стал взволнованно просить назначить свидание как можно скорей. Он говорил, что жизнь его быстро проходит без особых переживаний и приключений. Он крайне одинок. И он хотел бы поближе подойти к Катюше Червяковой. Не хочет ли она сегодня, в семь часов вечера прийти на угол Кирпичного переулка к кинематографу? Они пойдут на первый сеанс и там, сидя рядышком, посмотрят драму и под музыку обмозгуют, чего им делать дальше – гулять ли по городу или зайти куда-нибудь.

Слегка для вида поломавшись и заявив, что ей надо сегодня подрубить какие-то там мамашины простыни и пересчитать белье, девушка все же быстро дала свое согласие, испугавшись, как бы кавалер не раздумал насчет кино.

Они очень мило и просто попрощались и разошлись. Впрочем, Серега с минуту постоял еще перед калиткой, заглянул в ворота, бодро цыкнул на залаявшую на него собаку и пошел домой завтракать.

Завтрак был сытный. Яичница из трех яиц с луком и с хреном. Кусок чайной колбасы. Масло. Хлеба Сергей Петрович мог есть без усталости. Хозяйка с этим не считалась.

– Хорошая штука жизнь, – бормотал Сережа, кушая яичницу.

### 3

Автор не знает, что самое главное, самое, так сказать, великолепное в нашей жизни, из-за чего стоит, вообще говоря, существовать на свете.

Может быть, это служение отечеству. Может быть, служение народу и всякая такая ураганная идеология. Может быть так. Скорей всего, что так. Но вот в личной жизни, в повседневном плане, кроме этих высоких идей, существуют и другие, более мелкие идейки, которые, главным образом, и делают нашу жизнь интересной и привлекательной.

Автор ничего не знает о них и не берется запутывать простые и малокультурные умы своими на этот счет глупыми изречениями. Решительно не знает автор, что самое привлекательное в жизни.

Иной раз только автору кажется, что после общественных задач на первом плане стоит любовь. И что любовь – самое привлекательное занятие.

Вот другой раз идешь, предположим, по городу. Поздно. Вечер. Пустые улицы. И идешь ты, предположим, в огромной тощине – в пульку, скажем, проперся или какая-нибудь мировая скорбь обуяла.

Идешь, и все кажется до того плохим, до того омерзительным, что вот прямо взял бы, кажись, и повесился бы сию минуту на первом фонаре, если б он освещен был.

И вдруг видишь – окно. Свет в нем красный или розовый пущен. Занавесочки какие-нибудь этакие даны. И вот смотришь издали на это окно и чувствуешь, что уходят все твои мелкие тревоги и волнения, и лицо расплывается в улыбку.

И тогда кажется чем-то прекрасным и великолепным и этот розовый цвет, и оттоманка какая-нибудь там за окном, и какая-нибудь смешная любовная канитель.

Тогда кажется все это чем-то основным, чем-то непоколебимым, чем-то раз навсегда данным.

Ах, читатель! Ах ты, милый мой покупатель! Да знаешь ли ты это драгоценное чувство любви, этот настоящий любовный трепет и сердечные тревобления? Не кажется ли тебе это самым драгоценным, самым привлекательным в нашей жизни?

Автор повторяет – он не утверждает этого. Он решительно не утверждает. Он надеется, что есть в жизни что-то еще более лучшее и более прекрасное. Автору только иногда кажется, что нет ничего выше любви и что любовь, пожалуй, очень большое и очень привлекательное занятие.

Сергей Петрович Петухов хотя был и помоложе автора, но у него были такие же мысли и такие же точно соображения насчет жизни и любви. Он так же понимал жизнь, как понимает ее автор, умудренный житейским опытом.

И вот в знаменитый день, в то ясное воскресенье, Сергей Петрович, сытно позавтракав, часа полтора валялся на кровати, предаваясь любовным мечтаниям. Он думал о любовном приключении, которое у него уже завязывается. И думал о тех умных, веселых и энергичных словах, которые он нынче утром говорил девушке. И еще думал о том, что любовь очень может скрасить его скучную и одинокую жизнь.

Сергей Петрович, вытянув ноги на спинку кровати, с нетерпением стал подсчитывать, сколько же, наконец, времени осталось до назначенного часа, до семи часов вечера, когда он будет сидеть со своей барышней в кино и там, под музыку бравурного рояля и под стрекот аппарата, будет говорить тихим и энергичным шепотом о той неожиданной нежности, которая нынче охватила его.

Было начало второго.

– Почти шесть часов ожидания, – бормотал наш нетерпеливый герой.

Но вдруг, стремительно вскочив с кровати, он быстро зашагал по комнате, бормоча проклятия и пихая ногами стулья и табуреты, попадавшие под его неосторожные шаги.

В самом деле. Что ж это он лежит, как дурак? Нужно же поскорее действовать.

Сергей Петрович был в настоящую минуту, так сказать, не при деньгах. Полученное жалованье давно ушло на всякие житейские нужды и потребности, и сейчас у нашего героя было в кармане всего четыре копейки меди и одна трехкопеечная почтовая марка.

Сергей Петрович об этом отлично помнил, когда говорил девушке о кино. Он не захотел только в те минуты портить себе кровь и обдумывать, где бы ему занять эти, в сущности, ничтожные деньги. Он решил обдумать это дома. Но вот уже почти два часа он валяется на матрацах, не предпринимая никаких шагов!

Сергей Петрович без пиджака, в одной рубашке, бросился в соседнюю комнату. Он захотел занять у соседа, с которым он был в довольно-таки приятельских отношениях. Однако сосед сказал, что сегодня он решительно не может одолжить. Он верит в благие намерения Сергея Петровича отдать эти деньги, но, к сожалению, у него самого до жалованья осталось рубля два, которые ему крайне нужны сегодня. А, кроме того, он вообще воздерживается давать в долг, считая это совершенно неумной и рискованной затеей.

Сергей Петрович бросился на кухню. Он стал умолять хозяйку выручить его из беды. Однако хозяйка сухо и непреклонно отказала, заявив, что она сама едва-едва сводит концы с концами и что она, к сожалению, не удосужилась еще приобрести на рынке подходящий станок, на котором она могла сколько ей влезет печатать червонцы и двугривенные.

Сергей Петрович, в сильных грустях и даже несколько взволнованный, прошел в свою комнату и снова прилег на кровать. Он стал методически обдумывать, где бы ему разжиться монетой. Ему нужна, в сущности, небольшая сумма – ну, на худой конец, ему нужно семь гривен.

Сергею Петровичу до того захотелось достать эти деньги, что на один миг он даже отчетливо увидел их в своей руке – три двугривенных и один гривенник.

Стараясь обдумывать спокойно, Сергей Петрович мысленно обошел всех знакомых и в сильных выражениях упрашивал одолжить ему нужную сумму. Но вдруг пришел к мысли, что в долг он действительно вряд ли у кого займет. Тем более перед первым числом.

Тогда Сергей Петрович стал обдумывать, как бы иным способом выкрутиться из некрасивого положения. Быть может, продать что-нибудь?

Да, конечно, продать!

Тогда Сергей Петрович быстро открыл шкаф, письменный стол, ящик. Нет, решительно ничего нет. Все ерунда и рвань. Не может же он загнать последний костюм или хозяйский шкаф и диван! Вот если загнать старые сапоги. Но что за них дадут?

Вот что. Да, конечно, Сергей Петрович сейчас, сию минуту продаст эту мясорубку. Она у него лежит в корзине. Она досталась ему от покойной матери. Странно, почему он эту машинку до сих пор не продал?

Сережа стремительно вытянул из-под кровати корзину, полную всякой домашней пыльной рухляди. С большой надеждой извлекал Сергей из корзины разные вещи и предметы, мысленно оценивая их. Но все это опять-таки была сплошная не ценная ерунда. Масса пыльных пузырьков, заскорузлых склянок, коробочек от порошков с закрученными рецептами. Какой-то тяжелый висячий шар от лампы с дробью. Ржавый засов. Два крючка. Мышеловка. Колодка от сапог. Кусок голенища. И вот, наконец, мясорубка.

Сережа стер с нее пыль платком и любовно прикинул ее на ладонь, мысленно взвешивая и оценивая.

Это была довольно массивная, плотная мясорубка с ручкой. В девятнадцатом году в ней мололи овес.

Сережа сдул с нее последнюю пыль, завернул в газету и, накинув на себя пальто, опрометью кинулся на рынок.

Воскресный торг был в полном разгаре. На площади ходили и стояли люди, бормоча и размахивая руками. Здесь продавались штаны, сапоги и лепешки на подсолнечном масле. Стоял страшный гул и острый запах.

Сережа протискался сквозь толпу и стал на виду в сторонку. Он развернул свою драгоценную ношу и опрокинул ее на ладонь, ручкой вверх, приглашая этим проходящую публику взглянуть на товар.

– Вот мясорубка, – бормотал наш герой, утрапливая события.

Сережа довольно долго стоял – никто не подходил даже. Только одна полновесная дама на ходу спросила о цене и, узнав, что цена – полтора целковых, пришла в такое сильное нервное раздражение и в такую ярость, что начала на весь рынок крыть и срамить Сергея Петровича, называя его мародером и подлецом. И под конец заявила, что он сам со своей машинкой стоит не более как рубль с четвертью.

Собравшаяся толпа несколько оттеснила расходившуюся даму.

Один предприимчивый молодой человек, тут же отделившись от толпы, осмотрел мясорубку, вынул кошелек и, брякнув им об ладонь, сказал, что полтора целковых – цена, действительно, неслыханная в наши дни и что мясорубка решительно не стоит таких денег. Она в плохом виде, и что если владелец мясорубки желает, то может получить за нее наличными деньгами двугривенный.

Сережа отказался, гордо покачав головой.

Он долго стоял после этого в неподвижной позе. Никто не подходил к нему. Толпа давно поредела.

У Сергея Петровича крайне затекли руки и зануло сердце.

Но вот неожиданно он глянул на рыночные часы и пришел в совершеннейший ужас. Было уже без четверти четыре. Он еще ничего не сделал.

Тогда Сергей решил, не теряя драгоценного времени, продать мясорубку первому покупателю за любую цену, с тем, чтобы немедленно куда-нибудь побежать и раздобыть недостающие деньги.

Он продал мясорубку какому-то продавцу за пятнадцать копеек.

Тот долго и с особо оскорбительным выражением лица отсчитывал медяки в протянутую руку Сергея Петровича. И, отсчитав тринадцать копеек, сказал: «Хватает».

Сережа хотел покрыть покупателя, но, взглянув еще раз на часы, охнул и ринулся к дому. Было четыре часа пополудни.

#### 4

Сережа, зажав в кулаке тринадцать копеек, бросился домой, на ходу обдумывая планы и возможности, по которым он достанет остальную сумму. Однако голова решительно отказывалась что-либо придумать. Лоб покрылся потом, и в висках лихорадочно стучало. Мысль о том, что осталось менее трех часов, не давала спокойно обдумать создавшееся положение.

Сергей Петрович пришел домой и окинул печальным взором свою комнату.

Он было решил загнать что-нибудь основное из своего постельного гардероба – подушку, например, или одеяло. Но в это время подумал о том, что девушка после кино, очень свободно, может посетить его скромное жилище. Ну что он ей тогда скажет? В самом деле, ну что он может сказать барышне насчет недостающего одеяла? Позор. Ведь барышня из любопытства сама может спросить: «Где, – скажет, – у вас, Сергей Петрович, одеяло?»

При этой мысли сердце Сергея Петровича облилось кровью и страшно застучало, и он решительно отверг этот недостойный план.

Но вдруг новая счастливая мысль осенила его бедную голову.

Тетка. Родная тетка. Тетка Наталья Ивановна Тупицына. Родная тетка Сергея Петровича. Что ж он раньше, дырявая голова, о ней не подумал?

Прежняя бодрость и веселье охватили все существо Сергея Петровича. Он стал танцевать какой-то дикий африканский танец, размахивая своим пальто и подвывая. И, накинув пальто только на лестнице, Сергей Петрович хорошей, бодрой рысцей побежал на Газовую улицу, № 4 к родной, дорогой своей тетке.

Сергей Петрович довольно редко видался с теткой. Он виделся с ней не более двух раз в год – на именины и Пасху. Но, тем не менее, это была родная тетка. Она поймет. Сергей был довольно-таки любимым ее племянником. У нее была даже сумасшедшая любовь к нему. Она сама ему сказала, что после ее смерти пускай он владеет тремя мужскими костюмами, которые остались после ее покойного супруга, умершего полтора года назад от совершенно незаразной болезни – от брюшного тифа.

И не может быть, чтобы эта родная тетка не вошла в его пиковое положение.

Вот, наконец, и Газовая улица. А вот и симпатичный дом № 4, двухэтажный, с мелкими окнами.

Сережа вбежал на двор через калитку. Поднялся одним духом во второй этаж. Вошел в кухню.

Две старые женщины хлопотали у плиты. Это были довольно вздорные старухи, квартирные хозяйки – сестры Белоусовы. Одна из них, младшая и наиболее ядовитая старуха, стояла на корячках перед открытой печкой и кочережкой вынимала угли в тушилку, из явной скупости. Другая старушка, старшая Белоусова, вытирала тарелки засаленным полотенцем. Какой-то небольшой парень, может быть, какой-нибудь белоусовский родственничек, сидел на табурете и беззастенчиво жрал вареный картофель.

На стене перед плитой в громадном количестве бегали тараканы. У окна висели железные часы с гирями. Маятник качался со страшной быстротой и хрипло, со скрежетом, отбивал такт тараканьей жизни.

Женщины таинственно переглянулись, когда Сергей Петрович вошел в кухню. Они зама- хали на него руками, как бы приглашая его вести себя потише. А сами, стараясь перегудеть друг друга, начали докладывать, что вот уж вторая неделя, как его тетка, Наталья Ивановна Тупицына, лежит тяжело больная и даже, так сказать, на краю могилы. И что приглашенный врач, выслушав ее, ничего такого особенно страшного не сказал, он только развел руками и прописал порошки, от которых на другой день к вечеру у больной отнялись ноги и перестали работать язык и желудок. И что если так пойдет дальше, то старушка Тупицына не сегодня завтра, с помощью божьей, перекочет в иной, лучший мир. И что Сергей Петрович, как един- ственный ее законный наследник, пускай сам распоряжается всякими могилами и гробами, так как у них нету времени бескорыстно работать неизвестно на кого.

Услышав слова о наследстве, Сергей Петрович, воспрянув духом, сразу заговорил о день- гах, но старухи, шокированные его поведением, стали ему выговаривать за его нетерпение. Вот когда старуха умрет – тогда другое дело. Но пока этого не случилось, он не получит из этого дома ни копейки. От этих слов у Сергея Петровича совершенно упало сердце. Последняя надежда его рухнула. Он почти не соображал, что ему говорили. Он оттеснил причитавших старух и медленно, слегка покачиваясь, пошел по коридору в теткинину комнату.

Тетка неподвижно лежала на кровати, тяжело и хрипло дыша.

Сергей Петрович обвел глазами комнату и мельком глянул на желтое старухино лицо с закрытыми глазами и с острым носом. У Сергея Петровича захватило дыхание, и, осторожно ступая на носки, он снова пошел в кухню.

Ему не было жаль умирающей тетки. Он даже в те минуты и не подумал о ней. Он только подумал о том, что сегодня решительно нет никакой возможности призанять у нее денег.

Сергей Петрович минут пять стоял в кухне почти в полной неподвижности. Ужасная бледность покрыла его лицо.

Две женщины, из уважения к его нестерпимому горю, старались также не двигаться, они только беззвучно вздыхали и вытирали кончиками платков свои губы и глаза. Стояла почти полная тишина. Только один парнишка по-прежнему, грубо чавкая, жрал картофель. И по- прежнему кухонные часы мерно отбивали движение времени.

Тогда Сергей Петрович, шумно вздохнув, искоса посмотрел на тикающие часы и замер в совершенном и окончательном оцепенении.

Было начало шестого.

Большая стрелка заканчивала первую свою четверть.

Второй раз в этот день сердце Сергея Петровича облилось кровью. Заломило в боку. Вся голова вспотела. И в горле стало сухо и жестко.

Сосущая тревога сменилась вдруг полным и бурным отчаянием. С Сергеем Петровичем сделалась такая нервная лихорадка, что он едва нашел выход на лестницу. Он сунулся было в чулан, потом дважды ткнулся в уборную, потом согнал с табуретки парнишку и хотел ударить его по морде и, наконец, с помощью крестящих его старух нашел выходную дверь.

Он едва прошел через дверь, до того мотались его руки и ноги.

Только на улице Сергей Петрович немного пришел в себя. Он медленным шагом пошел к дому. Он старался ни о чем не думать. Но всевозможные мысли сами давили его голову. Он пытался иронией несколько смягчить свое положение.

– Вот как, брат Серега, пришилило, – бормотал он. Конечно, будь это не выходной день, он достал бы на службе. Но сегодня он отказывается что-либо придумать.

Он пришел домой и в полном изнеможении лег на кровать.

– В чем, собственно, дело? – успокаивал себя Сергей. – Ну, эка штука – денег нету! Подумаешь, какая нестерпимая беда! Пойду к ней и скажу, мол, нету – мало ли какие бывают заминки.

Но тут какое-то упрямство и какое-то тупое желание достать во что бы то ни стало не давали ни о чем другом думать.

Казалось, что в этом сейчас заложен весь смысл жизни. Или он, Сергей Петрович Петухов, достанет эти жалкие деньги и пойдет сегодня с девушкой, как ходят все люди, беспечно и весело, или же он распишется в собственной слабости и будет выкинут за борт жизни.

Сергей Петрович неподвижно лежал на постели. Целые фантастические планы и картины стали рисоваться в его мозгу.

Вот, например, он идет по улице и находит бумажник. Или вот он заходит в магазин, наводит панику и ужас на приказчиков и забирает товару на кругленькую сумму. Или приходит в Госбанк, загоняет служащих в ванную комнату и берет полный мешок гривенников.

Тут же после всякой своей фантазии Сергей безнадежно усмехался и упрекал себя в нереальном подходе к событиям.

Он упрасивал себя не волноваться, а строго, по порядку, не торопясь и не предаваясь заманчивым иллюзиям, перечислять методически все возможные выходы.

Но вокруг все – и кровать, и комната, и подушки – стало невыносимым. Сергей Петрович почти выбежал на улицу.

Он, крупно шагая и бормоча что-то, прошел по проспекту.

Сам того не замечая, он остановился у часового магазина и долго глядел на круглый белый циферблат часов, выставленных в окне.

Он долго стоял и глядел, как двигалась большая стрелка. Она двигалась крайне медленно, и с каждым ее движением высыхало в горле Сергея Петровича.

Было шесть часов вечера.

Большая стрелка несколько даже перемахнула двенадцать.

Сергей Петрович резко повернулся и пошел дальше. И, проходя мимо Госбанка, криво усмехнулся и побарабанил пальцами по вывеске.

И пошел дальше, усмехаясь.

Он долго шел по каким-то улицам. И вдруг снова увидел дом своей тетки.

## 5

Сергей Петрович, немного постояв у теткиного дома, решительным шагом прошел во двор и стал подниматься по лестнице.

Неясные мысли приняли вдруг отчетливую форму.

Ну, конечно. В чем же дело? Он придет к тетке и просто возьмет у нее что-нибудь. Или разбудит ее и попросит. Он совсем не хочет скрывать от нее. Он, наконец, как наследник может это сделать. Он может, например, открыть комод или какой-нибудь там ночной столик и взять какую-нибудь мелочь. В чем же дело? В конце концов, он может даже предупредить этих двух квартирных дур.

Сергей Петрович поднялся во второй этаж, подошел к дверям и минуты две стоял перед ними в нерешительности.

Потом слегка подергал ручку. Дверь была закрыта.

Сергей Петрович хотел было громче потрясти ручку, но вдруг услышал шаги в кухне. Кто-то подходил к дверям.

Сам не зная почему, Сергей Петрович испугался и одним прыжком бросился в сторону на лесенку, ведущую на чердак.



В это время загремел крюк, дверь открылась, и квартирная хозяйка, старшая Белоусова, с ведром, полным помоев, вышла на лестницу и, не заметив Сергея Петровича, стала спускаться вниз.

Немного обождав, Сергей Петрович быстро и решительно подошел к незапертым дверям, осторожно открыл их и вошел в кухню.

В кухне никого не было.

Тогда, осторожно и тихо ступая на носки, Сергей Петрович пошел по коридору в теткину комнату. В комнате было темно.

Безотчетный страх, почти ужас охватил Сергея. Он сделал три шага по направлению к теткиной кровати и остановился, наступив на мягкие войлочные старухины туфли. Дрожь прошла по его телу.

Спокойное, хотя и хриплое, дыхание тетки своей равномерностью немного успокоило Сергея Петровича. Он подошел вплотную к кровати, пошарил руками впереди себя и, нащупав столик, подошел к нему.

Вдруг неосторожным движением трясущейся руки он опрокинул на столике какой-то пузырек. Вслед за пузырьком со страшным звоном упала на пол столовая ложка. Тетка слегка мотнула головой и промычала неясное.

Сергей Петрович замер, стараясь не дышать.

В соседней комнате слышались вдруг чьи-то шаги. Кто-то теперь шел по коридору беспокойными, шаркающими ногами.

Сергей Петрович заметался по комнате. Он подбежал к окну. Потом повернулся назад и, стремительно открыв дверь, бросился в темный коридор. На быстром ходу он сшиб с ног младшую старуху Белоусову и, перепрыгнув через нее, побежал дальше.

Ужасно закричала старуха, и крик ее гулко разнесся по всему дому.

Сергей Петрович вбежал на кухню, погасил за собой свет и кинулся на площадку.

Сергей Петрович хотел одним духом броситься вниз, но вдруг внизу слышались торопливые шаги. Ужасный старухин крик всполошил весь дом, а может быть, и всю улицу.

Теперь по лестнице снизу бежали какие-то люди. Сергей заметался на площадке и снова, как и в первый раз, бросился на верхнюю чердачную лесенку. И там, у закрытой двери, присел, почти упал на ступеньки, сердце его колотилось отчаянно. Не хватало воздуха. С разинутым ртом сидел Сергей Петрович на ступеньках и с ужасом прислушивался к тому, что происходило внизу.

Какие-то люди вбежали в квартиру, кто-то отчаянно визжал.

И кто-то, сквозь рыдания, кричал и плакал. Человек десять выбежали вдруг из квартиры и бросились вниз.

Выждав несколько минут, а может быть и полчаса, Сергей Петрович стал спускаться с лестницы. Он медленно, почти задумчиво, положив руки назад, с полным и ледяным спокойствием прошел через двор и, не встретив никого, очутился на улице.

На улице, у ворот, толпились люди.

– Ну, что? – спросили Сергея Петровича. – Поймали?

Сергей Петрович промычал что-то в ответ и тихим шагом, слегка покачиваясь, пошел к своему дому.

Он, как тень, прошел в свою комнату. Потом прошел в кухню и поглядел на хозяйский будильник.

Было четверть девятого.

Сергей Петрович усмехнулся и, сняв пиджак и штаны, долго ходил по комнате в одних подштанниках. Он соображал, где именно он был в семь часов вечера. И никак не мог решить.

Вдруг кровь ударила ему в голову. Он мысленно представил себе растерянное лицо девушки, ждущей его час и более.

Потом, снова усмехнувшись, Сергей Петрович лег на постель. Он спал беспокойно, часто мычал во сне и перекладывал подушку.

## 6

Сергей Петрович проснулся рано. Было семь часов утра.

Он сидел на постели в одних подштанниках и задумчиво зашнуровывал ботинок.

В этот момент постучали в дверь, и в комнату тихо вошла младшая старуха Белоусова.

Сергей Петрович страшно побледнел и встал с постели. Он дрожал, и зубы его отбивали барабанную дробь. Старуха замахала на него руками, заявив, что пусть он зря не стыдится своего вида, он вполне ей годится в правнуки, и что она на своем веку много перевидала мужчин в самых разнообразных подштанниках.

Старуха, присев на табурет, скорбно высморкалась в головной платок и торжественно сказала, что сегодня под утро померла его тетка, Наталия Ивановна Тупицына.

Сергей Петрович сперва просто не понял, о чем идет речь. Он предполагал услышать от старухи кое-какие намеки и подозрения относительно вчерашнего происшествия, однако старуха говорила о другом.

Но вот гостья, выждав для приличия несколько минут и безутешно всплакнув о временно погибшей тетке, принялась длинно и подробно рассказывать об ужасах вчерашнего налета.

Сергей Петрович снисходительно слушал, потом стал думать о своем.

Конечно, думал Сергей, можно бы пойти сейчас к Катюше и объяснить – вот, мол, вчера померла тетка. Так сказать, семейные обстоятельства не позволили вчера провести прилично время. Он, мол, сидел у постели умирающей родственницы.

Конечно, это можно сделать. Но вчерашнее волнение, вчерашние ужасные потрясения несколько притупили охоту Сергея Петровича. Он снова стал слушать старухину речь.

Старуха длинно нахально врала о вчерашнем бандитском нападении, совершенно не предполагая, что перед ней сидит человек, кое-что знавший об этом деле. Старуха уверяла, что налетчиков было трое и ими командовала одна женщина. И что, кроме этих четырех, был еще пятый – наводчик – совершенно безусый парень.

Тут Сергей Петрович несколько не выдержал и высказал предположение, что старуха, видимо, с перепугу, обмешурилась и приняла своего белоусовского родственника за безусого наводчика, а свою многоуважаемую сестрицу за атамана.

На что старуха с обидой заявила, что пуцай он при себе оставит свои лишние сентенции и что только ее находчивость и смелость не допустили разбойников разграбить имущество их, а также Сергея Петровича.

Тут старуха подошла вплотную к наиболее острому и занимательному вопросу. Она деликатно повела речь об оставшемся наследстве.

Ах, да! Сергей Петрович с этими волнениями вовсе позабыл об этом наследстве. Это же прямо великолепно!

Снова бодрость и счастье охватили Сергея Петровича. Снова радужные перспективы и счастливые горизонты открылись перед ним. Он мысленно примерял тетнины костюмы и жилеты. Он мысленно шел в новеньком пиджаке под руку с Катюшей Червяковой. Он мысленно торговался с татаринком, загоня ему всякое ненужное теткино барахло.

Долой уныние и долой меланхолию! Да здравствуют бодрые слова, бодрые мысли и прекрасные желания! Как хорошо и отлично жить на свете. Как хорошо и какое счастье чувствовать жизнь такой, какая она есть, а не такой, как иной раз кажется.

Сергей Петрович чувствовал себя семнадцатилетним мальчиком. Он пустился бы в пляс, он пошел бы отплясывать фокстрот с младшей Белоусовой, если бы было прилично танцевать сразу после смерти родственников.

Сергей Петрович вежливо попрощался со старухой, великосветски заявил, что он непременно будет сегодня на панихиде. Он не пойдет на службу. Он, конечно, сейчас же смотается до Катюши Червяковой и оставит ей прискорбное письмо с наилучшими извинениями. И потом пойдет отдать последний долг родственнице.

Сергей Петрович несколько даже заволновался. Он забоялся, как бы в последний момент старухи не почистили его наследство.

Он быстро присел к столу и, барабанив пальцами, стал обдумывать текст письма.

Радость и счастье давили грудь и мешали сосредоточиться.

Сергей Петрович взглянул в окно и замер в полном восхищении. Вставало прелестное утро. Голубое небо и спокойные верхушки деревьев предвещали отличный день.

– Как хорошо жить, – бормотал Сергей, открывая форточку. – Как хорошо дышать утренней прохладой. Как хорошо любить какую-нибудь миловидную барышню.

Сергей Петрович решительно присел к столу. Он написал несколько слов Катюше с объяснениями и просьбой непременно прийти сегодня, в семь часов, в назначенное место. Он запечатал конверт, оделся и вышел на улицу.

Он шел с гордо поднятой головой. Вчерашний ужас и волнения отошли куда-то в вечность. Вчерашний маленький страх перед жизнью исчез и сменился энергичным мужеством.

И в чем, собственно, дело? Да, действительно, вчера он немножко как будто сдал. Вчера он слегка поволновался. Но все остается по-прежнему. Прекрасная жизнь продолжается. И продолжается его веселое любовное приключение. За ним идут счастье и удача.

Сергей Петрович отдал письмо дворнику для передачи Катюше Червяковой и сам, глубоко вдыхая утреннюю прохладу, пошел легкой танцующей походкой к бывшей своей тетке.

Сергей пришел к самой панихиде. Старый батюшка тянул свою канитель. Старухи Белоусовы тихонько хрюкали, оплакивая свою последнюю жилицу. Но, вместе с тем, все это веяло яркой бодростью и повседневной жизнью.

Сама покойная тетка удобно расположилась на столе, на лучших кружевных наволочках. Спокойствие и счастье лежали на ее добродушном лице. Старуха была как живая. Некоторый даже румянец пробивался сквозь ее желтую кожу. Казалось, как будто она, устав, на минуту прилегла на столе и вот-вот сейчас, отдохнув, встанет и скажет: «А вот и я, братцы мои». Сергей Петрович долго смотрел на нее добрыми глазами.

«Тетка, тетка, – думал он. – Экая ты, брат, тетка. Подохла-таки...»

Сергей Петрович стоял неподвижно, склонив голову. Он думал о кратковременной жизни, и о непрочности человеческого организма, и о том, что надо эту жизнь заполнять погуще всякими отличными делами и веселыми приключениями. И эти мысли не горем и меланхолией наполняли его сердце – на сердце его были мир и тишина.

И Сергей Петрович, не дождавшись конца панихиды, тихо поклонился неподвижной тетке и вышел из помещения.

Он пошел по коридору в комнату своей тетки. Там было все аккуратно прибрано. И ничто не говорило о смерти.

Сергей Петрович беглым взглядом оглядел комнату, прикинул на глаз стоимость каждой вещицы. И, насчитав до кругленькой суммы – сто рублей, тихонько улыбнулся, вышел из комнаты и, закрыв дверь на ключ, пошел на улицу.

Он шел по улице и радостно смеялся. Солнце, несмотря на осень и несмотря на свои все растущие пятна, обжигало его всем своим стремительным пылом. Ветра никакого не было.

7

Вечером, в тот же день, Сергей Петрович встретился со своей дамочкой.

Она пришла несколько позже его. Он, волнуясь и подыскивая приличные слова, взял ее руки и тут же, на углу, стал объяснять причины вчерашнего отсутствия.

Да, он ни на минуту не мог уйти. Его родная тетка предпочитала помирать на его руках.

Он в сильных красках описывал теткину смерть. Засим перешел на описание оставленного имущества.

Девушка мило моргала ресницами и, добродушно усмехаясь, говорила, что вчера, действительно, она сильно разобиделась, но сегодня не высказывает никаких претензий.

Они, мило обнявшись, сидели в зрительном зале. И под стрекот аппарата Сергей Петрович шептал ей всякие порядочные слова о своих чувствах и намерениях. Девушка благодарно пожимала ему руку и говорила, что он с первого взгляда ей приглянулся своей внешностью.

После кино Сергей Петрович со своей мамзелью долго шлифовал тротуары. А немного попозже она посетила его скромное жилище.

В половине двенадцатого ночи Сергей Петрович выпускал ее от себя. Это видел гражданский инвалид Жуков. Он в это время искал свою кошку на лестнице и слышал, как Сергей Петрович сказал: «В крайнем случае можно и записаться». Через две недели они записались.

А через полгода Сергей Петрович с молодой своей супругой выиграли пятьдесят рублей по Крестьянскому займу, доставшемуся им от бывшей тетки. Радости их не было границ.

## Сирень цветет

### 1

Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами.

Конечно, об чем говорить – персонажи, действительно, взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие, незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно и решительно нету.

Это раньше можно было упрекать автора, если и не за клевету, то за некоторый, что ли, излишек меланхолии и за желание видеть разные темные и грубые стороны в природе и людях. Это раньше, действительно, автор горячо заблуждался в некоторых основных вопросах и доходил до форменного мракобесия.

Еще какие-нибудь два года назад автору и то не нравилось и это. Все он подвергал самой отчаянной критике и разрушительной фантазии. Теперь, конечно, неловко сознаться перед лицом читателя, но автор в своих воззрениях докатился до того, что начал обижаться на непрочность и недолговечность человеческого организма и на то, что человек, например, состоит главным образом из воды, из влаги.

– Да что это, помилуйте, гриб или ягода! – восклицал автор. – Ну зачем же столько воды? Это ну прямо оскорбительно знать, из чего человек состоит. Вода, труха, глина и еще что-то такое в высшей степени посредственное. Уголь, кажется. И вдобавок в этом прахе еще чуть что микробы заводятся. Ну что это такое! – восклицал в те годы автор не без огорчения.

Даже в таком святом деле – во внешнем человеческом облике – автор и то стал видеть только грубое и нехорошее.

– Только что мы привыкли к человеку, – бывало, говорил автор своим близким родственникам, – а если чуть отвлечься или, к примеру, не видеть человека пять-шесть лет, то прямо удивиться можно, какое безобразие наблюдается в нашей наружности. Ну рот – какая-то небрежная дыра в морде. Оттуда зубы веером выступают. Уши с боков висят. Нос – какая-то загогулина, то есть как нарочно посреди самой морды. Ну некрасиво! Неинтересно глядеть.

Вот, примерно, до таких глупых и вредных для здоровья идей доходил автор, находясь в те годы в черной меланхолии. Даже такую несомненную и фундаментальную вещь, как ум, автор и то подвергал самой отчаянной критике.

– Ну ум, – говорил автор, – предположим. Действительно, спору нет, много чего любопытного и занимательного изобрели люди благодаря уму: микроскоп, бритва «Жиллет», фотография и так далее, и так далее. Но чтоб, значит, такое изобрести, чтоб каждому человеку жилось бы совершенно припеваючи, – этого еще окончательно нету. А столетия, промежду прочим, идут, века идут. Солнце уж пятнами стало покрываться. Остывает, видите ли. Год-то у нас, скажем, одна тысяча девятьсот двадцать девятый. Эвон сколько времени уже промигали.

Вот, примерно такие недостойные мысли мелькали у автора.

Но эти мысли мелькали, без сомнения, по случаю болезни автора.

Его острая меланхолия и раздражение к людям доводили его форменно до ручки, заслоняли горизонты и закрывали глаза на многие прекрасные вещи и на то, что у нас сейчас кругом происходит.

И теперь автор бесконечно рад и доволен, что ему не пришлось писать повести в эти два или три прискорбные года. Иначе большой позор лег бы на его плечи. Вот это был бы действительно злостный поклеп, это была бы действительно грубая и хамская клевета на мировое устройство и человеческий распорядок.

Но теперь вся эта меланхолия прошла, и автор снова видит своими глазами все, как оно есть.

Причем, хвораая, автор отнюдь не отрывался от масс. Напротив того, он живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает события не с планеты Марс, а с нашей уважаемой Земли, с нашего Восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой живет автор и в которой он, так сказать, воочию видит людей, без всяких прикрас, нарядов и драпировок.

И по роду такой жизни автор замечает, что к чему и почему. И сейчас упрекать автора в клевете и в оскорблении людей словами просто не приходится. Тем более, автор последнее время особенно горячо полюбил людей со всеми ихними пороками, недостатками и прочими вышеуказанными особенностями.

Конечно, другие интеллигенты, действительно, верно, иной раз произносят разные слова. И, дескать, люди определенно еще дрянь. И, дескать, их надо еще подровнять, привести в порядок. Надо из них вытряхнуть всякие грубые элементы. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Остановка, так сказать, за небольшим. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, мещанство, канцелярская волокита, чубаровщина и так далее. Но все остальное, пока что, более или менее стоит на месте и не мешает постепенному улучшению жизни.

И если б автора спросили:

– Чего ты хочешь? Чего бы ты хотел, например, в ударном порядке изменить в своих близких людях, кроме этих вышеуказанных недостатков?

Автор затруднился бы сразу ответить.

Нет, кроме этого он ничего не хочет изменять. Так, разве самую малость. В смысле, что ли, корысти. В смысле повседневной грубости материального расчета.

Ну, чтобы люди в гости стали ходить, что ли, так, для приятного душевного общения, не имея при этом никаких задних мыслей и расчетов. Конечно, все это блажь, пустая фантазия, и автор, вероятно, с жиру бесится. Но такая уж сентиментальная у него натура – ему желательно, чтоб фиалки прямо на тротуарах росли.

## 2

Конечно, все, что сейчас говорилось, может, и не имеет прямого отношения к нашему художественному произведению, но уж очень, знаете, все это наболевшие, актуальные вопросы. И такой уж каторжный характер у автора – покуда он не выскажется перед читателем, – прямо, знаете ли, не до повестушки.

Хотя как раз в данном случае эти слова отчасти все же имеют некоторое отношение к нашей повести. Тем более, мы беседовали тут про разные корыстные расчеты. И в повести как раз выведен такой герой, который столкнулся лицом к лицу с такими же обстоятельствами и прямо рот раскрыл, утомленный целым вихрем событий, которые разыгрались на этой почве.

В молодые, прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон. Он просто не замечал этого. Не на то глядели

его глаза. Его глаза глядели на разные веселые вещицы, на разные красивые предметы и переживания. И на то, как цветки растут и бутончики распускаются, и как облака плавают, и как люди друг дружку взаимно горячо любят.

А как все это происходит, и что чем движется и чем толкается, автор не видел по молодости лет, по глупости характера и по наивности своего зрения.

А после, конечно, стал себе автор приглядываться. И вдруг видит разные вещи.

Вот он видит – седовласый человек жмет другому ручку, и в глаза ему глядит, и слова произносит. Вот раньше поглядел бы на это автор – душевно бы порадовался. «Эвон, – подумал бы, – какие все милые, особенные, до чего любят друг друга и до чего жизнь прелестно складывается».

Ну, а сейчас не доверяет автор галлюцинации своего зрения. Автора гложут сомнения. Он беспокоится – а может, это седовласая борода руку жмет и в глаза глядит, чтоб поправить пошатнувшееся свое служебное положение или чтоб занять кафедру и читать с этой кафедры лекции о красоте и искусстве.

Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околеваает. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Но вот после инженера освободили – никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завертелось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивлением.

Ну, что? Может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто, ну пустяки получаются.

Но автор не поддается унынию. Тем более иногда, раз в пять лет, он и встречается чудаков, которые резко отличаются от всех прочих граждан.

Но все это есть теоретическое размышление, а то, что автор хочет рассказать, есть подлинная история, взятая из самого источника жизни.

Но прежде чем приступить к описанию событий, автор хочет поделиться еще некоторыми сомнениями.

Дело в том, что по ходу сюжета в повести имеются две-три дамы, которые выведены не так чтоб слишком симпатично.

Автор не жалел на них никаких красок и старался придать им свеженький актуальный вид, тем не менее не получилось того, что хотелось бы. И по этой причине женские фигуры получились одна другой хуже.

И многие, в особенности читательницы, могут вполне оскорбиться за эти женские типы и постараются уличить автора в нехорошем подходе к женщинам и в нежелании, чтоб женщины сравнивались в своих законных правах с мужчинами. Тем более, что некоторые знакомые женщины уже обижаются: да уж, – говорят, – у вас всегда дамские типы малосимпатичные.

Но автор горячо просит за это его не бранить. Автор и сам диву дается, чего это у него из-под пера такие малоинтересные дамочки определяются.

И это тем более странно, что автор, может, всю жизнь видел, главным образом, только довольно хороших, добродушных и не злых дам.

И вообще на этот вопрос автор так глядит, что женщины, пожалуй, даже лучше, нежели мужчины. Что ли они как-то сердечней, мягче, отзывчивей и приятней.

И в силу таких взглядов автор никогда не позволит себе оскорблять женщину. А если в повести другой раз и получаются неясности по этому вопросу, то это просто недоразумение, и автор умоляет на это не обращать внимания и тем более не расстраиваться по пустякам.

Для автора безусловно все равны.

Другое дело, если взять, любопытства и смеха ради, мир животных.

Там бывает разница. Там даже птицы имеют свою разницу. Там самец всегда как-то несколько дороже стоит, чем самка.

Там, для примеру, чирик стоит два целковых по теперешней калькуляции, а чирика в том же магазине – копеек пятьдесят, сорок, а то и двугривенный. А по виду птички – как две капли воды. То есть буквально не разобрать, которая что, которая ничего.

И вот сели эти птички в клетку. Они зернышки жуют, водичку пьют, на палочках прыгают и так далее. Но вот чирик перестал водичку пить. Он сел поплотней, устремил свой птичий взор в высоту и запел.

И за это такая дороговизна. За это гони монету.

За пение и за исполнение.

Но что в птичьем мире прилично, то среди людей не полагается. И дамы у нас в одной цене находятся, как и мужчины. Тем более, у нас и дамы поют, и мужчины поют. Так что все вопросы и все сомнения в этом отпадают.

А кроме того, в нашей повести все грубые нападки на женщину и подозрения относительно ее корысти идут со стороны нашего самого главного героя – человека определенно мнительного и больного. Бывшего прапорщика царской армии, к тому же слегка контуженного в голову и потрепанного революцией. В девятнадцатом году он в камышах сколько раз ночевал – боялся, что его коммунисты арестуют, схватят и разменяют.

И эти все страхи печальным образом отразились на его характере.

И в двадцатых годах он был нервный и раздражительный субъект. У него тряслись руки.

И даже стакана он не мог поставить на стол, не кокнув его своей дрожащей ручкой.

Тем не менее, в житейской борьбе руки его не дрожали.

По этой самой причине он не погиб, а с честью выжил.

### 3

Безусловно, человеку не так-то легко погибнуть. То есть автор думает, что не так-то просто человек может с голоду помереть, находясь даже в самых крайних условиях. И если есть некоторая сознательность, если есть руки и ноги и башка на плечах, то, безусловно, как-нибудь можно расстараться и найти себе пропитание, хотя бы, в крайнем случае, милостыней.

Но тут до милостыни не дошло, хотя у Володиного и было довольно пиковое положение в первые годы революции.

Тем более, он много лет провел на военном фронте, совершенно, так сказать, оторвался от жизни, ничего такого особенно полезного делать не умел, кроме стрельбы в цель и по людям. Так что он еще не понимал – какое найти себе применение.

И конечно, родственников у него не было. И квартиры у него не имелось. Буквально ничего.

Была у него одна мамаша, и та в военные годы скончалась. Квартирка ее, по случаю смерти, перешла в другие быстрые руки. И остался наш бывший военный гражданин по приезде совершенно не у дел и, как бы сказать, без портфеля. Тем более, революция выбила его из седла, и он остался, так сказать, в стороне и даже как бы лишний и вредный элемент.

Однако он не допустил слишком большой паники в этот ответственный момент своей жизни. Он поглядел своими ясными очами, что к чему и почему. Видит – расположен город. Он окинул город своим орлиным взором и видит – идет вращение жизни тем же почти мане-



ром, как и всегда. По улицам народ ходит. Граждане спешат туда и сюда. Девушки ходят с зонтиками.

Он поглядел, что к чему и что чем движется и толкается. И видит, что революция хотя и многое изменила, но не настолько, чтоб поддаться панике.

«Что ж, — думает, — кидаться в озеро не приходится, а надо без сомнения в ударном порядке что-нибудь придумать. Можно, в крайнем случае, дрова грузить, или какую-нибудь хрупкую мебель перевозить, или, для примера, мелкой торговлишкой заниматься. Или же, наконец, можно жениться не без выгоды».

И вот от этих мыслей он даже повеселел.

«То есть особой выгоды, — думает, — в этом последнем случае сейчас, конечно, не найти, но, скажем, помещение, отопление и себе пища — это, безусловно, можно».

И, конечно, не такой он отпетый человек, чтобы дама его содержала, но подать первую помощь в минуту жизни трудную — это не порок.

Тем более он был молодой и не старей. Ему было тридцать с небольшим лет.

И хотя его центральная нервная система была довольно потрепана бурями и житейскими тревожностями, однако он был мужчина еще ничего себе. Причем, у него была выгодная и приятная наружность. И хотя он был блондин, но блондин все-таки довольно мужественного вида.

К тому же он носил на щеках небольшие итальянские бачки. И от этого его лицо еще более выигрывало и давало что-то демоническое и смелое, что заставляло женщин вздрагивать всем корпусом, опускать глаза долу и быстро одергивать свои юбки на коленях.

Вот какие блага и преимущества имел он, когда начал завоевывать свою жизнь.

Он приехал после военной службы в город и временно поселился в проходной комнате у своего знакомого фотографа Патрикеева, который пустил его, хотя и по доброте сердечной, однако рассчитывал снять кое-какие пенки с этого дела. Он записал на него часть квартирной площади и, кроме того, ожидал, что Володин иной раз, из чувства живейшей благодарности, будет принимать посетителей — будет открывать им двери и записывать ихние фамилии. Однако Володин не подтвердил этих хозяйственных надежд — он мотался целые дни напролет невесть где и даже сам в ночное время иной раз трезвонил и тем самым вносил в дом полное беспокойство и дезорганизацию.

Фотограф Патрикеев очень от этих дел грустил и расстраивал свое здоровье, и даже, иной раз, вскакивая ночью в кальсонах, ужасно как ругался, называя его прохвостом, золотопогонником и бывшим беспорточным барином.

Однако Володин, не более как через полгода, начал все-таки приносить явную выгоду своему патрону. Правда, под конец, когда он уже съехал с его квартиры и благополучно женился.

Дело в том, что еще в мелком своем возрасте он имел некоторую склонность и любовь к художественному рисованию. И, будучи абсолютно крошкой, он любил марать карандашом и красками разные картинки и рисуночки.

И в настоящее время это художественное дарование ему неожиданно пригодились.

Сначала шутя, а после более серьезно он стал помогать фотографу Патрикееву, ретушируя ему снимки и пластинки.

Разные приходящие барышни обязательно требовали прилично заснятого лица, без складок, морщин, угрей и прочих досадных особенностей, которые, к сожалению, имелись в натуральном человеческом виде.

Эти угри и бутоны Володин зарисовывал карандашом, ловко кладя тени и просветы на заснятые личности.

В короткое время Володин сделал в этой области изрядный успех и даже стал подрабатывать себе деньги, сердечно радуясь такому обороту дела.

4

И, научившись этому хитрому искусству, он понял, что занял в жизни определенную позицию и что с этой позиции его выбить довольно затруднительно и даже почти что невозможно. Ибо для этого потребуется уничтожение всех фотографий, категорическое запрещение жителям сниматься на карточку или же полное отсутствие фотографической бумаги на рынке.

Но, к сожалению, жизнь обернулась так выгодно только после того, как Володин сделал решительный шаг – он женился на одной гражданке, никак еще не предполагая, что его искусство даст полную возможность стать на ноги самостоятельно.

И, живя у фотографа и не имея пока никаких особых перспектив, он, естественным образом, кидал взоры на окружающих людей, и в особенности, конечно, на дам и на женщин, которые могли бы подать ему руку помощи, дружбы и участия.

И такая дама нашлась и откликнулась на призыв гибнущего человека.

Это была жилища из соседнего дома, Маргарита Васильевна Гопкис.

Она занимала целую квартиру, проживая там совместно со своей младшей сестрицей Лелей, которая, в свою очередь, была замужем за братом милосердия товарищем Сыпуновым.

Эти две сестрицы были довольно еще молоденькие, и занимались они пошивкой рубашек, кальсон и прочих гражданских предметов.

Они этим занимались в силу необходимости. И не на такую ничтожную судьбу они рассчитывали, заканчивая до революции свое высшее образование в женской гимназии.

Получив такое приличное образование, они, естественно, мечтали зажить достойным образом, выйдя замуж за исключительных мужчин или за профессоров, которые окружили бы ихнюю жизнь роскошью, баловством и красивыми привычками.

Но жизнь, между тем, проходила. Бурные годы нэпа и революции не позволяли подолгу осматриваться и кидать якорь в том месте, в котором желательно.

И вот младшая сестрица Леля, погоревав о превратностях судьбы, выходит поскорее замуж за Сыпунова, совершенно грубого, небритого субъекта – брата милосердия, вернее, санитаря из городской больницы.

А старшая сестрица, Маргариточка, вздыхая о невозможном, прогоревала все сроки и к тридцати годам, спохватившись, начала метаться туда и назад, желая заполучить в мужья хотя бы какого-нибудь завалывшегося человечка.

И вот как раз в ее расставленные сети попадает наш приятель Володин.

Он давно мечтал о более подходящей жизни, о некотором семейном уюте, о непроходной комнате, о кипящем самоваре и о всех таких житейских вещичках, которые, безусловно, украшают жизнь и дают тихую прелесть мелкобуржуазного существования.

И вот тут имелось все это налицо плюс прочное положение и самостоятельный заработок, что было как бы приданым и несомненно оживляло сделку, придавая ей определенный живой интерес.

Конечно, будь это знакомство позже, Володин, имея свои заработки, не пошел бы так стремительно на этот шаг. Тем более, ему совершенно не нравилась Маргарита Гопкис с ее тусклым, однообразным лицом.

Володину нравились и влекли девицы другого порядка – такие с темненькими усиками на верхней губе. Очень такие веселые, бравурные, быстрые в своих движениях, умеющие танцевать, плавать, нырять и болтать всякую чепуху. А его Маргариточка была, благодаря профессии, малоподвижная и слишком скромная в своих движениях и действиях.

Но жребий был брошен, и пружина разворачивалась без остановки.

И, проходя теперь мимо соседнего дома, Володин всякий раз останавливался подле ее окон и подолгу разговаривал, беседуя о том, о сем. И, стоя перед ней в профиль или в три

четверти и теребя бачки, Володин говорил разные иносказательные вещи о приличной жизни и о хорошей судьбе. И из разговоров с ней он определенно понял, что комната в ее квартире к его услугам, если, конечно, он не остановится на своих намеках.

И он, быстро обмозговав все дело и оглядев более внимательным и требовательным взором свою даму, с победным криком ринулся в бой.

Так состоялся этот знаменитый брак.

И Володин перебрался в квартиру Гопкис, внеся туда, в общий котел, свою скромную одинокую подушку и другой жидковатый скарб.

Фотограф Патрикеев провожал Володина, тряс ему руку и советовал не кидать только что начатого познания в ретушерском деле.

Маргарита Гопкис с досадой махала руками, говоря, что навряд ли Володину понадобится такое кропотливое занятие.

Итак, Володин вошел в новую жизнь, считая, что произошла довольно выгодная комбинация, построенная на точном и правильном расчете.

И он бодро потирал свои руки и мысленно хлопал себя по плечу, говоря:

– Ничего, брат Володин, жизнь и тебе, кажись, начинает улыбаться.

Но это была улыбка не так чтобы слишком веселая.

## 5

Слов нет, жизнь нашего Володина переменялась к лучшему. Из проходной, неуютной комнаты он переехал в дивную спальню с разными этажерками, подушками и статуэтками.

Кроме того, питаясь раньше плохо и скромно всякими огрызками и требухой, он и тут остался в крупном выигрыше. Он кушал теперь разные порядочные блюда – супы, мясо, фрикадельки, помидоры и так далее. Кроме того, раз в неделю, вместе со всей семьей, он пил какао, удивляясь и восторгаясь этому жирному напитку, вкус которого он позабыл за восемь-девять лет своей походной и неуютной жизни. Однако Володин не был на содержании у своей законной жены.

Не переставая работать на поприще фотографии, он сделал крупные успехи и стал получать за свою работу не только благодарность, но и, так сказать, живые деньги.

Хорошая свежая пища позволяла Володину с особенным вдохновением кидаться на работу. И, не имея особого счастья со своей молодой супругой, он уходил в силу этого в работу. И эту работу исполнял до того тонко и художественно, что все снятые физиономии выходили у него теперь совершенно ангельскими, и ихние живые владельцы искренно удивлялись такой счастливой неожиданности и снимались все более и более охотно, не жалея никаких денег и засылая, кроме того, в фотографию все новых и новых клиентов.

Фотограф Патрикеев чрезвычайно дорожил теперь своим работником и делал ему надбавку всякий раз, когда клиенты особенно восторгались художественным исполнением.

Вот тут Володин и почувствовал под ногами почву и понял, что теперь его немислимо согнать с занятой позиции.

И он начал полнеть, округляться и приобретать спокойно-независимый вид. Его не стало развозить, а просто его организм начал мудро запасаться жирами и витаминами на черный день и на всякий случай.

Конечно, особого спокойствия и довольствия Володин не имел.

Покушав вволю и побеседовав с женой на хозяйственные темы и заказав ей обед на завтра, он оставался в печальном одиночестве, искренне горя, что у него нету особой нежной привязанности к молодой супруге, той привязанности, которая достойно украшает жизнь и делает всякую обыденную собачью ерунду – событием и красивой подробностью счастливой

жизни. И, имея такие мысли, Володин надевал свою шляпу и выходил на улицу, конечно, предварительно побрившись, попудрив свой элегантный нос и подровняв свои итальянские бачки.

Он шел по улицам и посматривал на проходящих женщин, живо интересуясь, какие они, как они ходят и какие у них лица и мордочки. Он останавливался, смотрел вслед и насвистывал какой-нибудь особенный мотивчик. Так незаметно проходило время. Проходили дни, недели, месяцы. Так незаметно прошло три года. Молодая супруга, Маргарита Гопкис, буквально не могла налюбоваться на своего выдающегося супруга.

Она работала все равно, как слон, буквально не разгибая спины, желая предоставить своему хозяину наибольшие выгоды. Она, желая скрасить его существование, покупала всякие приличные и забавные мелочишки, красивые подтяжки, ремешки для часов и прочие вещицы семейного обихода. Но он глядел хмуро и скупно подставлял свои щеки под обильные поцелуи своей сожительницы. Иногда он просто грубо огрызался и отгонял ее, как назойливую муху.

Он начал ясно и открыто грустить, задумываться и проклинать свою жизнь.

– Нет, не удалась жизнь, – бормотал наш Володин, стараясь понять, какую ошибку он сделал в своей жизни и в своих планах.

## 6

Но вот весной, если не изменяет нам память, 1925 года произошли крупные события в жизни нашего друга, Николая Петровича Володина. Ухаживая за одной довольно миленькой девушкой, он горячо влюбился, или, скажем более проще, – втюрился в нее и даже стал подумывать о коренной перемене своей жизни. Имея теперь приличный заработок, он уже мог думать о новой, более счастливой жизни.

Все ему было мило и прелестно в этой молодой девице. Она, одним словом, вполне отвечала его духовным запросам, имея именно такую внешность, о которой он мечтал всю свою жизнь. Она была худенькая поэтическая особа с темными волосами и с блестящими, как звезды, глазами. Ее небольшие крошечные усики особенно приводили в восторг Володина и заставляли его более серьезно обдумывать создавшееся положение.

Но разные семейные подробности и предчувствия громких скандалов и, пожалуй, даже мордобоя заставляли его холодеть и отгонять решительные мысли прочь.

Он стал на всякий случай несколько даже приветливей со своей супругой и, уходя из дому, вкручивал ей что-то относительно своих знакомых друзей, к которым он спешит, и, похлопывая ее по спине, говорил ей разные приветливые и неоскорбительные слова.

И мадам Володина, понимая, что происходит что-то такое исключительное по своей важности, хлопала глазами и не знала, как ей вести себя – то ли ей кричать и скандалить, то ли несколько обождать, собрав предварительно обличительный материал и улики.

Володин уходил из дому и, встречаясь со своей малюткой, вел ее торжественно по улицам, полный остроумных фраз, вдохновения и бурной, кипящей жизни.

Девица висла на его ручке, щебеча про свои невинные мелкие делишки и про то, что многие женатые кавалеры вообще стремятся к разным несбыточным фантазиям, но что она, несмотря на теперешнюю полную распущенность, глядит все же совершенно иначе. И только серьезные обстоятельства могут склонить ее к более определенным фактам. Или уж, конечно, слишком сильная любовь сможет тоже, пожалуй, поколебать ее принципы. Чувствуя в этих словах любовное признание, Володин особенно энергично волок свою даму, бормоча разные безответственные мысли и пожелания.

Они уходили по вечерам на озеро и там, на высоком берегу, на скамейке, а то и просто на траве под сиренью сидели, нежно обнявшись, переживая каждую секунду свое счастье.

Был май месяц, и это дивное время года особенно вдохновляло их своей красотой, свежими красками и легким, упоительным воздухом.

Автор, к сожалению, не имеет крупного поэтического дарования, и он не в силах с легкостью владеть поэтическим лексиконом. Автор искренно горюет, что у него мало способностей к художественному описанию и вообще к художественной прозе.

Иначе величественные картины создал бы автор, описывая эти свежие чувства двух влюбленных сердец на чудном фоне весеннего пейзажа, наших природных богатств и душистой сирени.

Автор признается, что он не раз пробовал проникать в секрет художественного описания, в тот секрет, которым с такой завидной легкостью владеют наши современные гиганты литературы.

Однако бледность слов и нерешительность мыслей не позволяли автору слишком углубляться в девственные дебри русской художественной прозы.

Описывая волшебные картины свидания наших друзей, полные поэтической грусти и трепета, автор все же не может побороть в себе искушение окунуться в запретные и сладкие воды художественного мастерства.

И несколько строк описания ночной панорамы автор с любовью посвящает нашим влюбленным.

Только пущай опытные литераторы-художники не будут слишком строги в оценке этих скромных упражнений. Это нелегкое занятие. Это тяжелый труд.

Однако автор все же попробует окунуться в высокую художественную литературу.

Море булькотело... Вдруг кругом чего-то закурчавилось, затыркало, заколюжило. Это молодой человек рассупонил свои плечи и засупонил руку в боковой карман.

В мире была скамейка. И вдруг в мир неожиданно вошла папироска. Это закурил молодой человек, любовно взглянув на девушку.

Море булькотело... Трава немолчно шебуршала. Суглинки и супеси дивно осыпались под ногами влюбленных.

Девушка шамливо и раскосо капоркнула, крюкая сирень<sup>1</sup>. Кругом опять чего-то художественно заколюжило, затыркало, закурчавилось. И спектральный анализ озарил вдруг своим дивным несказанным блеском холмистую местность...

А ну его к черту! Не выходит. Автор имеет мужество сознаться, что у него нету дарования к так называемой художественной литературе. Кому что дано. Одному господь бог дал простой грубоватый язык, а у другого язык способен каждую минуту проделывать всякие тонкие художественные ритуальники.

Но автор и не задается на крупное мастерство и снова со своим суконным языком приступает к описанию событий.

Одним словом, не вдаваясь в искусство речи, скажем, что наши влюбленные сидели над озером и вели длинные и нескончаемые любовные беседы, время от времени вздыхая и молча слушая, как булькотело море и шебуршала растительность.

Автор очень всегда удивляется, когда люди говорят о предметах, не задумываясь об их сущности и причинах.

Многие наши видные литераторы и даже крепкие сатирики обычно с легкостью пишут такие, например, слова: «Влюбленные вздыхали».

А почему вздыхали? Отчего они вздыхали? По какой причине влюбленные имеют такую определенную привычку вздыхать?

Объясни, растолкуй неискушенному читателю, если ты носишь звание писателя. Так этого нет. Сказал, и до свиданья – отошел к другому предмету с преступной небрежностью.

Автор попробует встрять и в это не его дело. По популярному описанию одного германского зубного врача, вздох есть не что иное, как задержка. То есть он говорит, в вашем орга-

---

<sup>1</sup> Девушка шаловливо и весело улыбнулась, нюхая сирень.

низме происходит, – говорит, – такое, как бы сказать, торможение, задержка каких-то сил, которым мешают пойти по ихнему прямому пути и назначению, и вот происходит вздох.

Человек вздохнул – значит, человеку мешают выполнить его желания. И раньше, когда любовь не была слишком доступна, влюбленным приходилось престоко вздыхать. Но, впрочем, и теперь это иногда случается.

Так просто и славно происходит течение нашей жизни и так ведется скромная, незаметная, героическая работа нашего организма.

Но автору все это не мешает с любовью относиться ко многим превосходным вещам и желаниям.

Итак, наша молодая парочка беседовала и вздыхала. Но уже в июне месяце, когда над озером зацвела сирень, – они вздыхали все реже и реже и, наконец, совершенно перестали вздыхать и сидели на скамье, склонившись друг к другу, счастливые и упоенные.

Море булькотело. Суглинки и супеси...

А ну его к черту...

В одну из таких славных сердечных встреч, когда Володин сидел с барышней и говорил ей разные поэтические сравнения и рифмы, он обмолвился довольно красивой фразой, которую, без всякого сомнения, он спер откуда-нибудь из хрестоматии, хоть и уверял в противном.

Однако навряд ли он мог бы так сформулировать такую причудливую и поэтическую фразу, достойную разве пера крупного мастера прежней формации.

Наклонившись к барышне и одновременно нюхая с ней ветку сирени, он сказал: «Сирень цветет неделю и отцветает. Так и ваша любовь».

Барышня замерла в совершенном восторге, требуя повторить еще и еще раз эти дивные музыкальные слова.

И он повторял целый вечер, читая в промежутках стихи Пушкина – «Птичка прыгает на ветке», Блока и других ответственных поэтов.

## 7

Вернувшись после этого возвышенного вечера домой, Володин был встречен дикими криками, воплями, грубыми словами.

Вся семья Гопкис, совместно с пресловутым братом милосердия Сыпуновым, накинута на Володина и честила его почем зря, называя его жуликом, прохвостом и бабником.

Брат милосердия Сыпунов ходил буквально колесом по квартире, крича, что если женщина слабая, так он вместо нее очень свободно может проломить голову, если понадобится и если такая неблагодарная тварь, как Володин, будет мотаться по ночам, задеря хвост, и будет разрушать семейную слаженную идиллию.

Сама Маргарита, чувствуя неминуемую беду, пронзительно, как свисток, орала и сквозь свист и стенания кричала, что такую бесчувственную и безобразную скотину надо было бы попросту выгнать и что только любовь, а главное, затраченная молодость удерживает ее от такого поступка.

Володина особенно неприятно поразило, что ревела младшая сестрица, Леля, которая, казалось, никакой корысти от него не имела. И своим ревом она только создавала тревожную атмосферу и увеличивала беду до большого семейного скандала.

Эта грубая и некультурная сценка убивала в Володине все возвышенные мысли. Вернувшись домой полный самых глубоких элегантных переживаний, благородных чувств и запаха сирени, он хватался теперь за голову и мысленно проклинал свой опрометчивый шаг в смысле женитьбы на этой оголтелой бабе, которая теперь губит его молодость. И, не повышая голоса, в ответ на скандалы и крики он, послав к черту всю семью, заперся в своей комнате. И наутро, чуть свет, тихо сложив свои вещицы и гардероб, приготовился к отбытию.

И когда брат милосердия ушел на службу, Володин, забрав свои узлы, покинул квартиру, несмотря на стенания и поминутные истерические и обморочные припадки своей дражайшей половины.

Он ушел к своему фотографу, который встретил его с распростертыми объятиями и с неподдельной радостью, предполагая, что Володин начнет ему теперь ретушировать если не даром, то на более экономных основаниях.

Взволнованный собственным своим поступком, Володин наобещал разных дружеских и даровых услуг, не задумываясь о своих словах. Он горел одним желанием поскорей увидеть свою малютку, чтобы поделиться с ней новым и счастливым оборотом дела.

И в два часа дня он встретился с ней, как всегда, у озера, у часовенки.

И, схватив свою крошку за руки, он стал взволнованно рассказывать ей, украшая свой поступок героическими подробностями и мелочами. Да, он ушел из дому, порвав ненавистные цепи и набив морду брату милосердия.

Барышня была до чрезвычайности обрадована таким сообщением. Она говорила, что вот, наконец-то, он свободный гражданин и наконец-то он сможет назвать свою рыбку фактической женой.

И как все будет очаровательно, когда они заживут вместе, в одной квартире, под одной кровлей – он – работая, как слон, не покладая рук, она – в хлопотах по хозяйству, за шитьем, за уборкой мусора и так далее и тому подобное.

Володина неприятно вдруг поразило такое слишком нескрываемое желание заполучить его в мужья и оседлать его, сделав добытчиком до конца дней.

Он несколько хмуро поглядел на барышню и стал говорить, что все это очень мило, однако еще требуется всесторонне рассмотреть все вопросы, так как он не привык, чтобы любимый человек подвергался лишениям и бедности.

Собственно говоря, это он сказал просто так, желая одернуть барышню в ее материальных расчетах и перевести ее на более возвышенный лад. Ему показалось оскорбительным, что барышня может рассматривать его именно с этой практической корыстной стороны.

И, в одно мгновение вспомнив свой брак и свои расчетливые построения, Володин стал испытующе глядеть на девицу, желая проникнуть в ее мысли и в ее сердце, чтоб узнать, нет ли у нее таких же мыслей, какие в свое время были у него.

И Володину показалось, что в глазах девицы горели алчный расчет, выгода и желание поскорей устроить свою судьбу.

– И потом я просто не имею денег, чтобы сейчас жениться, – сказал он. И вдруг, мгновенно обдумав план действия, он решил выдать себя за бедняка и безработного.

– Да, – повторил он уже более твердо и даже, как бы сказать, торжественно, – я не имею денег, у меня нету денег, и я, к сожалению, не могу обеспечить вас своей работой и своими недостатками.

Это было, конечно, неправда, он жил хорошо и работа у него была, но ему захотелось услышать из уст девушки прелестные и бескорыстные слова – мол, ну как-нибудь, что за счеты, и так далее, и зачем, мол, деньги, когда на сердце такое чувство.

А Оленька Сисяева, как назло, пораженная не столько уверениями, сколько его тоном, зашмыгала носиком и забормотала какие-то несложные слова, которые можно было, скорее всего, принять за досаду и сорвавшиеся мечты.

– Как же, – молвила она наконец, – давеча вы говорили как раз совершенно другие вещи и, напротив того, рисовали разные планы, а сейчас выходит другое. Ну, как же это так?

– А очень просто, – грубо сказал он, – у меня, знаете, уважаемый товарищ, не государственное учреждение, у меня, знаете, положение слишком шаткое и одинокое. И, может, в настоящее время у меня почти что нету работы. Я почти что нуждаюсь в работе. И в дальней-

шем сам не знаю, как и чем я буду сводить концы с концами. Возможно даже, что мне придется босиком ходить по дорогам и просить себе пропитание, уважаемый товарищ.

Барышня глядела на него выпуклыми стеклянными глазами, туго соображая, что происходит.

А он нес околесицу и закидывал свою даму картинками бедности, неуютности и предстоящей нужды.

После, перед прощанием, они оба старались смягчить эту небольшую грубую сценку и, гуляя минут десять, беседовали о самых посторонних и даже поэтических вещах. Однако беседа у них не клеилась. И они расстались, она – удивленная и непонимающая, а он – все более и более уверенный в ее тонких расчетах и соображениях.

И, вернувшись в свою пустую проходную комнату, Володин лег на диван и старался разобратся в чувствах и пожеланиях барышни. «Ловко сработано, – думал он, – поддела карася! Небось, удивилась, когда про бедность услышала».

Нет, он еще поглядит, какая такая ее любовь. Может быть, просто расчет.

И, хотя у него не было точной и полной уверенности в ее расчетах, однако он думал так, желая поскорей услышать ее слова и уверения в обратном. Настоящая любовь не останавливается при виде бедности и нищеты. И если она его любит, она возьмет его за руку и скажет ему разные слова, – мол, об чем речь, об чем беспокойство? Ваша бедность не пугает меня, будем работать и к чему-нибудь стремиться.

Так раздумывая, он лежал в беспокойстве и нерешимости. Как вдруг на лестнице позвонили. Это звонил брат милосердия Сыпунов, который суровым тоном попросил его следовать за собой на нейтральное место, во двор, чтобы там, на свободе, побеседовать о происшедших делах и поступках.

Беспокоясь и не смея отказаться, Володин надел шляпу и спустился во двор.

Там уже стояла вся семья, оживленно беседуя и горячась.

Не теряя драгоценного времени и слов, брат милосердия Сыпунов подошел к Володину и ударил его булыжником, весом, вероятно, побольше фунта.

Володин не успел отдернуть голову, он только мотнулся в сторону и тем самым несколько ослабил удар. Булыжник, скользя по шляпе, слегка рассек ухо и кожу щеки.

Володин, закрыв руками лицо, бросился назад. И тотчас ему вдогонку полетело еще два-три камня, пущенных энергичной рукой защитника слабых женщин. Володин одним духом взмахнул по лестнице и поспешно закрыл за собой дверь.

Брат милосердия кинулся за ним и некоторое время, из хулиганских побуждений, бил ногами в дверь, приглашая Володина выйти и поговорить еще раз, но уже более спокойно и без мордобития.

Володин, зажав рукой раненое ухо, стоял за дверью, удерживая дыхание. Сердце его отчаянно колотилось. Испуг сковал ему ноги.

Брат милосердия, поколотив еще в дверь, сказал, что если так пойдет, то его, подлеца, схватят всей семьей и оболют серной кислотой. Если, конечно, он не одумается и не вернется к исполнению своих обязанностей.

Побитый и потрясенный, Володин лежал на диване, думая, что все рухнуло и все погибло.

Он не видел никакого утешения. Даже любовь была теперь под сомнением. Его чувство было обмануто и оскорблено грубым расчетом и соображением.

И, подумав об этом, Володин снова стал сомневаться, так ли это.

Ну, а если это не так, то он пойдет к ней и целиком убедится.

Да, он пойдет к ней и все скажет. Он скажет, что жизнь обостряется, что он с опасностью для своей жизни идет к намеченным идеалам, но зато она должна знать, окончательно и раз навсегда, что он ничего буквально не имеет. Он нищий, без куска хлеба и без всякой работы.



Хочет она – пушай на риск выходит замуж за такого. Не хочет – пожмем друг другу ручки и разойдемся, как в море корабли.

Он хотел было тотчас побежать к ней, чтоб доложить ей эти последние слова, но было уже поздно, и он, сняв окровавленный пиджак, промыл под краном свое разорванное ухо и, обвязав голову полотенцем, лег спать.

Он плохо спал, ворочался и громко мычал во сне, так что фотограф принужден был дважды окликать его, чтоб перебить ему мычание.

## 8

Брат милосердия Сыпунов – этот грубый и некультурный субъект – действительно припер откуда-то бутылку с серной кислотой.

Он поставил ее на окно и прочел обеим сестрицам краткую лекцию о пользе этой жидкости.

– Маленько плеснуть никогда не мешает, – говорил он сестрам, картинно изображая в лицах момент облития. – Особенно, конечно, глаза не надо вытравлять, но нос и другие предметы безусловно можно потревожить. Тем более, имея после того красную морду, пострадавший не будет слишком привлекательный господин, и девицы, без всякого сомнения, перестанут на него кидаться, и он тогда, как миленький, снова вернется в свое стойло. А суд, конечно, найдет разные обстоятельства и даст условное покаяние.

Маргарита Гопкис ахала, вздыхала и заламывала свои руки, говоря, что если это так нужно, то она предпочла бы плеснуть в лицо этой усатой черномазой бабенке, которая испортила ее счастье.

Однако, считая, что вернуть его обратно с неиспорченной личностью нету возможности, она снова, ахая, соглашалась, говоря, что надо бы слегка, из гуманных соображений, разбавить эту ядовитую жидкость.

Брат милосердия гремел своим голосом и стучал бутылкой о подоконник, говоря, что в крайнем случае, если на то пошло, можно, конечно, и двоих облить к чертовой матери, что оба они два весьма ему примелькались и беспокоят его характер. И что он еще бы и третьего кого-нибудь облил, хотя бы, для примера, ту же мать этой чернявой девчонки – зачем она настолько распускает свою дочку, позволяет трепаться с уже занятым человеком.

Что же касается до разбавления жидкости, то это ни к чему не приведет, так как химия есть точная наука и она требует определенный состав. И не с ихним образованием менять научные формулы.

Всю эту семейную сцену покрывала своим рыданием младшая сестрица Леля, которая предчувствовала новые крупные потрясения.

Автор спешит успокоить уважаемых читателей, что особо серьезного дела не вышло из этого. И все окончилось если и не совсем благополучно, то приблизительно. Но испуг был громадный. И много горя в связи с этим потрясением пришлось хлебнуть нашему другу Володину.

На другой день, побрившись и попудрив свое поврежденное ухо, Володин вышел на улицу, спеша к своей крошке.

Он шел по улице и бурно жестикулировал, беседуя вслух с самим собой.

Он придумывал всякие каверзные вопросы, которые он задаст ей и которые должны вскрыть подпольную и корыстную игру молодой девушки.

Она находится в бедности, она висит на своей мамаше, она желает устроить свою судьбу. Но она жестоко ошибается. Да, он, пусть она знает, ничего не имеет. Он весь тут. Вот один галстук и одни штаны. И к тому же он безработный, без всяких надежд на будущее. А его фотографическое дело ничего ему не дает. И, кроме непосильных расходов на карандаши и

резинки, он ничего не видит. И если он этим занимается, то исключительно из любезности и дружбы к фотографу Патрикееву, уступившему ему свой диван и комнату.

Так он ей скажет и посмотрит, в чем дело. Он шел торопливо, не замечая никого и ничего не слыша.

На углу у пустыря навстречу шла его бывшая супруга, Маргариточка Гопкис.

Увидав ее, Володин смертельно побледнел и, как зачарованный, не сводя с нее глаз, медленно пошел к ней.

На расстоянии трех шагов Маргарита, тихо что-то закричав, взмахнула рукой и, снизу вверх, плеснула в Володина кислотой.

Было большое расстояние, и пузырек был с узким горлышком, так что только несколько капель попало Володину на костюм.

Володин побежал в сторону, пронзительно визжа и хлопая себя ладонями по лицу, желая удостовериться, цела ли его физиономия.

И, уверившись в благополучном исходе, он снова повернулся и бросился на Маргариту Гопкис, которая, как тень, стояла подле забора. Володин схватил ее за горло и начал трясти, ударяя ее головой об забор, крича какие-то несвязные фразы.

Это все происходило на пустынной и глухой улице, по которой Володин имел обыкновение ходить на свидание к своей крошке.

Но, несмотря на это, народ стал подходить с других улиц, с любопытством всматриваясь, какое зрелище им предстоит увидеть.

Но зрелище подходило к концу. Беспокоясь, что его поволокут в часть, Володин перестал трясти свою мадам и быстро, не оглядываясь, пошел домой.

Он был потрясен и взволнован. Зубы его били барабанную дробь.

Почти бегом он вернулся домой и заперся в квартире. Конечно, он не мог теперь, в таком виде, пойти к своей крошке.

Его била лихорадка. Его ноги дрожали и зубы лязгали.

Володин лежал некоторое время на диване. Потом стал ходить по комнате, с испугом поглядывая в окно и прислушиваясь к шуму.

И он не выходил весь день, боясь, что брат милосердия прикончит его во дворе или сделает его калекой, переломав ему руки и ребра.

Он провел день в смертельной тоске, без всякой пищи. Он только пил воду в неимоверном количестве, охлаждая и заливая внутренний жар.

И целую ночь, не сомкнув глаз, он обдумывал создавшееся положение, стараясь найти какой-нибудь приличный и неоскорбительный выход. И такой выход он нашел, придя к мысли, что необходимо заключить перемирие с бывшей женой и ее ангелом-хранителем, товарищем Сыпуновым. Он не подаст на них в суд за покушение на убийство, а за это пусть они его не добивают до смерти.

Успокоившись на этом, он мысленно перекинулся на другой, не менее важный фронт и стал думать в сотый раз, как и какие новые решительные слова он скажет своей малютке для того, чтобы получить настоящего человека с бескорыстным чувством, а не хитрую бабу с ее практическими штучками. И для достижения этой цели он не остановится ни перед какими трудностями и затратами. Да, он объявит себя безработным человеком и первое время будет тайком от нее работать у своего фотографа, с тем чтобы окончательно убедиться, что барышня не имеет никаких расчетов и внутренних соображений.

И Володину уже мысленно рисовались сцены, когда он, подняв воротничок своего пиджачка и тщательно занавесив окна, тайком работает, не покладая рук, день и ночь ретушируя фотографические снимки. Он работает так цельный месяц, или два месяца, или даже год и откладывает деньги, абсолютно не тратя их. И, наконец, убедившись в своей крошке, он приносит к ее ногам груду денег и умоляет простить его за такой поступок и проверку.

И барышня, со слезами на глазах, отстранит, возможно что, его деньги, – мол, что вы, к чему это, зачем столько много, это, мол, портит отношения.

И тут наступит безоблачное счастье, и наступит дивная, неповторимая жизнь.

Слезы радости показывались на глазах Володиной, когда он думал о таком исходе дела. И он энергично вращался на своем диване, скрипя всеми пружинами и вытирая глаза рукавом рубашки.

Но потом он снова думал о своих горестях, о мордобое и о всех последних мрачных делах.

И тогда он буквально холодел и, пугаясь задним числом за свою нетронутую наружность, вскакивал со своего дивана и снова подбегал то к зеркалу, чтоб еще раз удостовериться в сохранности лица, то к костюму, разглядывая прожженную ткань.

Так беспокойно и тяжело он провел целую ночь, слегка вздремнув только под самое утро.

А утром, с серым лицом и с мутными глазами, он стал торопливо собираться по своим делам, решив в первую очередь навестить свою барышню, чтобы приступить поскорей к выполнению своего плана. После того он выкинет белый флаг и войдет в переговоры со своими родственниками.

И, выйдя на лестницу, Володин стал, по своей привычке, чистить сапоги, лакируя их бархаткой до ослепительного блеска.

Он уже вычистил один сапог, как вдруг, вероятно от холода лестницы, икнул. Он икнул раз, потом еще раз, потом, через несколько секунд, еще несколько раз.

Откашлявшись и сделав тут же небольшую зарядовую гимнастику, Володин принялся энергично тереть другой сапог. Но так как икота не проходила, он пошел на кухню и, взяв там кусочек сахара, принялся сосать его, находя совершенно неловким разговаривать с любимым человеком, имея такой дефект речи.

Однако икота все еще не проходила. И он икал теперь правильно, как машина, через определенный промежуток времени в полминуты.

Слегка взволнованный новым неожиданным препятствием, мешающим увидеть дорогого человека, он принялся ходить по комнате, распевая полным голосом веселые и комические песенки, чтобы не поддаться внутренней тревоге и тоске.

Походив так около часу, он присел на край дивана и вдруг с ужасом убедился, что его икота не только не уменьшилась, но, наоборот, стала гуще и звучней, и только промежутки между двумя схватками увеличились почти до двух минут.

И эти промежутки Володин сидел неподвижно, почти затаив дыхание, со страхом ожидая новой горловой судороги. И, икнув, он вскакивал, взмахнув руками, и убитым, потусторонним взором смотрел вперед, ничего не видя.

Промаявшись так до двух часов дня, он поделился этой бедой со своим сожителем фотографом. Фотограф Патрикеев легкомысленно засмеялся и назвал это сущим пустяком и вздором, который с ним случается почти что всякий день. Тогда Володин, собрав остатки своего мужества, отправился к своей Оленьке Сисяевой.

Он икал всю дорогу, вздрагивая всем телом и махнув рукой на всякие приличия.

И, подходя к дому девушки, он, как назло, стал икать до того часто и энергично, что прохожие оборачивались и ругали его ослом и другими словами.

И, вызвав девушку стуком в окно, Володин приготовился к решительному объяснению, перезабыв, правда, по случаю новой беды, все свои каверзные вопросы.

Извинившись за свою чисто нервную икоту, которая вызвана, видимо, простудой и малокровием, Володин элегантно поцеловал ручку Оленьке, икнув пару раз при этом несложном процессе.

Думая, что он выпил с горя, Оленька Сисяева заморгала ресницами, приготовившись дать ему суровую отповедь. Но он, думая больше о своей болезни, несвязным языком залепетал слова о том, что он безработный, у которого только и капитала, что один галстук и штаны.

И что пусть Оленька по этой причине скажет лучше сейчас, согласна ли она пойти за такого, которого ждет жалкая судьба и с которым, может, придется ходить по миру, как со слепцом, и просить на пропитание. Или она действительно его любит, несмотря ни на что.

Оленька Сисяева, слегка покраснев, сказала, что, к сожалению, довольно поздно сейчас задавать тому подобные вопросы. Тем более она, как выяснилось вчера, находится в положении, и довольно странно и глупо в ее положении слышать подобные речи. И что муж – это есть муж, и его долг как-нибудь кормить свою будущую семью.

Пораженный новым открытием и не получив решительного ответа на свои мысли и сомнения, Володин, сбитый с толку, окончательно потерял нить своего плана и изумленно глядел теперь на барышню, икая при этом время от времени.

Затем он, схватив ее за руки, сказал, что пусть она хотя бы в таком случае скажет – любит ли она его и охотно ли идет на такой шаг.

И девушка, мило улыбнувшись, сказала, что, конечно, без сомнения, она его любит, но только ему необходимо серьезно полечиться от его нервной икоты и что она не мыслит себе мужа с подобным странным дефектом.

И здесь, распровавшись, они расстались, она – уверенная в себе, он – полный нерешимости и даже отчаяния оттого, что ему так и не удалось достоверно узнать про чувство барышни.

## 9

Это было очень странно и удивительно, но икота у Володина не проходила.

Вернувшись домой, он пораньше лег спать с тайной надеждой, что утром все пройдет и снова наступит простая великолепная человеческая жизнь. Однако, проснувшись, он убедился, что беда не проходит. Правда, он икал теперь редко, примерно один раз в три минуты, но все же икал и не видел никаких признаков облегчения.

И, не вставая со своего дивана и холодея от мысли, что это недомогание останется у него на веки веков, Володин пролежал целый день и ночь, изредка выбегая на кухню попить холодной водички.

Наутро, снова подняв голову с подушки и убедившись, что икота продолжается, Володин совершенно упал духом. Он перестал сопротивляться природе и, покорно отдавшись судьбе, лежал, как покойник, время от времени вздрагивая телом под бременем своей нервной икоты.

Фотограф Патрикеев, обеспокоенный странным положением своего жильца, начал все-речь пугаться, как бы на его шее не остался инвалид, который будет круглые сутки икать и тем самым отпугивать его клиентов и посетителей.

И, ничего не сказав Володину, он побежал до этой роковой Оленьки Сисяевой, чтобы пригласить ее к кровати больного, желая тем самым поскорей снять с себя всякую моральную и материальную ответственность и заботы по уходу.

Он пришел к ней и стал умолять ее прийти, говоря, что ее дружок если и не совсем плох, то находится в крайне странном положении. И что ему необходима помощь.

Девушка, сконфуженная такой исключительной болезнью своего жениха, не могла особенно высказывать свою печаль и тревогу. Тем не менее она тотчас согласилась навестить больного.

Несколько взволнованная бедным и неудобным видом комнаты и скудостью имущества, барышня остановилась на пороге, не решаясь сразу подойти к больному.

При виде барышни больной вскочил с дивана, потом снова лег, поскорее прикрывая свой растерзанный туалет.

Барышня, придвинув к дивану табурет, присела, с тоской глядя, как ее жениха дергала болезнь.

Весть о больном, который икает трое суток, несколько взбудоражила местное население ближайших домов. Слухи о любовной драме усилили любопытство граждан. И в квартире началось буквально паломничество, которое невозможно было остановить силами одного фотографа. Все хотели поглядеть, как невеста относится к жениху, и чего она ему говорит, и как он, при своей икоте, ей отвечает.

Тут же, среди других граждан, колбасился и наш брат милосердия Сыпунов, не рискуя, впрочем, входить в комнату, чтобы не напугать больного.

Как ближайший родственник и медработник, он, окруженный толпой любопытных, авторитетно говорил о состоянии больного, объясняя, что к чему и в чем дело.

Безусловно, он не предполагал такого исхода. Он попугал человека, слов нет, но его двигало чувство справедливости, а также родственные связи с Маргаритой Гопкис, которая на склоне лет остается как-никак без человека.

Однако печальные картины болезненного состояния очень его растрогали, тем более он совершенно считается с чувством любви и, безусловно, никому теперь не позволит пальцем тронуть его бывшего родственника, Николая Петровича Володина. А Маргариточка, в крайнем случае, пушай сама как-нибудь проведет свою жизнь. Что же касается болезни, то это, скорей всего, чисто нервное заболевание на простудной почве. И что у них в больнице на простудной почве черт знает какие болезни происходят – и ничего, многие остаются живы.

Фотограф Патрикеев, боясь, что в толкотне и сумятице разворуют его фотографические принадлежности, поднял крик, убеждая публику разойтись, иначе он вызовет милицию и силой прекратит безобразие.

Брат милосердия, получив директивы от фотографа, стал выпирать назойливую публику, махая треножником и оттесняя посетителей на кухню и лестницу. Он чество просил расходиться и не вызывать его на более решительные действия.

Увидев такое безобразие, полную огласку дела и открытый срам, барышня Оленька Сисяева стала лепетать, что надо бы больного отвезти в больницу или же, в крайнем случае, хотя бы пригласить коммунального врача, который может удалить лишнюю публику.

Среди посетителей находился, между прочим, один такой бывший интеллигент, некто Абрамов, который заявил, что врач тут, безусловно, ни при чем, что врач сорвет трояк и надевает таких делов, после которых уже больного навряд ли можно поправить.

И что лучше пушай позволят ему произвести опыт, который в самом корне подорвет это заболевание.

Этот некто Абрамов не носил звания врача или ученого, но он глубоко понимал многие вопросы и любил лечить граждан от всяких болезней и страданий своими домашними средствами.

Так и тут он сказал, что картина заболевания ему слишком ясна. Что это есть неправильное движение организма. И что надо поскорее перебить это движение. Тем более, организм имеет, так сказать, свою инерцию и как заледит на одно, так прямо нет спасения. От этого, дескать, происходят почти что все наши болезни и недомогания. И это, дескать, необходимо лечить энергично, давая сильную встряску и другой, обратный толчок всему организму, который, дескать, слепо работает, не разбираясь, куда его колесья крутятся и что из его работы выйдет.

Он велел посадить больного на стул, а сам, грубо насмехаясь над врачами и медициной, вышел на кухню, чтобы там начать свои научные приготовления.

Там он, с помощью брата милосердия, нацедил полное ведро холодной воды и, выбежав осторожно, на цыпочках из-за двери, вдруг с криком опрокинул всю эту воду на голову больному, который, мало чего соображая, беспечно сидел до этого на стуле, как мешок с картофелем.

Позабыв про свою болезнь, Володин полез было драться и вообще стал после этой процедуры буйствовать, выгоняя народ из помещения и порываясь побить своего доморощенного лекаря.

Но вскоре Володин утих и, переменив платье, задремал, положив голову на колени своей малютки.

На другое утро он встал совершенно здоровый и, побрившись и приведя себя в порядок, стал жить как обычно.

Конечно, автор не собирается утверждать, что это домашнее лечение подействовало исцеляюще. Скорей всего, болезнь сама по себе прошла. Тем более, что три-четыре дня – срок изрядный, хотя, конечно, медицина знает и более длительные сроки для этой болезни. Так что прохладная водица могла все же доброкачественно подействовать на замороженные мозги нашего больного и тем самым ускорила исцеление.

## 10

Через несколько дней Володин записался со своей малюткой и перебрался на жительство в ее скромные апартаменты.

Ихний медовый месяц прошел тихо и вполне безмятежно.

Брат милосердия окончательно сменил гнев на милость и даже раза два заходил к молодым с визитом – причем один раз милостиво занял трешку, не обещая, впрочем, ее вернуть. Зато он дал торжественное обещание не убивать и не трогать больше Володина ни при каких обстоятельствах.

Что касается заработка и вообще содержания, то Володину пришлось сознаться в своей клевете. Ну да, он немного приврал, желая испытать ее любовь. В этом нет ничего оскорбительного.

И, говоря об этом, он умолял ее еще раз сказать, знала ли она, что он нарочно соврал, или же она не знала и пошла за него по бескорыстному чувству.

И дамочка, задумчиво смеясь, уверяла его в последнем, говоря, что она сначала, конечно, не знала о его вранье и боялась, что он, действительно, ничего за душой не имеет. Но потом-то она определенно догадалась о его прозрачных действиях. Ну, да она не имеет на него претензий – это его законное право узнать про свою будущую супругу.

И, слушая эти дамские речи, Володин мысленно сердился и называл себя ослом и бараном за то, что не смог досконально подловить и проверить барышню.

Впрочем, конечно, что ж он мог сделать? Тем более, его злокачественная болезнь подкузьмила – она лишила его энергии и воли и окончательно заморочила ему голову. И в силу этого он не мог решить задачу достойным образом. Тем более, барышня запросто обыграла его, козырнув с туза своим положением. Но в дальнейшем как-нибудь все само выяснится.

Что же касается Маргариточки Гопкис, то она продолжала сердиться и однажды, встретившись с Володиным на улице, не ответила на его сдержанный поклон, отвернув в сторону свой профиль.

Это мелкое событие тяжело, тем не менее, отразилось на Володине, который последнее время хотел, чтобы в жизни все было гладко и мило и чтоб голуби по воздуху порхали.

В тот день он снова несколько заволновался, вспоминая последние события своей жизни.

Ночью ему не спалось. Он ворочался в кровати и хмуро, испытующе смотрел на свою супругу.

Молодая дама спала, распустив свои губы, причмокивая и всхлипывая.

«У нее был расчет, – думал Володин. – Она, безусловно, все знала. И, конечно, не пошла бы за него, если б он ничего не имел». И в своей тоске и беспокойстве Володин поднялся

с кровати, походил по комнате, подошел к окну. И, прижав пылающий лоб к стеклу, долго глядел, как в темном саду от ветра покачивались деревья.

Потом, беспокоясь, что ночная прохлада может снова вызвать заболевание, Володин заспешил к кровати. И долго лежал с открытыми глазами, водя пальцем по рисунку обоев.

«Да, без сомнения, она знала, что я приврал», – снова подумал Володин, засыпая.

А наутро он встал веселый и спокойный и о грубых вещах старался больше не думать. А если и думал, то вздыхал и махал ручкой, предполагая, что без корысти никто, никогда и ничего не делает.

## Мудрость

### 1

Одиннадцать лет подряд незадолго до революции жил мой родственник Иван Алексеевич Зощенко уединенно и замкнуто. Он никуда не ходил, он совершенно перестал бывать в обществе и даже категорически порвал все прежние короткие отношения со своими приятелями.

И, живя на одной из улиц Петербургской стороны, он казался каким-то чудаком – отшельником, случайно и на время поселившимся среди людей. Он все меньше и меньше стал разговаривать с людьми, а если и говорил, то брезгливая болезненная гримаса раздражения не сходила с его лица. Казалось, что человеку было невыносимо трудно всякое общение с людьми. И это была правда.

Кое-кто из прежних его приятелей говорил, будто Иван Алексеевич страдает хроническим катаром кишечника и нервными коликами, и будто бы болезнь эта наложила на него неизгладимый скучный след. Другие приятели, знавшие Ивана Алексеевича еще короче и настроенные слегка романтически, уверяли, что, напротив, он здоров, как бык, но в жизни его произошла не то какая-то тайна, не то какая-то любовная интрига, которая скомкала и изменила ровное течение его жизни.

Впрочем, неизвестно, кто был прав. Может быть, были правы обе стороны, тем более что врач, пользовавший одно время Ивана Алексеевича, с улыбкой отговаривался незнанием, но категорически болезни не отрицал и при этом отделялся двусмысленными шуточками. А что касается до любовной стороны, то любовная сторона жизни Ивана Алексеевича не только была известна в области шуток, но и вполне достоверна.

В молодые годы был Иван Алексеевич красивый, полный брюнет с определенно ярким южным темпераментом. При этом некоторая независимость в средствах позволяла Ивану Алексеевичу в достаточной мере пользоваться прелестью и утехами жизни.

И в разгульной своей жизни он сошелся по пьяной лавочке с одной пустенькой драматической актрисой, но связь эта, длившаяся с полгода, была несчастлива. Повздорив из-за своей дамы с одним лицеистом, который при многочисленных свидетелях обозвал ее шкуррой, Иван Алексеевич ударил его по морде в фойе академического театра, при этом сбил с носа пенсне и разбил ухо. Результатом была дуэль, которая и состоялась на пулях вблизи Комендантского аэродрома. Раненый слегка в мякоть левой ноги, Иван Алексеевич уехал из Петербурга на несколько лет. Потом вернулся. Год или два жил чрезвычайно разгульно, предаваясь по временам нестерпимому пьянству и разврату. И, наконец, стих. И, поселившись на Петербургской стороне, с дальней своей родственницей, старушкой Капитолиной Георгиевной Шнель, перестал показываться.

Но зачем это он сделал, почему, кому было нужно его уединение – никто не знал. Знали только, что жил человек, и вдруг все в жизни показалось ему жалким и ненужным. Все лучшие человеческие качества, как, например, благородство, гордость, тщеславие, показали смешной забавой и бирюльками. А вся прелесть прежнего существования – любовь, нежность, вино – стала смешной и даже оскорбительной.

Но было ли это на почве физиологической, так сказать, от пресыщения, или же было это в связи с душевными отклонениями – никто не знал и не мог знать, ибо с каждым годом разрыв его с людьми увеличивался.

Его квартира, уставленная различной мебелью, увешанная люстрами и всевозможными дорогими безделушками, вскоре затянулась паутиной и пылью. И цветы, некогда поставлен-



ные на окнах, – завяли. И огромные мозерские часы остановили свое движение. Даже полуопущенная штора в столовой так и оставалась полуопущенной в течение нескольких лет.

Какое-то веяние смерти сообщалось всем вещам. На всех предметах, даже самых пустяковых и незначительных, лежали тление и смерть, и только хозяин квартиры по временам подавал признаки жизни. Он вставал со своего ложа, ходил из угла в угол, сося папироску, или, согнувшись и покачивая левой ногой, сидел перед толстенной книгой, или, наконец, открыв форточку и не боясь простудиться и схватить воспаление легких, смотрел на звездное небо, держа перед собой карту небесного свода. И так тянулось почти одиннадцать лет.

## 2

Но однажды, без всякой видимой причины, в жизни Ивана Алексеевича произошли чрезвычайные перемены.

Однажды, проснувшись поутру, он почувствовал в себе какой-то прилив необыкновенной свежести и здоровья. Он с удивлением и недоверчивостью отнесся к этому и, наскоро одевшись и зашнуровав ботинки, вышел на улицу, сохраняя по старой привычке прежнее безразличное выражение лица.

И странное дело: все на улице показалось ему приветливым и умильным. Недоумевая, Иван Алексеевич вернулся домой. Доброе состояние не покидало его и дома.

Привыкнув думать и анализировать свои поступки и движения, Иван Алексеевич, еще не изменяя на лице гримасы, принялся решать, что, в сущности, произошло. Но не знал.

Тогда, цинически смеясь, он пытался уверить себя в каком-то физическом перерождении, тем более, что условия к тому были благоприятны – в течение одиннадцати лет, после разгула и пьянства, он вел спокойную размеренную жизнь.

Но это было не совсем так. Вернее, это было именно так, но, наряду с этим, было нечто иное.

Тогда, обдумывая и поражаясь, Иван Алексеевич вдруг понял, что совершенно помимо его воли вместе с бодростью к нему вернулась та прелесть существования, которую он потерял одиннадцать лет назад.

Раньше он с горечью стал бы обдумывать, как, в сущности, унижительна для человека такая анатомическая зависимость, но теперь ему было все равно. Он чувствовал в себе радость; ему были приятны и серое тусклое небо, и дым из трубы, и кошка на крыше, и мухи, назойливо присаживающиеся то на его лоб, то на нос. Он не сгонял их даже и, в добром состоянии духа, весело подсмеивался и хлопал себя по коленям. Все, что раздражало его, – исчезло.

В несколько дней Иван Алексеевич совершенно переродился. Он просыпался теперь с улыбкой, шутил сам с собой и, надевая костюм или зашнуровывая ботинки, пел вполголоса, стыдясь и радуясь своему оживлению.

А однажды, позвав к себе в комнату дальнюю родственницу, старушку Капитолину Георгиевну Шнель, он принялся ей говорить о том, как, в сущности, хороша и прекрасна жизнь и как он был нестерпимо глуп, что ханжески потратил одиннадцать лет неизвестно на что.

И, говоря об этом, он жестикулировал руками, подходил к зеркалу и, причесывая свои давно не тронутые волосы, смеялся.

– Ах, – говорил он, – как я был глуп! Как глуп! Ну, кому радость от того, что я небрит и волосы мои до плеч? Кому это нужно, чтоб я презирал людей, и весь мир, и все существование? Да никому не нужно. Но я теперь знаю, как жить. Я сумею теперь жить. Мудрость не в том, чтобы людей презирать, а в том, чтобы делать такие же пустяки, как и они: ходить к парикмахеру, суетиться, целовать женщин, пить, покупать сахар. Вот мудрость!

Дальняя родственница, ничего не поняв на старости лет, сморкаясь в платок, ушла из комнаты, не зная, плакать ли ей или радоваться.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в неведении. Он снова и за руку привел ее в комнату и стал умолять ее, чтобы она, несмотря на дальнейшее родство, честно и открыто сказала бы ему, как он выглядит, не очень ли он осунулся и похудел, не очень ли стал безобразен и может ли снова, как равный, войти в общество. При этом, страшно конфузясь, он широко открывал рот, показывая указательным пальцем на недостающий зуб.

Слегка развеселившаяся старушка утешала его, чем могла, говоря, что вид вполне еще бодрый и свежий, а что отсутствие зуба вовсе даже и совершенно незаметно, если не открывать рта.

Тогда Иван Алексеевич принялся хохотать, потирая свои руки и вспоминая, как и он был молодцом и задирой в свое время, как лихо он дрался на дуэли и сколько имел любовниц.

Старушка, не желая нарушать его доброго настроения, принялась также рассказывать приключения о любви из собственной жизни, но, вспомнив начало, она никак не могла восстановить конца и, спутавшись окончательно, обиженно замолчала, стараясь больше ничем не раздражать Ивана Алексеевича.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в покое. Он стал вместе с ней вспоминать о своих знакомых, оставшихся в живых. Ему хотелось немедленно, в ближайшее же время позвать их всех к себе, устроить маленькую веселую пирушку, перецеловать всех и сказать, что он их, как и раньше, по-прежнему всех любит и хочет жить, потому что он знает теперь, что такое жизнь и как нужно жить.

И, взяв дальнюю родственницу за руки, Иван Алексеевич категорически сказал ей, что он в ближайшие же дни устроит эту пирушку – праздник своего обновления.

С трудом понимая, что он ей говорит, старушка хитро трясла головой, говоря, что, несмотря на дальнюю кровь и родство, он все же весь пошел в нее.

Иван Алексеевич тихо и благодарно смеялся.

### 3

В тот же день вечером Иван Алексеевич принялся составлять список своих знакомых, смеясь и добродушно издеваясь над ними.

Наконец список был составлен. Было записано пятнадцать человек, о которых Иван Алексеевич знал, что они живы и по-прежнему благополучно здравствуют в городе.

Тогда Иван Алексеевич, имея перед собой список, стал писать в витиеватых, смешливых тонах пригласительные записки, которые, на другой же день, он лично повез развезить по своим приятелям.

Приятели встречали его крайне удивленно и холодно, а некоторые даже враждебно, не приглашая его в комнаты и держа дверь на цепочке. Приятели предполагали, что он, обнищав, явился к ним за денежным пособием или вспоможением, кто чем может, но, узнав истинную причину, делали круглые глаза и дьявольски хохотали, и иные весело подмигивали, теребили его за плечи и обещали непременно быть.

Иван Алексеевич сам хохотал, стараясь при этом не слишком открывать рот, дабы пока никто не заметил в нем отсутствие зуба. Но друзья не замечали. Они рассказывали всякие веселые сплетни и новости, веселились над тем или иным лицом, а Иван Алексеевич поддакивал, кивал головой и всячески иронизировал над собой, желая этим показать, что он по-прежнему молодец и веселый парень.

И в самом деле: ему казалось, что он искренно весел и радостен и что одиннадцать лет – это какой-то нелепый и ненужный сон, о котором просто-напросто не нужно думать.

От приятелей Иван Алексеевич пошел домой совершенно радушный и помолодевший. Он несколько раз по дороге заходил к парикмахеру, требуя устроить ему то одну, то другую прическу, категорически приказывая одеколона и туалетных вод не жалеть.

И, вернувшись домой, он тотчас же, слегка покушав, облачился в старый костюм, снял паутину и пыль со всех углов, вытер полусырой тряпкой все карнизы, а также и двери и этажерки, и повесил в спальней зеленоватый фонарь.

Несмотря на это, работы предстояло еще много. Нужно было перебрать все книги, убрать с окна сухие цветы и придать всей квартире жилой и уютный вид.

Чуть не падая от усталости, Иван Алексеевич бросался в кресло, потом снова вскакивал, хватаясь то за то, то за другое, время от времени восклицая:

– Ах, как я был глуп! Как глуп!

И, перетаскивая с места на место то или иное кресло и поправляя без нужды скатерть на столе или перебирая книги, Иван Алексеевич тихонько смеялся и потирал руки, говоря:

– Такова жизнь!

Потом снова бросался в кресло и снова звал старушку, теребил ее и почти торжественно рассказывал, как он заживет в дальнейшем, умудренный жизненным опытом.

Дальняя родственница тоже не отставала от него. Она помогала ему перетаскивать мебель; она доставала посуду и в сотый раз спрашивала:

– Когда же? – подразумевая под этим – вечер.

Иван Алексеевич, гордый и утомленный, отвечал:

– Завтра! Завтра, многоуважаемая Капитолина Георгиевна.

#### 4

И вот пришло завтра – торжественный день вечеринки, праздник обновления.

Еще с утра, тщательно побрившись, Иван Алексеевич мотался из угла в угол, наводя последний, ослепительный лоск на каждый предмет.

И к полдню все было готово.

Дальняя родственница Ивана Алексеевича, старушка Шнель, достала для себя из сундука слежавшееся от времени, но еще вполне пристойное, темное шанженевое платье, со старинными рюшками и многочисленными фестонами, и надела его. Острый запах нафталина и давно не тронутой материи наполнил всю квартиру. Старушка, поминутно чихая и дергая головой, переходила из комнаты в комнату, наполняя нестерпимым зловонием небольшую квартиру.

У старушки мелькала мысль, что неплохо было бы снять это торжественное платье, но она не хотела огорчить Ивана Алексеевича, которому к тому же было не до запаха.

В самом деле: ни минуты не оставаясь спокойным, Иван Алексеевич бегал из прихожей в столовую, из столовой в кухню и обратно. Он даже самолично и несколько раз спускался на улицу, ходил по магазинам и покупал все новые и новые вещи, прося отпустить самого лучшего качества, намекая, что у него предстоит торжественная вечеринка. А еще недавно, заходя в тот же магазин и покупая что-либо, он скупно бросал несколько слов и, взяв покупки, молча уходил, высоко поднимая воротник. Теперь же, напротив, он медлил в магазине, разговаривая и смеясь с любым, невзрачным на вид, продавцом. Ему хотелось, чтобы каждый, даже посторонний гражданин, знал бы о его торжестве.

Весь день проходил в невероятной суете и оживлении. А к вечеру, когда сумерки наполнили комнату, Иван Алексеевич зажег свет и принялся убирать стол. Раздвинув его на двенадцать персон и постелив белоснежную скатерть, он стал украшать и раздраконивать его, вспоминая, как это делалось раньше.

И вскоре чисто вымытые тарелки, ножи, рюмки и всевозможные изысканные блюда давили своей тяжестью стол.

Тут была и икра всех сортов, и малосольная семга, и сижки копченые, и английские паштеты из дичи, и прочая снедь. И среди всего этого, гордо отеснив закуску, стояли бутылки разных вин.

Когда все это было готово, Иван Алексеевич, утомленный и вспотевший, присел к столу, придвинув для этой цели стул.

Руки Ивана Алексеевича дрожали, и грудь вздымалась высоко и порывисто. Он хотел слегка отдохнуть за полчаса до гостей, но ему не сиделось. Ему казалось, что не все еще сделано. Ребяческая улыбка не сходила с его лица. Тогда, смеясь и кривляясь, он достал из ящика письменного стола цветную тонкую бумагу, из которой некогда делались цветы, взял ножницы и стал вырезать ровные полосы, делая из них нечто вроде цветов.

Потом, свернув их вместе пушистым букетом, он стал прилаживать к хвосту жареной тетерки. Получилось, действительно, крайне эффектно, и стол от этого только выиграл.

Тогда, взяв еще лист розовой бумаги, Иван Алексеевич хотел то же самое проделать и с окороком ветчины и уже стал вырезать, как вдруг неосторожным движением руки обронил ножницы на пол. Нагнувшись моментально за ними и коснувшись уже пальцами холодной стали, он почувствовал, как какая-то тяжелая, густая волна крови прилила ему к лицу. Тряхнув слегка головой, он хотел выпрямиться, но захрипел и ничком свалился на пол, зацепив ногой за стул, далеко и гулко отодвинув его.

Странная, ровная синева прошла откуда-то снизу и спокойно покрыла его лицо.

Вбежавшая на шум дальняя родственница, старушка Шнель, констатировала смерть, последовавшую от удара.

Потрясенная, с дрожащими руками, старушка метнулась к столу, потом к умершему и, не зная, что ей предпринять, замерла в одной позе.

И вот – ярко освещенная комната, стол, уставленный всевозможными яствами, и у стола, лицом в пол, у самых ножниц, Иван Алексеевич. На это невозможно было долго смотреть, и, нечеловеческим усилием воли взяв умершего за плечи, старушка поволокла его в соседнюю комнату. Цепляя ногами за стулья и странно раскидывая руками и стуча головой об пол, Иван Алексеевич с трудом поддавался усилиям старухи.

И, наконец, втащив его в спальню и прикрыв простыней, старушка, накинув на плечи черную косынку, вышла в столовую. И в столовой снова замерла в неподвижной позе, дожидаясь гостей.

И вот, ровно в восемь, раздался звонок. Старуха не двигалась. И тогда, открыв незапертую дверь, в комнату вошли, подталкивая друг друга, два приятеля, страшно хохоча и гремя сапогами. И, увидев странную старуху, поклонились ей и, морщась от нестерпимого запаха нафталина, спросили, где же хозяин и как он здоровствует.

На что старуха, как-то конфузясь и почти не открывая рта, отвечала:

– Он умер.

– Как? – вскричали они в один голос.

Тогда старуха пальцем показала им на запертую дверь в соседнюю комнату. И они поняли.

Они, тихо поохав и потолкавшись у стола, ушли на цыпочках, съев по куску семги.

Старуха оставалась почти неподвижной.

Вслед за ними от восьми до девяти приходили все приглашенные. Они входили в столовую, радостно потирая руки, но, узнав о смерти, тихонько ахали, поднимая удивленно плечи, и уходили, стараясь негромко стучать ногами. При этом, проходя мимо стола, дамы брали по одной груше или по яблоку, а мужчины кушали по куску семги или выпивали по рюмке малаги.

И только один из старых приятелей и ближайший друг Ивана Алексеевича, странно заморгал глазами, спросил:

– Позвольте, как же так? Я нарочно не пошел в театр, чтобы не обидеть своего друга, и – вот... К чему же тогда звать? Позвольте, как же так?

Он ковырнул вилкой в тарелку с семгой, но, поднеся ко рту кусок, отложил его обратно и, не прощаясь со старухой, вышел, бормоча что-то под нос.

И, когда ушел пятнадцатый гость, старуха вошла в соседнюю комнату и, достав из комода простыню, повесила ее зеркало. Потом, достав с полки Евангелие, принялась вслух читать, покачиваясь всем корпусом, как от зубной боли.

И голос ее, негромкий и глухой, прерывался и дрожал.

## Коза

### 1

Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер Иван Нажмуудинович от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил:

– Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово, – под сокращение не попасть... Ну, куда ты торопишься?

Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.

Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок немаленький. Ведь если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет?

В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил: «Четыре», четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так – любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.

А что до встреч, то бывает, конечно, всякое... Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная личность сапоги гуталином чистит, – дама вдруг... Черное платье, вуалька, глаза... И побежит эта дама к Забежкину... «Ох, – скажет, – молодой человек, спасите меня, если можете... Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают»... И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо... А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.

Или еще того проще – старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще, головокружение. Забежкин к нему... «Ах, ах, где вы живете?»... Извозчик... Под ручку... А старичок, комар ему в нос, – американский подданный... «Вот, – скажет, – вам, Забежкин, триллион рублей...»

Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек может подойти к Забежкину? Какой это человек может иметь что-либо вообще с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загогулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло – природа, а вот прически, верно, – никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.

И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмуудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку – из Союза молодежи – сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклеи или даже колюшки крошечной.

Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах, мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?

2

Но однажды приключилось событие. Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.

Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал – не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.

Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмуудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена, и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?

Виски заломило еще пуще.

И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмуудиновича домой пораньше уйти.

– Иди, Забежкин, – сказал Иван Нажмуудинович и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился. – Иди, Забежкин, но помни – нынче сокращение штатов...

Взял Забежкин фуражку и вышел.

И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:

– Извиняюсь.

– Господи! – сказал Забежкин. – Да что вы? Да пожалуйста...

Но прохожий был далеко.

«Что это? – подумал Забежкин. – Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит... Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же мошь, мошкара, мошка крылами задела... И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты, штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него...»

– Ах! – громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.

И шел Забежкин долго за ним – весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли – шляпки с перьями, – заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий.

А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал.

«Ого, – вдруг подумал Забежкин, – куда же это такое я зашел? Каменноостровский... Карповка... Сверну», – подумал Забежкин. И свернул по Карповке.

И вот – трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!

«Присяду», – подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.

И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление: «Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться».

Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилося слишком, и Забежкин снова сел на лавку.

«Что ж это, – подумал Забежкин, – странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются... Это мужчина требуется, хозяин. Господи, твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!»

Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.

– Коза! – сказал Забежкин. – Ей-богу, правда, коза стоит... Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина... Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза – женюсь. Баста. Десять лет ждал – и вот. Судьба... Ведь ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается, – значит, квартира есть. А квартира

– хозяйство, значит, полная чаша... Поддержка... Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой... Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама солидная, порядок обожает, порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно, и все только и спрашивает: «Не хочешь ли, Петечка, покушать?» Ах ты, штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше – жрет меньше.

Забежкин открыл калитку.

– Коза! – сказал он, задыхаясь. – У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно, ежели коза, то смешно даже... Пускай Иван Нажмуудинович завтра скажет: «Вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов»... Хе-хе, ей-богу, смешно... Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду... Пожалуйста. Коза есть. Коза, черт меня раздери совсем! Ах ты, вредная штука! Ах ты, смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил – не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нос, здесь его величество, мужчина, требуется...

Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.

### 3

У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.

«Жаль, – с грустью подумал Забежкин, – старая коза, дай бог ей здоровья».

Во дворе мальчишки в чижики играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.

Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямо-таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.

«Вот дура-то», – подумал Забежкин.

Девка изнемогала.

– Эй, тетушка, – сказал Забежкин громко, – где же это тут комната внаймы сдается?

Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.

– Товарищ, – спросила голова, – вам не ученого или агронома Пампушкина нужно будет?

– Нет, – ответил Забежкин, снимая фуражку, – не имею чести... я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.

– А если ученого агронома Пампушкина, – продолжала голова, – так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.

Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.

– «Несколько слов в защиту огородных вредителей»...

– Чего-с? – спросил Забежкин.

– А это кто спрашивает? – сказал агроном, сам подходя к окну. – Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: «Несколько слов в защиту огородных вредителей»... Да вы поднимитесь наверх.

– Нет, – сказал Забежкин, пугаясь, – я комнату, которая внаймы...

– Комнату? – спросил агроном с явной грустью. – Ну, так вы после комнаты... Да вы не стесняйтесь... Третий номер, ученый агроном Пампушкин... Каждая собака знает...

Забежкин кивнул головой и подошел к девке.

– Тетушка, – спросил Забежкин, – это чья же, например, коза будет?

– Коза-то? – спросила девка. – Коза эта из четвертого номера.

– Из четвертого? – охнул Забежкин. – Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?



– Там, – сказала девка. – Только сдана комната.

– Как же так? – испугался Забежкин. – Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так – сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты...

– А не знаю, – ответила девка, – может, и не сдана.

– Ну, то-то – не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот про кур лучше скажи – чьи куры ходят?

– Куры-то? Куры Домны Павловны.

– Это какая же Домна Павловна? Не комнату ли она сдает?

– Сдана комната! – с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи.

– Врешь. Ей-богу, врешь. Объявление есть. Ежели бы объявления не было, тогда иное дело, – я бы не сопротивлялся. А тут – объявление. Колом не вышибешь... Заладила сорока Якова: «Сдана, сдана...» Дура такая. Ты лучше скажи: индейский петух – наверное уже не ее?

– Ее.

– Ай-я-яй! – удивился Забежкин. – Так ведь она же богатая дама?

Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла.

Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.

«Вот, – подумал Забежкин, – ежели сейчас лизнет в руку – счастье: моя коза».

Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.

– Ну, ну, дура! – сказал, задыхаясь, Забежкин. – Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то... Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь... Ну, ну, после дам...

Забежкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.

– Вам чего? – спросил кто-то, открывая дверь.

– Комната...

– Сдана комната! – сказал кто-то басом, пытаясь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.

– Позвольте, – сказал Забежкин, пугаясь, – как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ... Как же так? Я время потратил... Проезд... Объявление ведь...

– Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?

Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой и что дама – размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.

– Сударыня, уважаемая мадам, – сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая, – мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуренушку...

– А вы из каких будете? – спросила изрядным басом Домна Павловна.

– Служащий...

– Ну, что ж, – сказала Домна Павловна, вздыхая, – пушай тогда. Есть у меня еще одна комнатка. Не обижайтесь только – подле кухни...

Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забежкина в комнаты.

– Вот, – сказала она, – смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно – дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.

– Прекрасная комната! – воскликнул Забежкин. – Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни... Разрешите – я и перееду завтра...

– Ну, что ж, – сказала Домна Павловна. – Пушай тогда. Переезжайте.

Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз, с грустью, прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.

«Да-с, – подумал Забежкин, – с трудом, с трудом счастье дается... Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут... Да еще телеграфист... Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!»

#### 4

Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: «Ага!» И ученый агроном Пампушкин, оставив ученую статью «Несколько слов в защиту вредителей», подошел к окну.

И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.

Забежкин развязывал свое добро.

– Подушки! – сказали зрители.

И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.

– Сапоги! – вскричали все в один голос.

Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «Ого!» И Домна Павловна милостиво потерла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.

– Книги... – конфузясь, сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.

– Книги?

И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.

– Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком, – сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги. – Это что же, – продолжал он, – это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?

– Нету, – сказал Забежкин, сияя, – это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, подвижность. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать... а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск да бессмысленная игра огней...

– М-м, – сказал агроном с явным сожалением, – то-то я и смотрю – что такое? – будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?

– Цвет! – сказал Забежкин в восторге. – Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет – раз, два и обчелся...

– Катюшечка! – крикнул агроном голове с флюсом. – Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали.

Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то, очень древнего вида, старушка, думая, что раздадут сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.

– Вот! – закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной. – Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!

Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их наземь, – они падали как поленья.

– Необыкновенные сапоги! – орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. – Умоляю вас, взгляните! Натe! Бросайте их на землю, бросайте – я отвечаю!

Забежкин сказал:

– Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать...

– Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! – горько усмехнулся агроном, наседа на Забежкина.

– На камни безусловно выдержат, – с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед, – а что касается... Под тележку, если, например, и тележку накатить враз – нипочем не выдержат.

– Катите! – захрюкал агроном, бросая сапоги. – Катите, на мою голову!

Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули.

– Лопнули! – закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.

– Извиняюсь, – сказал агроном Забежкину, – это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком... Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!

– Пускай он отвечает, – сказала сожительница агроному. – Он тележку катил, он и отвечает. Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить – сапог не напасешься.

– Да, да, – сказал агроном Забежкину, – извольте теперь отвечать полностью.

– Хорошо, – ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом, – возьмите мою пару.

Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привизгиваньем, будто его щекотали под мышками.

«Красавец! – с грустью думал Забежкин. – И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может...»

Так переехал Забежкин.

## 5

На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.

Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне, и не для Забежкина Домна Павловна надела чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.

Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.

«Смеется, – думал Забежкин, слушая, – и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется... Значит, ей, дура, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно».

Целый день Забежкин провел в тоске. Наутро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к чертовой матери, работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор. Кур проверить. Узнать – мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто – вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно... Хозяйство...

«А хоть и хозяйство, – мучился Забежкин, – да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого что телеграфист мешает».

Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.

– Вот, Машка, – сказал Забежкин козе, – кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает... Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать – любовь корни пустит.

Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.

– А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала... И как убрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?

Коза тупо смотрела на Забежкина.

– Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист – главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофей бы пил... Ну, пойду...

И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.

В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигал стулом.

«Сапоги чистит», – подумал Забежкин и постучал.

Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.

– Пардон, – сказал телеграфист, – я уйду, извиняюсь, скоро.

– А ничего, – сказал Забежкин, – я на секундочку... Я, как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.

– Ага, – сказал телеграфист, – ладно. Пожалуйста.

– И, как сосед, – продолжал Забежкин, – считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнести – сапожки.

– Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? – спросил телеграфист, любуясь сапогами. – Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед... Я не могу так, знаете ли.

– Ей-богу, возьмите...

– Разве что по кавказскому обычаю, – сказал телеграфист, примеряя сапоги. – А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?... Горы, наверное? Эльбрус, черт его знает какой? Нравы... Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят... Чересчур отдаленная страна...

– Нет, – сказал Забежкин, – это не я. Это Иван Нажмуудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был...

Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:

– Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опущусь...

И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.

– Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.

Телеграфист, думая, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.

– Ну, так! – сказал Забежкин, падая и вставая снова. – Так. Спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут... Дрожу и решенья жду – съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.

– Как же так? – спросил телеграфист, закрывая рот. – Странные ваши шутки.

– Шутки! Драгоценное слово – шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне – настоящая жизнь. Вот весь перед вами заголился... Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте... Остатний раз прошу. Плохо будет.

– Чего? – спросил телеграфист. – Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет... А если приспичило вам... да нет, странные шутки... Не могу-с.

– Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу...

– Не могу-с... Да и за что же мне с квартиры съезжать? Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите... Расход ведь в переездах, и, вообще, вы попросите. Я люблю, когда меня просят.

Забежкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся.

– Вот! – сказал он задыхаясь. – Вот сапожки и шнурки вот запасные.

Телеграфист примерил сапоги и сказал:

– Жмут. Ну, ладно. Дайте срок – съеду. Только странные ваши шутки...

Забежкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна.

## 6

Забежкин на службу не пошел. С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячки.

– Готово, Машка. Шабаш. Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся, ну, да ничего – свалил... Сапоги ему, Машка, отдал... Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза – нюхайте... Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка... Ну, ну, нету больше. Хватит.

Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел. Домна Павловна пришла к нему раньше.

Она сказала:

– Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?

– Подарил я. Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.

– Это Иван Кириллыч-то хороший человек? – спросила Домна Павловна. – Неделью, подлец, не живет, и до свиданья. С квартиры съезжает... Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю?!

– А я, Домна Павловна, думал...

– Чего ты думал? Чего ты, раззява, думал?

– Я думал, Домна Павловна, – он и вам нравится. Вы всегда с ним хохочете...

– Это он-то мне нравится? – Домна Павловна всплеснула руками. – Да он целные дни бильярды гоняет, а после с девчонками... Чего я в нем не видала? Да он и вниманья-то своего на меня не обратит... Ну, и врать же ты... Да он, прохвост ты человек, при наружности своей любую тонконогую возьмет, а не меня. Ну, и дурак же ты...

– Домна Павловна, – сказал Забежкин, – про тонконогую это до чего верно вы сказали – слов нет. Это такой человек, Домна Павловна... Он заврался давеча: люблю, – говорит, – тонконогих, а на полненькую и внимания не обращаю. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.

– Ну? – спросила Домна Павловна.

– Ей-богу, Домна Павловна... Он тонкую возьмет, ей-богу, правда – уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращаю свое вниманье. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.

– Ври еще!

– Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня это очень превосходная дама... И для многих тоже... Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил – тоже заинтересовался. Это, – спрашивает, – кто же такая гранд-дам интереснейшая?

– Ну? – спросила Домна Павловна. – Так и сказал?

– Так и сказал, дай бог ему здоровья. Это, – говорит, – не актриса ли Люком?

Домна Павловна села рядом с Забежкиным.

– Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли – рыжеватый будто и угри на носу?

– Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай бог ему здоровья!

– А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел... Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать... Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?

– Нет, – сказал Забежкин, задыхаясь, – нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею даже, как посмотрю... Вообще, многоуважаемые глаза...

– Ну, ну, уж и любишь? – удивилась Домна Павловна. – Поел, может, чего лишнего, – вот и любишь.

– Поел! – вскричал Забежкин. – Это я-то поел, Домна Павловна! Нет, Домна Павловна, раньше это точно я превосходно кушал, рвало даже, а нынче я, Домна Павловна, на хлебце больше.

– Глупенький, – сказала Домна Павловна, – ты бы ко мне пришел. Вот, сказал бы...

– А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю! – вскричал Забежкин. – Скажите: упади, Забежкин, из окна – упаду, Домна Павловна! Как стелечка на камни лягу и имя еще прославлять буду!

– Ну, ну, – сказала Домна Павловна, конфузясь.

И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пройти, как Домна Павловна снова вернулась.

– Побожись, – сказала она строго, – побожись, что верно сказал про чувства...

– Вот вам крест и икона святая...

– Ну, ладно. Не божись зря. Кольца купить нужно... Чтоб венчанье и певчие.

– И певчие! – закричал Забежкин. – И певчие, Домна Павловна. И все так великолепно, все так благородно... Дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот-с... А я-то, Домна Павловна, думал – чего это мне не по себе все? На службе нестерпим даже, домой рвусь... А это чувство...

Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты.

Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:

– Да-с, Домна Павловна, чувство... Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу – размечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмуудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу. Сiju и на книжке «де» и «пе» рисую. А Иван Нажмуудинович галочки сосчитал (у нас, Домна Павловна, всегда, кто опоздал, галочку насупротив фамилии пишут), так Иван Нажмуудинович и говорит: «Шесть галочек насупротив фамилии Забежкин... Это не поперли бы его по сокращению штатов»...

– А пушай! – сказала Домна Павловна. – И так хватит.

Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.

## 7

В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: «Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду», – в тот день все погибло.

Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил:

– Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят, и комнаты внаймы берут, а я, Домна Павловна... Да вот, не пойдя я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих... А тут прохожий. Объявление. Девицам не тревожиться. Хе-хе, плюха-то какая девицам, Домна Павловна!

– Ну, спи, спи! – строго сказала Домна Павловна. – Поговорил и спи.

– Нет, – сказал Забежкин, поднимаясь, – не могу я спать, у меня, Домна Павловна, грудь рвет. Порыв... Вот я, Домна Павловна, мысль думаю... Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать...

– А?

– Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза – дура. Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. У ней и запросов никаких нету. Ну,пусти ее на Невский – срамota выйдет, недоразумение... А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому – тыква в окне. Зайду, – думаю, – узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себя чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку нашу взять – дура, дура и есть. Человек и ударить козу может, и бить даже может, и перед законом ответственности не несет – чист, как стеклышко.

Домна Павловна села.

– Какая коза, – сказала она, – иная коза при случае и забодать может человека.

– А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной.

– Ну и коза, коза может молока не дать, как телеграфисту давеча.

– Как телеграфисту? – испугался Забежкин. – Да чего ж он ходит туда? Да как же это коза может молока не дать, ежели она дойная?

– А так и не даст!

– Ну, уж это пустяки, Домна Павловна, – сказал Забежкин, расхаживая по комнате. – Это уж... Что ж это? Это бунт выходит.

Домна Павловна тоже встала.

– Что ж это? – сказал Забежкин. – Да ведь это же, Домна Павловна, вы про революцию говорите... А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят. Козы, например, или коровы, которые дойные. А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они бодаются, копытами по животам быют. И Машка наша может копытами... А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Иван Нажмудиныча может?

– И очень просто, – сказала Домна Павловна.

– А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиныча забодает Машка, а комиссара, товарища Нюшкина? Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверку перед ним – пожалуйста, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка спрятавшись за дверкой стоит. Товарищ Нюшкин – шаг, и она подойдет, да и тырк его в живот, по глупости.

– Очень просто, – сказала Домна Павловна.

– Ну, тут народ стекается. Конторщики. А товарищ Нюшкин очень даже рассердится. «Чья, – скажет, – это коза меня забодала?» А Иван Нажмудиныч уж тут, задом вертит. «Это коза, – скажет, – Забежкина. У него, – скажет, – кроме того, насупротив фамилии шесть галочек». – «А, Забежкина, – скажет товарищ комиссар, – ну, так уволен он по сокращению штатов». И баста.

– Да что ты все про козу-то врешь? – спросила Домна Павловна. – Откуда это твоя коза?

– Как откуда? – сказал Забежкин. – Коза, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хотя бы даже гражданский, и как муж, в некотором роде...

– Да ты про какую козу брендишь-то? – рассердилась Домна Павловна. – Ты что, у телеграфиста купил ее?

– Как у телеграфиста? – испугался Забежкин. – Ваша коза, Домна Павловна.

– Нету, не моя коза... Коза телеграфистова. Да ты, прохвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?

– Как же, – бормотал Забежкин, – ваша коза. Ей-богу, ваша коза, Домна Павловна.

– Да ты что, опупел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу...

В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты. А Забежкин прилег на кровать да так и пролежал до утра не двигаясь.

## 8

Утром пришел к Забежкину телеграфист.

– Вот, – сказал телеграфист, не здороваясь, – Домна Павловна приказала, чтобы в двадцать четыре часа, иначе – судом и следствием.

– А я, – закричала из кухни Домна Павловна, – а я, так и передай ему, Иван Кириллыч, скотине этому, я и видеть его не желаю.

– А Домна Павловна, – сказал телеграфист, – и видеть вас не желает.

Домна Павловна кричала из кухни:

– Да посмотри, Иван Кириллыч, не прожог ли он матрац, сукин сын. Курил давеча. Был у меня один такой субчик – прожог. И перевернул, подлец, – не замечу, думает. Я у них, у подлецов, все кишки наскрозь вижу. Сволочь!..

– Извиняюсь, – сказал телеграфист Забежкину, – пересядьте на стул.

Забежкин печально пересел с кровати на стул.

– Куда же я перееду? – сказал Забежкин. – Мне и переехать-то некуда...

– Он, Домна Павловна, – говорит, – что ему и переехать некуда, – сказал телеграфист, осматривая матрац.

– А пушай, куда хочет, хоть кошке под хвост! Я в его жизнь не касаюсь.

Телеграфист Иван Кириллыч осмотрел матрац, заглянул, без всякой на то нужды, под кровать и, подмигнув Забежкину глазом, ушел.

Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда.

А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина. Агроном спросил:

– Куда? Куда это вы, молодой человек?

Забежкин тихо улыбнулся и сказал:

– Так, знаете ли... прогуляться...

Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра на синей подушке стояла одна пара сапог.

## 9

Так погиб Забежкин.

Когда против его фамилии значилось восемь галок, бухгалтер Иван Нажмуудинович сказал:

– Шабаш. Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов.

Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил – неизвестно.

Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке. На толчке. Забежкин продавал пальто.

Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей кацавейке. Был он не брит, и бороденка у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно!

Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:

– Чего за пальто хочешь?

И вдруг узнала – это Забежкин.

Забежкин потупился и сказал:

– Возьмите так, Домна Павловна.



– Нет, – ответила Домна Павловна, хмурясь, – мне не для себя нужно. Мне Иван Кириллычу нужно. У Ивана Кириллыча пальто зимнего нету... Так я не хочу, а вот что: денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи – будешь обедать по праздникам.

Пальто накинула на плечи и ушла.

В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.

– Ну, как, брат Забежкин? – спросил телеграфист.

– Ничего-с, Иван Кириллыч, терплю, – сказал Забежкин.

– Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтобы не терпеть. Терпи, брат Забежкин.

Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.

– А я-то думал, – сказал телеграфист, смеясь и подмигивая, – я-то, Домна Павловна, думал – чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вот куда сети закинул – коза.

Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:

– Ну, а сознайся, соврал ведь ты насчет глаз вообще?

– Соврал, Домна Павловна, соврал, – сказал Забежкин, вздыхая.

– Н-ну, иди, иди, – нахмурилась Домна Павловна, – не путайся тут!

Забежкин ушел.

И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллович хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:

– И как же это, брат Забежкин, ошибся ты?

– Ошибся, Иван Кириллыч...

Домна Павловна строго говорила:

– Оставь, Иван Кириллыч! Пушай ест. Пальто тоже денег стоит.

После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:

– Нынче был суп с луком и турнепс на второе...

Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку.

Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:

– Положь корку назад. Так! Пожрал, и до свиданья. К козе нечего шлаться!

– Пушай, – сказала Домна Павловна.

– Нет, Домна Павловна, моя коза! – ответил телеграфист. – Не позволю... Может, он мне козу испортит по злобе. Чего это он там с ней колдует?

Больше Забежкин обедать не приходил.

## **М. П. Синягин** **(Воспоминания о Мишеле Синягине)**

### **Предисловие**

Эта книга есть воспоминание об одном человеке, об одном, что ли, малоизвестном небольшом поэте, с которым автор сталкивался в течение целого ряда лет.

Судьба этого человека автора чрезвычайно поразила, и в силу этого автор решил написать такие, что ли, о нем воспоминания, такую, что ли, биографическую повесть, не в назидание потомству, а просто так.

Не все же писать биографии и мемуары о замечательных и великих людях, об их поучительной жизни и об их гениальных мыслях и достижениях. Кому-нибудь надо откликнуться и на переживания других, скажем, более средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни.

Причем жизнь таких людей, по мнению автора, тоже в достаточной мере бывает поучительна и любопытна. Все ошибки, промахи, страдания и радости ничуть не уменьшаются в своем размере от того, что человек, ну, скажем, не нарисовал на полотне какой-нибудь прелестный шедевр – «Девушка с кувшином», или не научился быстро ударять по рояльным клавишам, или, скажем, не отыскал для блага и спокойствия человечества какую-нибудь лишнюю звезду или комету на небосводе.

Напротив, жизнь таких обыкновенных людей еще более понятна, еще более достойна удивления, чем, скажем, какие-нибудь исключительные и необыкновенные поступки и чудачества гениального художника, пианиста или настройщика. Жизнь таких простых людей еще более интересна и еще более доступна пониманию.

Автор не хочет этим сказать, что вот сейчас вы увидите что-то такое исключительно интересное, поразительное по силе переживаний и страстям. Нет, это будет скромно прожитая жизнь, описанная к тому же несколько торопливо, небрежно и со многими погрешностями. Конечно, сколько возможно, автор старался, но для полного блеска описания не было у него такого, что ли, нужного спокойствия духа и любви к разным мелким предметам и переживаниям. Тут не будет спокойного дыхания человека уверенного и развязного, дыхания автора, судьба которого оберегается и лелеется золотым веком.

Тут не будет красоты фраз, смелости оборотов и восхищения перед величием природы.

Тут будет просто правдиво изложенная жизнь. К тому же, несколько суетливый характер автора, его беспокойство и внимание к другим мелочам заставляют его иной раз пренебречь плавным повествованием для того, чтобы разрешить тот или иной злободневный вопрос или то или иное сомнение.

Что касается заглавия книги, то автор согласен признать, что заглавие сухое и академическое – мало чего-нибудь дает уму и сердцу. Но автор оставляет это заглавие временно.

Автор хотел назвать эту книгу иначе, как-нибудь, например: «У жизни в лапах» или «Жизнь начинается послезавтра». Но и для этого у него не хватило уверенности и нахальства. К тому же, эти заглавия, вероятно, уже были в литературном обиходе, а для нового заглавия у автора не нашлось особого остроумия и изобретательности.

*Сентябрь 1930 г.*

## М. П. Синягин (Воспоминания о Мишеле Синягине)

*Через сто лет. О нашем времени.*

*О приспособляемости. О дуэлях.*

*О чулках. Пролог истории*

Вот в дальнейшем, лет этак, скажем, через сто или там немного меньше, когда все окончательно утрясется, установится, когда жизнь засияет несказанным блеском, какой-нибудь гражданин, какой-нибудь этакий гражданин с усиками, в этакое, что ли, замшевом песочном костюмчике или там, скажем, в вечерней шелковой пижаме, возьмет, предположим, нашу скромную книжку и приляжет с ней на кушетку. Он приляжет на сафьяновую кушетку или там, скажем, на какой-нибудь мягкий пуфик или козетку, обопрет свою душистую голову на чистые руки и, слегка задумавшись о прекрасных вещах, раскроет книгу.

– Интересно, – скажет он, кушая конфетки, – как это они там жили в свое время.

А его красивая молодая супруга – или там, скажем, подруга его жизни – тут же рядом сидит в своем каком-нибудь исключительном пеньюаре.

– Андреус (или там Теодор), – скажет она, запахивая свой пеньюар, – охота тебе, – скажет, – читать разную муру? Только, – скажет, – нервы себе треплешь на ночь глядя.

И сама, может, возьмет с полки какой-нибудь томик в пестром атласном переплете – стихи какого-нибудь там знаменитого поэта – и начнет читать:

В моем окне качалась лилия.

Я весь в бреду...

Любовь, любовь, моя Идиллия,

Я к вам приду...

Вот как представит себе автор на минутку такую акварельную картину, так и перо у него валится из рук – неохота писать, да и только.

Конечно, автор не утверждает, что именно такие сценки будут наблюдаться в будущей жизни. Нет, это как раз маловероятно. Это только минутное предположение. На это только полпроцента можно положить. А скорее всего, напротив того, будет очень такое, что ли, здоровое, сочное поколение. Этакие будут загорелые здоровяки, одевающиеся скромно, но просто, без особой претензии на роскошь и щегольство.

К тому же, может, такие паршивые лирические стишки они и читать-то вовсе не будут или будут их читать в исключительных случаях, предпочитая им наши прозаические книжки, которые будут брать в руки с полным душевным трепетом и с полным почтением к их авторам.

Однако, как подумает автор о таких настоящих читателях, так опять появляются затруднения, и снова перо вываливается из рук.

Ну, что автор может дать таким прекрасным читателям?

Сердечно признавая все величие нашего времени, автор, тем не менее, не в силах дать соответствующее произведение, полностью рисующее нашу эпоху. Может быть, автор растратил свои мозги на мелкие повседневные мещанские дела, на разные личные огорчения и заботы, но только ему не по силам такое обширное произведение, которое сколько-нибудь заинтересует будущих уважаемых читателей. Нет, уж лучше закрыть глаза на будущее и не думать о новых грядущих поколениях. Лучше уж писать для наших испытанных читателей.

Но тут опять являются сомнения, и перо валится из рук. В настоящее время, когда самая острая, нужная и даже необходимая тема – это колхоз, или там, скажем, отсутствие тары, или устройство силосов, – возможно, что просто нетактично писать так себе, вообще, о пережива-

ниях людей, которые, в сущности говоря, даже и не играют роли в сложном механизме наших дней. Читатель может просто обругать автора свиньей.

– Эва, – скажет, – глядите, чего еще один пишет. Описывает, холера, переживания. Глядите, – скажет, – сейчас, чего доброго, начнет про цветки поэмы навораживать.

Нет, про цветки автор писать не станет. Автор напишет повесть, по его мнению, даже весьма необходимую повесть, так сказать, подводящую итоги прошлой жизни, – повесть про одного не значительного поэта, который жил в наше время. Конечно, автор предвидит жесткую критику в этом смысле со стороны молодых и легкомысленных критиков, поверхностно глядящих на такие литературные факты.

Однако совесть у автора чиста. Автор не забывает и другой фронт и не гнушается писать о прогулах, о силосовании и о ликвидации неграмотности. И даже, напротив, такая скромная работа как раз по его плечу.

Но наряду с этим у автора имеется чрезвычайное стремление как можно скорей написать свои воспоминания об этом человеке, ибо в дальнейшем жизнь перешагнет его, и все забудется, и травой зарастет та тропинка, по которой прошел наш скромный герой, наш знакомый и, прямо скажем, наш родственник, М. П. Синягин.

И это последнее обстоятельство позволило автору видеть всю его жизнь, все мелочи его жизни и все события, развернувшиеся в последние годы. Вся личная его жизнь прошла, как на сцене, перед глазами автора.

Вот тут, который с усиками и в замшевом костюмчике, если не дай бог он проскользнет в будущее столетие, наверное, слегка удивится и заполощется на своей сафьяновой козетке.

– Милуша, – скажет он, поглаживая свои усишки, – интересно, – скажет. – У них, – скажет, – какая-то личная жизнь была.

– Андреус, – скажет она грудным голосом, – не мешай, – скажет, – за-ради бога, я стихи читаю...

А в самом деле, читатель, какой-нибудь этакий с усиками в его спокойное время прямо нипочем правильно не представит нашей жизни. Он, наверно, будет думать, что мы все время в землянках сидели, воробьев кушали и вели какую-нибудь немыслимую, дикую жизнь, полную ежедневных катастроф и ужасов.

Правда, надо прямо сказать, что многие и не имели так называемой личной жизни – они отдавали все силы и всю волю для ради своих идей и для стремления к цели.

Ну, а которые помельче, те, безусловно, ловчились, приспособливались и старались попасть в ногу со временем для того, чтобы прилично прожить и поплотнее покушать.

И жизнь шла своим чередом. Происходили любовь и ревность, и деторождение, и разные великие материнские чувства, и разные тому подобные прекрасные переживания. И мы ходили с девушками в кино. И катались на лодках. И пели под гитару. И кушали вафли с кремом. И носили модные носочки в полоску. И танцевали фокстрот под домашний рояль...

Нет, так называемая личная жизнь шла понемножку, как она всегда и при всех любых обстоятельствах идет.

И любители такой жизни по мере своих сил приспособливались и приноравливались.

Так сказать, каждая эпоха имеет свою психику. И в каждую эпоху, пока что, было одинаково легко и одинаково трудно жить.

Для примера, на что уж беспокойный век, ну, скажем, шестнадцатый. Нам издали поглядеть – так прямо немыслимым кажется. Чуть не каждый день в то время на дуэлях дрались. Гостей с башен сбрасывали. И ничего. Все в порядке вещей было.

Нам-то, с нашей психикой, прямо боязно представить себе подобную ихнюю жизнь. Для примера, какой-нибудь там ихний феодальный сукин сын, какой-нибудь там виконт или там бывший граф, идет, для примера, погулять.

Вот идет он погулять и, значит, шпагу сбоку прищипливает: мало ли, кто-нибудь его сейчас, боже сохрани, плечом пихнет или обругает трехэтажно – сразу надо драться. И ничего.

Идет на прогулку, и даже на морде никакой грусти или паники не написано. Напротив того, идет и даже, может быть, улыбается и насвистывает. Ну, жену небрежно на прощанье поцелует.

– Ну, – скажет, – машер, я того... пошел прогуляться.

И та – хоть бы хны.

– Ладно, – скажет, – не опоздай, – скажет, – к обеду.

Да в наше время жена бы рыдала и за ноги бы цеплялась, умоляя не выходить на улицу, или, в крайнем случае, просила бы обеспечить ей безбедное существование. А тут просто и безмятежно. Взял шпажонку, поточил ее, если она затупилась от прежней стычки, и пошел побродить до обеда, имея почти все шансы на дуэль или столкновение.

Надо сказать, если б автор жил в ту эпоху, его бы силой из дому не выкурили. Так бы всю жизнь и прожил бы взаперти вплоть до нашего времени.

Да, с нашей точки зрения, неинтересная была жизнь. А там этого не замечали и жили поплеывая. И даже ездили в гости к имеющим башни.

Так что в этом смысле человек очень великолепно устроен. Какая жизнь идет – в той он и прелестно живет. А которые не могут, те, безусловно, отходят в сторону и не путаются под ногами. В этом смысле жизнь имеет очень строгие законы, и не всякий может поперек пути ложиться и иметь разногласия.

Так вот, сейчас перейдем к главному описанию, из-за чего, собственно, и началась эта книга. Автор извиняется, если он чего-нибудь лишнее сболтнул, не идущее к делу. Уж очень все такие нужные моменты и вопросы, требующие немедленного разрешения.

А что до психики, так это очень верно. Это вполне историей проверено.

Так вот, сейчас со спокойной совестью мы перейдем к воспоминаниям о человеке, который жил в начале двадцатого века.

По ходу повествования автор принужден будет касаться многих тяжелых вещей, грустных переживаний, лишений и нужды.

Но автор просит не выносить об этом поспешного заключения.

Некоторые нытики способны будут все невзгоды приписать только революции, которая происходила в то время.

Очень, знаете, странно, но тут дело не только в революции. Правда, революция сбила этого человека с позиции. Но тут, как бы сказать, во все времена возможна и вероятна такая жизнь. Автор подозревает, что такие именно воспоминания могли быть написаны о каком-нибудь другом человеке, жившем в другую эпоху.

Автор просит отметить это обстоятельство.

Вот у автора был сосед по комнате. Бывший учитель рисования. Он спился. И влачил жалкую и неподобающую жизнь. Так этот учитель всегда любил говорить:

– Меня, – говорит, – не революция подпилила. Если б и не было революции, я бы все равно спился или бы проворовался, или бы меня на войне подстрелили, или бы в плену морду свернули на сторону. Я, – говорит, – заранее знал, на что иду и какая мне жизнь предстоит.

И это были золотые слова.

Автор не делает из этого мелодрамы. Нет, автор уверен в победном шествии жизни, вполне годной для того, чтобы прожить припеваючи. Уж очень много людей об этом думает и ломает себе головы, стараясь потрафить человеку в этом смысле.

Конечно, еще, так сказать, пролог истории. Еще жизнь не утряслась. Говорят, люди двести лет назад чулки-то только стали впервые носить.

Так что все в порядке. Хорошая жизнь приближается.

*Рождение героя. Молодость.  
Созерцательное настроение. Любовь к красоте.  
О нежных душах. Об Эрмитаже  
и о замечательной скифской вазе*

Михаил Поликарпович Синягин родился в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году в имении Паньково Смоленской губернии.

Мать его была дворянка, а отец почетный гражданин.

Но поскольку автор был моложе М. П. Синягина лет на десять, то ничего такого путного автор и не может сказать об его молодых годах, вплоть до тысяча девятьсот шестнадцатого года.

Но поскольку его всегда – и даже в сорок лет – называли Мишелем, было видно, что он имел нежное детство, внимание, любовь и душевную ласку. Его называли Мишелем – и верно, его нельзя было назвать иначе. Все другие грубые наименования мало шли к его лицу, к его тонкой фигуре и к его изящным движениям, исполненным грации, достоинства и чувства ритма.

Кажется, что он окончил гимназию и, кажется, два или три года он еще где-то такое проучился. Образование у него было во всяком случае самое незаурядное.

В тысяча девятьсот шестнадцатом году автор, с высоты своих восемнадцати лет, находясь с ним в одном и том же городе, невольно наблюдал его жизнь и был, так сказать, очевидцем многих важных и значительных перемен и событий.

М. П. Синягин не был на фронте по случаю ущемления грыжи. И в конце Европейской войны он слонялся по городу в своем штатском макинтоше, имея цветок в петлице и изящный, со слоновой ручкой, стек в руках.

Он ходил по улицам всегда несколько печальный и томный, в полном одиночестве, бормоча про себя стишки, которые он в изобилии сочинял, имея все же порядочное дарование, вкус и тонкое чутье ко всему красивому и изящному.

Его восхищали картины печальной и однообразной псковской природы, березки, реки и разные мошки, кружащиеся над цветочными клумбами.

Он уходил за город и, сняв шляпу, с тонкой и понимающей улыбкой следил за игрой птичек и комариков.

Или глядел на движущиеся тучные облака и, закинув голову, тут же сочинял на них соответствующие рифмы и стихи.

В те годы было еще порядочное количество людей высокообразованных и интеллигентных, с тонкой душевной организацией и нежной любовью к красоте и к разным изобразительным искусствам.

Надо прямо сказать, что в нашей стране всегда была исключительная интеллигентская прослойка, к которой охотно прислушивалась вся Европа и даже весь мир.

И верно, это были очень такие тонкие ценители искусства и балета, и авторы многих замечательных произведений, и вдохновители многих отличных дел и великих учений.

Это не были спецы с точки зрения нашего понимания.

Это были просто интеллигентные, возвышенные люди. Многие из них имели нежные души. А некоторые просто даже плакали при виде лишнего цветка на клумбе или прыгающего на навозной куче воробушка.

Дело прошлое, но, конечно, надо сказать, что в этом была даже некоторая какая-то такая ненормальность. И такой пышный расцвет, безусловно, был за счет чего-то такого другого.

Автор не владеет искусством диалектики и незнаком с разными научными теориями и течениями, так что не берется в этом смысле отыскивать причины и следствия. Но, грубо рассуждая, можно, конечно, кое до чего докопаться.

Если, предположим, в одной семье три сына. И если, предположим, одного сына обучать, кормить бутербродами с маслом, давать какао, мыть ежедневно в ванне и бриолином голову причесывать, а другим братьям давать пустяки и урезывать их во всех ихних потребностях, то первый сын очень свободно может далеко шагнуть и в своем образовании, и в своих душевных качествах. Он и стишки начнет загибать, и перед воробушками умиляться, и говорить о разных возвышенных предметах.

Вот автор недавно был в Эрмитаже. Глядел скифский отдел. И там есть одна такая замечательная, прочная ваза. И лет ей, – говорят, – этой вазе, чего-то такое, если не врут, больше как две тысячи. Такая шикарная золотая ваза. Очень исключительной тонкой скифской работы. Неизвестно, собственно, для чего ее скифы изготовили. Может, там для молока или полевые цветы туда ставить, чтоб скифский король нюхал. Неизвестно, ученые не выяснили. А нашли эту вазу в кургане.

Так вот, на этой вазе автор вдруг увидел рисунки – сидят скифские мужики. Один мужичонка-середняк сидит, другой ему зуб пальцами выковыривает, третий лаптишки себе поправляет. Автор поглядел поближе – батюшки светы! Ну, прямо наши дореволюционные мужики. Ну, скажем, тысяча девятьсот тринадцатого года. Даже костюмы те же – такие широкие рубахи, подпояски. Длинные спутанные бороды.

Автору даже как-то не по себе стало. Что за черт. Смотрит в каталог – вазе две тысячи лет. На рисунки поглядишь – лет на полторы тысячи поменьше. Либо, значит, сплошное жульничество со стороны научных работников Эрмитажа, либо такие костюмчики и лапти так и сохранились вплоть до нашей революции.

Всеми этими разговорами автор, конечно, нисколько не хочет унижить бывшую интеллигентскую прослойку, о которой шла речь. Нет, тут просто выяснить хочется, как и чего, и на чьей совести камень лежит.

А прослойка, надо сознаться, была просто хороша, ничего против не скажешь.

Что касается М. П. Синягина, то автор, конечно, и не хочет его равнять с теми, о ком говорилось. Но все-таки это был человек тоже в достаточной степени интеллигентный и возвышенный. Он многое понимал, любил красивые безделушки и поминутно восторгался художественным словом. Он сильно любил таких прекрасных, отличных поэтов и прозаиков, как Фет, Блок, Надсон и Есенин.

И в своем собственном творчестве, не отличаясь исключительной оригинальностью, он был под сильным влиянием этих славных поэтов. И в особенности, конечно, под влиянием исключительно гениального поэта тех лет А. А. Блока.

*Мать и тетка М. П. Синягина. Ихнее прошлое.*

*Покупка имения. Жизнь в Пскове. Тучи собираются.*

*Характер и наклонности тетки М. А. Ар-вой.*

*Встреча с Л. Н. Толстым. Стихи поэта.*

*Его душевное настроение. Увлечение*

Мишель Синягин жил со своей мамашей, Анной Аркадьевной Синягиной, и с ее сестрицей, Марьей Аркадьевной, о которой в дальнейшем будет особая речь, особое описание и характеристика, в силу того, что эта почтенная дама и вдова генерала Ар-ва играет немаловажную роль в нашем повествовании.

Итак, в тысяча девятьсот семнадцатом году они втроем проживали в Пскове как случайные гости, застрявшие в этом небольшом славном городишке по причинам, не от них зависящим.

Во время войны они приехали сюда для того, чтобы поселиться у своей сестры и тетки, Марьи Аркадьевны, которая по случаю приобрела неподалеку от Пскова небольшое имение.

В этом имении обе старушки и хотели скоротать свой век вблизи с природой, в полной тишине и покое, после довольно бурно и весело проведенной жизни.

Это злополучное имение и было названо соответствующим образом – Затишье.

А Мишель, этот довольно грустноватый молодой человек, склонный к неопределенной меланхолии и несколько утомленный своей поэтической работой и шумом столичной жизни, с ее ресторанами и певицами и мордобоем, также хотел некоторое время спокойно пожить в тиши, для того чтоб набраться сил и снова пуститься во все тяжкие.

Все, однако, сложилось иначе, чем было задумано.

Затишье было куплено перед самой революцией, что-то месяца за два, так что семейство не успело даже туда перебраться со своими вещами и сундуками. И эти сундуки, перины, диваны и кровати временно и наспех были сложены на городской квартире у псковских знакомых. И именно в этой квартире в дальнейшем и пришлось прожить несколько лет Мишелю со своей престарелой мамашей и теткой.

Отличаясь свободомыслием и имея некоторую, что ли, тенденцию и любовь к революциям, обе старушки не очень обезумели по случаю революционного переворота и изъятия имений от помещиков. Однако младшая сестрица, Марья Аркадьевна, всадившая в это дело около шестидесяти тысяч капитала, все же иной раз охала и приседала, и говорила, что это черт знает что такое, поскольку нельзя въехать в имение, купленное на собственные кровные деньги.

Анна Аркадьевна, мать Мишеля, была довольно незаметная дама. Она ничем таким особенным не проявила себя в своей жизни, исключая рождения поэта.

Это была довольно тихая, малосварливая старушка, любящая сидеть у самовара и кушать кофе со сливками.

Что касается Марьи Аркадьевны, то эта дама была уже в другом роде.

Автор не имел удовольствия видеть ее в молодые годы, однако было известно, что она была до чрезвычайности миленькая и симпатичная девица, полная жизни, огня и темперамента.

Но в те годы, о которых идет речь, это была уже бесформенная старушка, скорее безобразная, чем красивая, однако еще очень подвижная и энергичная.

В этом смысле на ней сказалась ее бывшая профессия. В молодые годы она была балериной и работала в кордебалете Мариинского театра.

Она была в некотором роде даже знаменитостью, поскольку ею увлекался бывший великий князь Николай Николаевич. Правда, он вскоре ее оставил, подарив ей какой-то особый кротовый палантин, бусы и еще чего-то такое. Но начатая карьера ее была сделана.

Обе эти старушки в дальнейшем будут играть довольно видную роль в жизни Мишеля Синягина, так что пускай читатель не принимает близко к сердцу и не сердится, что автор останавливается на описании таких, что ли, дряхловатых и отцветших героинь.

Поэтическая атмосфера в доме, благодаря Мишелю, несколько отозвалась и на наших дамах. И Марья Аркадьевна любила говорить, что она вскоре приступит к своим мемуарам.

Ее бурная жизнь и встреча со многими известными людьми стоила того. Она самолично будто бы два раза видела Л. Н. Толстого, Надсона, Кони, Переверзева и других знаменитых людей, о которых она и хотела поведать миру свои соображения.

Итак, перед началом революции семья приехала в Псков и там застряла на три года. М. П. Синягин всякий день говорил, что он ни за что не намерен торчать здесь и что при первой возможности он уедет в Москву или Ленинград. Однако последующие события и перемены жизни значительно отдалили этот отъезд.

И наш Мишель Синягин продолжал свою жизнь под псковским небом, занимаясь пока что своими стихами и своим временным увлечением одной местной девушкой, которой он в изобилии посвящал свои стихи.



Конечно, эти стихи не были отмечены гениальностью, они не были даже в достаточной мере оригинальны, но свежесть чувства и бесхитростный несложный стиль делали их заметными в общем котле стихов того времени.

Автор не помнит этих стихов. Жизнь, заботы и огорчения изгнали из памяти изящные строчки и поэтические рифмы, но какие-то отрывки и отдельные строфы запомнились в силу их неподдельного чувства.

Лепестки и незабудки  
Осыпались за окном...

Автор не запомнил всего этого стихотворения «Осень», но помнится, что конец его был полон гражданской грусти:

Ах, скажите же, зачем,  
Отчего в природе  
Так устроено? И тем  
Счастья в жизни нет совсем...

Другое стихотворение Мишеля говорило о его любви к природе и ее бурным стихийным проявлениям:

### Гроза

Гроза прошла,  
И ветки белых роз  
В окно мне дышат  
Дивным ароматом.  
Еще трава полна  
Прозрачных слез,  
А гром гремит вдали  
Раскатом.

Это стихотворение было разучено всей семьей, и старые дамы ежедневно нараспев повторяли его автору.

А когда приходили гости, Анна Аркадьевна Синягина волокла их в комнату Мишеля и там, показывая на письменный стол карельской березы, вздыхала и с увлажненными глазами говорила:

– Вот за этим столом Мишель написал свои лучшие вещи: «Гроза», «Лепестки и незабудки» и «Дамы, дамы».

– Мамаша, – говорил вспыхивая Мишель, – бросьте.

Гости покачивали головами и, не то одобряя, не то огорчаясь, трогали пальцами стол и неопределенно говорили: «Н-да, ничего себе».

Некоторые же меркантильные души тут же спрашивали, за сколько куплен этот стол, и тем самым переводили разговор на другие рельсы, менее приятные для матери и Мишеля.

Поэт отдавал внимание и женщинам, однако, находясь под сильным влиянием знаменитых поэтов того времени, он не бросал свои чувства какой-нибудь отдельной женщине. Он любил нереально какую-то неизвестную женщину, блестящую в своей красоте и таинственности.

Одно прелестное стихотворение «Дамы, дамы, отчего мне на вас глядеть приятно» отлично раскрывало это отношение. Это стихотворение заканчивалось так:

Оттого-то незнакомкой я люблюсь. А когда  
Эта наша незнакомка познакомится со мной,  
Неохота мне глядеть на знакомое лицо,  
Неохота ей давать обручальное кольцо...

Тем не менее, поэт увлекся одной определенной девушкой, и в этом смысле его поэтический гений шел несколько вразрез с его житейскими потребностями.

Однако справедливость требует отметить, что Мишель тяготился своим земным увлечением, находя его несколько вульгарным и мелким. Его главным образом пугало, как бы его не окрутили и как бы его не заставили жениться, и тем самым не снизили бы его до простых, повседневных поступков.

Мишель рассчитывал на другую, более исключительную судьбу. И о своей будущей жене он мечтал как о какой-то удивительной даме, вовсе не похожей на псковских девушек.

Он не представлял в точности, какая у него будет жена, но, думая об этом, он мысленно видел каких-то собачек, какие-то меха, сбруи и экипажи. Она выходит из экипажа, и лакей, почтительно кланяясь, открывает дверцы.

Девушка же, которой он увлекся, была более простенькая девушка. Это была Симочка М., окончившая в тот год псковскую гимназию.

*Увлечение. Короткое счастье.*

*Страстная любовь к поэту.*

*Вдова и ее характеристика.*

*Неожиданный визит. Некрасивая сцена.*

*Согласие на брак*

Относясь несколько небрежно к Симочке, Мишель все же порядочно был увлечен ею, ни на минуту, впрочем, не допуская мысли, что он может жениться на ней.

Это было простое увлечение, это была несерьезная и, так сказать, черновая любовь, которой и не следовало бы забивать своего сердца.

Симочка была миленькая и даже славненькая девушка, личико которой, к сожалению, чрезмерно было осыпано веснушками.

Но, поскольку она не входила глубоко в жизнь Мишеля, он и не протестовал против этого и даже находил это весьма милым и нелишним.

Они оба уходили в лес или в поле и там нараспев читали стихи или бегали взапуски, как дети, резвясь и восторгаясь солнцем и ароматом.

Тем не менее, в одно прекрасное время Симочка почувствовала себя матерью, о чем и сообщила своему другу. Она любила его первым девичьим чувством и даже могла подолгу глядеть на его лицо не отрываясь.

Она страстно и трогательно любила его, отлично понимая, что он ей, провинциальной девушке, не пара.

Известие, сообщенное Симочкой, глубоко ошеломило и даже напугало Мишеля. Он не столько боялся Симочки, сколько он боялся ее матери, известной в городе гр. М., очень энергичной живой вдовы, отягченной большой семьей. У нее было что-то около шести дочерей, которых она довольно успешно и энергично устраивала замуж, идя ради этого на всевозможные хитрости, угрозы и даже оскорбления действием.

Это была очень такая смуглая, несколько рябая дама. Несмотря на это, все девочки у нее были белокурые и даже скорей белобрысенькие, похожие, вероятно, на отца, умершего два года назад от сапа.

В то время не было еще алиментов и брачных льгот, и Мишель с ужасом думал о возможных последствиях.

Он решительно не мог жениться на ней. Он не о такой мечтал жене, и не на такую провинциальную жизнь он рассчитывал.

Ему казалось все это временным, случайным и преходящим. И что вскоре начнется другая жизнь, полная славных радостей, восторгов, подвигов и начинаний.

И, глядя на свою подругу, он думал, что она ни в каком случае не должна быть его женой – эта белобрысенькая девушка с веснушками. Кроме того, он знал ее старших сестер – все они, выходя замуж, быстро увядали и старели, и это также было не по душе поэту.

Он уже хотел смотать удочки и выехать в Ленинград, но последующие события задержали его в Пскове.

Смуглая и рябая дама, вдова М., пришла к нему на квартиру и потребовала, чтоб он женился на ее дочери.

Она пришла в тот день и в тот час, когда в квартире никого не было, и Мишель волею-неволей должен был единолично принять на себя весь удар.

Она пришла к нему в комнату и сначала даже несколько сконфуженно и робко поведала о цели своего посещения.

Скромный, мечтательный и деликатный поэт сначала также вежливо пытался возражать ей, но все слова его были малоубедительны и не доходили до сознания энергичной дамы.

Вскоре вежливый тон сменился на более энергичный. Последовали жесты и даже безобразные слова и крики. Оба кричали одновременно, стараясь заглушить друг друга и тем самым морально подавить волю и энергию.

Вдова М. сидела в кресле, но, разгорячившись, начала крупно шагать по комнате, двигая для большей убедительности стулья, этажерки и даже тяжелые сундуки. Мишель, как утопающий, старался выбраться из пучины и, не сдаваясь, орал и старался даже физически оттеснять вдову в другую комнату и в прихожую.

Но вдова и любящая, энергичная мать неожиданно вдруг вскочила на подоконник и торжественным голосом сказала, что вот сейчас она выпрыгнет из окна на Соборную улицу и погибнет как собака, если он не даст своего согласия на этот брак. И, раскрыв окно, она моталась на подоконнике, рискуя каждую минуту свалиться вниз.

Мишель стоял ошеломленный и, не зная что делать, то подбегал к ней, то к столу, то бросался, схватившись за голову, в коридор, чтоб позвать на помощь.

Уже внизу, на улице, стали собираться люди, показывая пальцами и высказывая самые смелые предположения по поводу кричащей и прыгающей на окне дамы.

Гнев, оскорбление, страх скандала и ужас сковали Мишеля, и он стоял теперь, подавленный столь энергическим характером этой дамы.

Он стоял у стола и с ужасом наблюдал за своей гостьей, которая пронзительно, как торговка, визжала и требовала положительного ответа.

Ее ноги скользили по подоконнику, и каждое неосторожное движение могло вызвать ее падение со второго этажа.

Была чудная августовская погода. Солнце блестело с синего неба. Зайчик на стене прыгал от раскрытого окна. Все было знакомо и прекрасно в своей милой повседневности, и только кричащая и визжащая дама нарушала обычный ход вещей. И, волнуясь и умоляя прекратить выкрики, Мишель дал свое согласие на брак с Симочкой.

Мадам немедленно и охотно сошла тогда с окна и тихим голосом просила его извинить за ее несколько, может быть, шумное поведение, говоря при этом о своих материнских чувствах и ощущениях.

Она поцеловала Мишеля в щеку и, назвав его своим сыном, всхлипнула при этом от неподдельности своих чувств.

Мишель стоял как в воду опущенный, не зная, что сказать и что сделать и как выпутаться из беды. Он проводил вдову до дверей и, подавленный ее волей, поцеловал даже неожиданно для себя ее руку и, окончательно смешавшись, попрощался до скорого свидания, лепеча какие-то отдельные слова, мало идущие к делу.

Вдова молча, торжественно и сияя покинула дом, предварительно попудрившись и подрисовав сбитые на сторону брови.

*Нервное потрясение. Литературное наследство.*

*Свидание. Свадьба. Отъезд тетки Марьи.*

*Кончина матери. Рождение ребенка.*

*Отъезд Мишеля*

В тот злосчастный день вечером, после ухода незваной гостьи, Мишель написал свое известное стихотворение, впоследствии переложенное на музыку: «Сосны, сосны, ответьте мне...»

Это его несколько успокоило, однако потрясение было настолько значительное и серьезное, что ночью Мишель почувствовал сильное сердцебиение, безотчетный страх, тошноту и головокружение.

Думая, что помирает, с трясущимися руками, в одних подштанниках, поэт вскочил с кровати и, хватаясь за сердце, с тоской и страхом разбудил свою мамашу и тетку, которые не были еще посвящены в эту историю. И, ничего не объясняя, он начал лепетать о смерти и о том, что он хочет отдать свои последние распоряжения по поводу рукописей. Он, качаясь, подошел к столу и начал вытаскивать груды рукописей, перебирая их, сортируя и указывая, что, по его мнению, следовало бы издать и что следует отложить на будущие времена.

Обе немолодые дамы, отвыкшие от ночных походов, в нижних юбках и с распущенными волосами, с тоской мотались по комнате и, заламывая руки, пытались уговорить и даже силой уложить Мишеля в постель, считая нужным поставить ему компресс на сердце или смазать йодом бок и тем самым оттянуть кровь, бросившуюся в голову. Но Мишель, прося не тревожиться за свою, в сущности, ничтожную жизнь, велел лучше запоминать то, что он говорит по поводу своего литературного наследства.

Разобрав рукописи, Мишель, бегая по комнате в своих подштанниках, начал диктовать тетке Марье Аркадьевне новый вариант «Лепестков и незабудок», который он не успел еще переложить на бумагу.

Плача и захлебываясь слезами, тетка Марья, при свете свечи, марала бумагу, путая и перевирая строфы и рифмы.

Лихорадочная работа несколько отвлекла Мишеля от его заболевания. Сердцебиение продолжалось, но было более умеренно, и головокружение сменилось полной сонливостью и апатией. И Мишель, неожиданно для всех, тихо заснул, прикорнув в кресле.

Прикрыв его пледом и перекрестив, старые дамы удалились, страшась за столь нервный организм и неуравновешенную психику поэта.

На другой день Мишель встал освеженный и бодрый. Но вчерашний страх не покидал его, и он поведал о своих потрясениях своим родственникам.

Драмы и слезы были в полном разгаре, когда пришла записка от Симочки, умолявшей его о свидании.

Он пошел на это свидание, надменный и сдержанный, не думая, впрочем, в силу некоторой своей порядочности, ловчиться и отлынивать от обещаний.

Влюбленная женщина умоляла его простить недостойное поведение ее матери, говоря, что она лично хотя и мечтала связать свою жизнь с ним, но никогда не рискнула бы пойти на такие нахальные требования.

Мишель сдержанно сказал, что он сделает то, что обещано, но что на дальнейшую совместную жизнь он не дает гарантии. Может, он проживет в Пскове год или два, но в конце концов он, скорее всего, уедет в Москву или Ленинград, где он и намерен продолжать свою карьеру, или, во всяком случае, будет там искать соответствующей жизни, удовлетворяющей его потребностям.

Не оскорбляя девушку словами, Мишель все же дал ей понять разницу в их если и не положении, которое уравнилось революцией, то, во всяком случае, назначении жизни.

Влюбленная молодая дама, соглашаясь во всем, восторженно глядела на его лицо и говорила, что она ничем не хочет связывать его жизни, что он волен поступать так, как ему заблагорассудится. Несколько успокоенный в этом смысле, Мишель сам даже стал говорить, что брак этот – решенное дело, но что когда он произойдет, он еще не может сказать.

Они расстались, как и прежде, скорее дружески, чем враждебно. И Мишель спокойным шагом побрел домой, несмотря на то что рана в его душе не могла зажить так скоро.

Мишель женился на Симочке М. примерно через полгода, зимой, в январе.

Предстоящий брак чрезвычайно подействовал на здоровье матери Мишеля. Она начала жаловаться на скуку жизни и пустоту и на глазах чахла и хирела, почти не вставая из-за самовара. Понятие о браке было в то время несколько иное, чем теперь, и это был шаг, по мнению старых женщин, единственный, решительный и освященный таинством.

Тетка Марья также была потрясена. Причем она как-то даже оскорбилась подобным ходом дела и уже все более часто говорила, что ей здесь не место, что она в ближайшее время поедет в Ленинград, где и приступит к своим мемуарам и описаниям встреч.

Мишель, несколько сконфуженный всеми делами, угрюмый ходил по комнатам, говоря, что если б не данное слово, он наплевал бы на все и уехал бы куда глаза глядят. Но во всяком случае пусть все знают, что этот брак не связывает его: он хозяин своей жизни, он не отступает от своих планов и, вероятно, через полгода или год поедет вслед за теткой.

Свадьба была сыграна скромно и просто.

Они записались в комиссариате, после чего в церкви Преображения было устроено скромное венчание. Все родственники с обеих сторон ходили сдержанные и как бы по-разному оскорбленные в своих чувствах. И только вдова М., напудренная и подкрашенная, колбасилась в своей вуали по церкви и по квартире Мишеля, в которой и был устроен свадебный ужин.

Вдова одна за всех говорила за столом, провозглашала тосты и спичи и осыпала старух комплиментами, всячески поддерживая этим веселое расположение духа и приличный тон свадьбы.

Молодая краснела за свою мать – и за ее рябоватое лицо, и за ее пронзительный, не дававший никому спуска голос, и, опустив голову, сидела за своим прибором.

Мишель за весь вечер не терял своей сдержанности, однако его точили тоска и мысли о том, что его все же, чего бы там ни говорили, опутали как сукинова сына. И что эта арапская женщина взяла его на испуг, тем более что навряд ли она кинулась бы из окна.

И в конце ужина, криво усмехаясь, он, после поздравлений и любезностей, спросил вдову об этом, наклонившись к ее уху:

– А ведь вы бы не прыгнули из окна, Елена Борисовна, – сказал он.

Вдова успокаивала его, как могла, говоря и давая торжественные клятвы в том, что она несомненно и скорее всего прыгнула бы, если б он не дал своего согласия. Но под конец, разо-

зленная его кривыми улыбочками, сердито сказала, что у ней шесть дочерей и если из-за каждой она начнет из окон прыгать, то и окон для этого не хватит в помещении.

Мишель пугливо смотрел на ее алое, оскорбленное лицо и, смешавшись, отошел в сторону.

– Все ложь, форменный эгоизм и обман, – бормотал Мишель, с краской в лице вспоминая подробности.

Вечер все же прошел прилично и не оскорбительно для гостей, и началась повседневная жизнь с разговорами об отъезде, о лучшей жизни и о том, что в этом городе невозможно сколько-нибудь прилично устроить свою судьбу, принимая во внимание революционную грозу, которая все более и более разгоралась.

В ту весну, наконец, собравшись, уехала в Ленинград тетка Марья Аркадьевна и вскоре оттуда прислала отчаянное письмо, в котором извещала, что в дороге ее обокрали, унеся ее саквояж с частью драгоценностей.

Письмо было несвязное и запутанное – видимо, это потрясение сильно подействовало на немолодую даму.

К этому времени тихо и неожиданно скончалась мать Мишеля, не успев даже ни с кем проститься и отдать свои последние распоряжения.

Все это сильно подействовало на Мишеля, который стал какой-то тихий, робкий и даже пугливый. Были пролиты слезы, но это событие вскоре заслонило другим.

У Симочки родился щупленький, но милый ребенок, и новое, неиспытанное отцовское чувство несколько захватило Мишеля.

Однако это недолго продолжалось, и он снова начал поговаривать об отъезде, уже более реально и решительно.

И осенью, получив от тетки Марьи новое письмо, которое он никому не показал, Мишель быстро стал собираться, говоря, что он обеспечивает свою жену и ребенка всем движимым имуществом, оставляя его в их полную собственность.

Молодая дама, по-прежнему, а может, даже и более, влюбленная в своего супруга, с ужасом слушала его слова, но не смела его удерживать, говоря, что он волен поступать, как ему хочется.

Она его любит по-прежнему и несмотря ни на что, и пусть он знает, что тут, в Пскове, остается верный ему человек, готовый следовать за ним по пятам и в Ленинград и в ссылку.

Пугаясь, как бы она не увязалась за ним в Ленинград, Мишель переводил разговор на другие темы, но молодая дама, рыдая, продолжала говорить о своей любви и самопожертвовании.

Да, она ему не пара, она всегда это знала, но если когда-нибудь он будет старый, безногий, если когда-нибудь он ослепнет или будет сослан в Сибирь, – тогда он может позвать ее, и она с радостью отзовется на его приглашение.

Да, она даже хотела бы для него беды и несчастья – это их уравнило бы в жизни.

Мучаясь от жалости и проклиная себя за малодушие и такие разговоры, Мишель стал поторапливаться с отъездом.

В эту пору объяснений и слез Мишель написал новое стихотворение «Нет, не удерживай меня, младая дева» и стал быстро и торопливо укладывать свои чемоданы.

Он недолго вкушал семейное счастье и в одно прекрасное утро, достав разрешение на выезд, отбыл в Ленинград с двумя небольшими чемоданами и корзинкой.

*Новые планы. Несчастье тетки Марьи.*

*Мишель поступает на службу. Новая комната.*

*Новая любовь. Неожиданная катастрофа.*

*Серьезная болезнь тетки*

Мишель приехал в Ленинград и поселился на Фонтанке, угол Невского.

Он временно поселился в теткиной комнате за ширмой. Однако ему твердо была обещана отдельная комната, как только кто-нибудь из жильцов помрет.

Но Мишель и не очень торопился с этим. Другие идеи и планы теснились в его голове.

Он приехал в Ленинград примерно за год или за два до нэпа. Революция была в полном разгаре. Голод и разруха, так сказать, сжимали город в своих цепких объятиях. И, казалось, было странным приезжать в эту пору и искать лучшей жизни и карьеры. Но на это были свои причины.

В присланном письме тетка Марья со своей беспечностью извещала Мишеля, что, вероятно, в ближайшие месяцы город Ленинград отойдет к Финляндии или к Англии и будет объявлен вольным городом. В ту пору такие слухи ходили среди населения, и Мишель, взволнованный этим извещением, поторопился приехать.

Тетка, кроме того, извещала, что она отнюдь не переменила своих либеральных убеждений и не идет против революции, но поскольку революция продолжается так долго и вот уже третий год, как ей не отдают имения, то это просто ни на что не похоже, и в таком случае им самим необходимо предпринять решительные шаги.

Итак, в силу этого, Мишель прибыл в Ленинград и поселился на Фонтанке.

Он нашел тетку чрезвычайно изменившейся. Он просто не узнал ее.

Это была весьма похудевшая старуха с отвисшей челюстью и блуждающим взором.

Тетка поведала ему, что ее за это время дважды обчистили. Первый раз в поезде и второй раз здесь на квартире. К ней под видом обыска пришли просто какие-то мазурики и, предъявив фальшивый мандат, унесли почти все оставшиеся драгоценности.

Когда-то веселая и живая дама стала тихой, дрябловатой и нелюбопытной старухой. Она по большей части лежала теперь на своей кровати и неохотно вступала в разговор даже с Мишелем. А если и начинала говорить, то сводила разговор, главным образом, на свои кражи, волнуясь при этом и неся какую-то явную окошечницу.

Однако тетка не была в нужде. На ее шее была прекрасная массивная цепь с золотым лорнетом. На пальцах ее были нанизаны разные кольца и караты, и имущества в комнате было слишком достаточно.

Время от времени тетка Марья продавала на базаре ту или иную вещь и жила довольно прекрасно, помогая при этом Мишелю, который ничего не имел и не предполагал иметь.

Слухи о вольном городе оставались ни на чем не обоснованными слухами. И в силу этого приходилось подумывать о более оседлой жизни и о будущей судьбе.

И Мишель, записавшись ни биржу труда, вскоре получил назначение на работу.

Он получил назначение во Дворец Труда. И в силу того, что он не имел никакой специальности и, в сущности, не умел ничего делать, ему дали мелкую бестолковую работу в справочном отделении.

Такая работа, конечно, не могла удовлетворить духовных и поэтических запросов Мишеля. Больше того: он был несколько даже сконфужен и даже обижен такой работой, более пригодной для молодой беспечной девицы. Давать справки и указания, где какая комната расположена и где какой работает товарищ, – это было просто смешно, несерьезно и даже форменным образом оскорбительно для его мужского достоинства.

Однако в ту пору нельзя было быть слишком разборчивым, и Мишель нес свои обязанности, неясно надеясь на какие-то перемены и улучшения. К этому времени Мишель получил в квартире комнату, которая неожиданно очистилась благодаря отъезду за границу одного известного поэта Х.

Это была прелестная небольшая комната, тоже с видом на Фонтанку и Невский.

Это обстоятельство окрылило Мишеля, и поэт сделал даже несколько стихотворных набросков, освежив этим свое угасавшее творчество.

Получая паек и небольшую помощь от тетки, он уже довольно прилично себя чувствовал и стал ходить по гостям, найдя в городе кое-каких бывших своих знакомых и товарищей.

В эту зиму было получено два письма от Симочки.

Эти письма взволновали Мишеля, но, мучась от жалости к ней, он все же решил не отвечать на них, находя более правильным не морочить голову молодой женщине и не давать ей неопределенных надежд.

И он продолжал свою жизнь, отыскивая в ней новые радости.

В ту пору он сошелся с очень такой исключительной, красивой женщиной, несколько, правда, развязной в своих движениях и поступках.

Это была некая Изабелла Ефремовна Крюкова – очень красивая, элегантная женщина, совершенно неопределенной профессии и даже, кажется, не член профсоюза.

Эта связь доставила Мишелю много новых беспокойств и тревог.

Не имея средств для приличной жизни, Мишель сколько возможно тянул со своей тетки, которая с каждым днем делалась все более угрюмой, нелюбезной и неохотно пускала в комнату Мишеля. И всякий раз беспокойно следила за его движениями во время визита, видимо побаиваясь, как бы он чего не спер.

Она давала ему незначительные подачки, и Мишелю приходилось убеждать, кричать, даже ругать тетку, обзывая ее скупердядкой, держимордой и сволочью.

Около года продолжалась такая беспокойная жизнь.

Красивая возлюбленная приходила к Мишелю на своих французских каблучках и требовала все новых и новых расходов. Поэту приходилось изворачиваться и ломать себе голову в поисках доходов.

Мишель продолжал нести свою службу, к которой он относился все более небрежно и халатно. Он неохотно давал теперь справки, кричал на посетителей и даже в раздражении иной раз топал на них ногами, посылая более назойливых к чертям собачьим и дальше.

Он особенно не любил грязных и неуклюжих мужиков, которые приходили за справками, путая, перевирая и неточно излагая свои мысли.

Мишель грубо орал на них, называя их сиволапыми олухами, и морщился от запаха нищеты, некрасивых лиц и грубой одежды.

Конечно, так не могло долго продолжаться, и после целого ряда жалоб Мишель потерял службу, лишившись пайка и кое-каких доходов.

Это был, в сущности говоря, серьезный удар и форменная катастрофа, но влюбленный поэт не замечал, что тучи над его головой сгущаются.

Изабелла Ефремовна приходила к нему почти что всякий день и пела грудным низким голосом разные цыганские романсы, притоптывая при этом ногами и аккомпанируя себе на гитаре.

Это была прелестная молодая дама, рожденная для лучшей судьбы и беспечной жизни. Она презирала бедность и нищету и мечтала уехать за границу, подбивая на это и Мишеля, с которым она мечтала перейти персидскую границу.

И в силу этого Мишель не искал работы и жил, надеясь на какие-то неожиданные обстоятельства. И эти обстоятельства вскоре последовали.

В одно ненастное утро, придя в комнату тетки для того, чтобы попросить у нее необходимых ему денег, и приготовившись к стычке, Мишель был поражен беспорядком и сдвинутыми с места вещами. Тетка Марья сидела в кресле, перебирая в руках какие-то бутылки, пузырьки и коробочки.

Она взволновалась, когда Мишель вошел в комнату, и, пряча под платок свои склянки, начала визжать и бросать в Мишеля что попадет под руку.



Мишель стоял остолбеневший около двери, не смея шагнуть дальше и не понимая, чего, собственно, тут происходит.

Через несколько секунд тетка, позабыв о Мишеле, начала кружиться по комнате, напевая при этом шансонетки и вскидывая ногами.

Тогда Мишель понял, что тетка Марья свихнулась в своем уме.

И, пугаясь ее, взволнованный и потрясенный, он прикрыл дверь и в щелку начал следить за безумной старухой.

У нее появились совершенно необычайные молодые движения. Ее обычная за последний год неподвижность сменилась каким-то бурным весельем, движениями и суетой.

Тетка буквально порхала по комнате и, подбегая к зеркалу, гримасничала и кривлялась, посылая неизвестно кому воздушные поцелуи.

Мишель, пораженный, стоял за дверью, прикидывая в уме, как ему поступить и что делать и какие, собственно говоря, выгоды он может снять с этого дела.

Затем, прикрыв плотно дверь, Мишель кинулся к уполномоченному квартирой, чтоб сообщить о несчастье.

*Тетку отправляют в лечебницу. Желтый дом.*

*Веселая жизнь. Свидание с теткой.*

*Окончательная распродажа имущества*

Квартира, в которой проживал Мишель, была коммунальная. В ней было десять комнат с тридцатью с лишком жильцами. Мишель не имел отношения к этим людям, он даже чуждался их и не заводил знакомств.

Тут, между прочим, жил портной Елкин со своей супругой и ребенком, фабричная работница, бухгалтер Госцветмета Р. и почтовый служащий Н. С., который и являлся уполномоченным квартиры.

Было воскресенье, и все жильцы находились дома в своих комнатах.

Стараясь не шуметь и говоря взволнованным шепотом, Мишель предупредил уполномоченного о буйном сумасшествии своей тетки. Было решено вызвать карету скорой помощи и поскорей сплавить старуху в сумасшедший дом, поскольку это представляло значительную опасность для жильцов.

Мишель, ахая, бросился в нижнюю квартиру и по телефону вызвал карету скорой помощи, которая и прибыла незамедлительно.

Два человека в белых балахонах в сопровождении Мишеля вошли в комнату старухи.

Тетка Марья, забившись в угол, не подпускала к себе никого, бросаясь вещами и ругаясь как мужчина.

Позади раскрытых дверей теснились жильцы, помогая советами и планами захвата старухи.

Все говорили шепотом и с нескрываемым диким любопытством следили за движениями безумной старухи.

Братья милосердия в своих халатах, как более опытные, одновременно шагнули к больной и, схватив ее за руки, сжали ее в своих объятиях. Старуха старалась укунить их за руки, но, как это и всегда бывает, бурная энергия сменилась спокойствием и даже безжизненной апатией.

Старуха позволила надеть на себя ватерпруф. Голову ей обвязали платком, и, подталкиваемая сзади Мишелем, она была благополучно под руки спущена вниз и посажена в автомобиль, в который уместился и Мишель, со страхом поглядывая на свою обезумевшую родственницу.

Всю дорогу тетка почти не проявляла признаков жизни, и только когда автомобиль приехал на Пряжку и остановился у желтого дома, тетка Марья снова проявила буйство и, сопротивляясь, долго не хотела вылезать из автомобиля, снова ругаясь безобразными словами.

Однако ее благополучно вывели и под руки через сад повели в подъезд.

Сторож у ворот, привыкший к таким делам, без любопытства наблюдал за этой сценой и, привстав со своей скамейки, молча пальцем указал, куда двигаться.

Старуху провели через темный коридор и сдали в распределитель.

Мишель заполнил анкету и, получив на руки теткин драгоценности – ее золотую цепочку с лорнетом, кольца и брошь, вышел взволнованный из приемной комнаты.

Он прошел сад и, очутившись на улице, остановился в нерешительности. Потом долго ходил по улице и со страхом и даже с ужасом поглядывал на желтый дом, прислушиваясь к крикам и воплям, доносившимся из открытых окон.

Он пошел было домой, но, остановившись на деревянном мосту через Пряжку, обернулся назад.

Желтый дом с облезлой, грязной штукатуркой был теперь весь на виду. В окнах за решетками мелькали белые фигуры. Некоторые неподвижно стояли у окон и смотрели на улицу. Другие, ухватившись за решетки, старались сдвинуть их с места.

Внизу на улице, на берегу Пряжки, стояли нормальные люди и с нескрываемым любопытством глядели на сумасшедших, задрав кверху свои головы.

Мишель быстро и не оглядываясь пошел домой, неся в своих руках теткин драгоценности.

Первые дни потрясения прошли, все улеглось, и жизнь, как обычно, пошла дальше.

Не имея службы и не ища ее, Мишель продолжал беспечно существовать и, встречаясь со своей возлюбленной, жил на теткино имущество, которое так неожиданно досталось ему.

В то время был уже нэп во всем своем разгаре. Снова были открыты магазины, театры и кино. Появились извозчики и лихачи. И Мишель со своей дамой окунулся в водоворот жизни.

Они под руку появлялись во всех ресторанах и кабачках. Танцевали фокстрот и утомленные, почти счастливые, возвращались на лихаче домой, с тем, чтобы заснуть крепким сном и утром снова начать веселое, беспечное существование. Но иной раз, вспоминая про свою тетку и тратя ее имущество, Мишель чувствовал угрызения совести и тогда, всякий раз, давал себе слово навестить больную, для того чтоб снести ей кой-каких конфет и гостинцев и тем самым сделать ее участницей в расходах.

Но дни шли за днями, и Мишель откладывал свое посещение.

В эту зиму веселья и танцев Мишель получил извещение из Пскова от своего владельца дома и теперь арендатора о том, что его жена, потеряв ребенка и выйдя замуж, уехала из квартиры, задолжав ему значительную сумму. Она оставила ему кое-какую мебель, которую арендатор и считает своей, если Мишель не пришлет ему денег в ближайший месяц.

Прочтя это письмо утром, после попойки, Мишель сердито скомкал его и бросил под кровать, с тем чтобы не вспоминать о своей прошлой жизни.

Так проходила зима, и в один из февральских дней, после того как были проданы последние драгоценности, Мишель отправился к тетке на свидание.

Он купил разной снеди и, с тяжелым сердцем и неопределенным страхом, отправился на Пряжку. Тетку привели в приемную комнату и оставили ее вместе с Мишелем.

Буйное сумасшествие сменилось тихой меланхолией, и теперь тетка Марья, в своей белой полотняной кофте, стояла перед Мишелем и, странно и хитро поглядывая на него, не узнавала своего племянника.

Он сказал несколько неопределенных слов и стал делать руками энергичные жесты, понятные сумасшедшим. Потом Мишель молча поклонился и вышел из помещения, с тем чтобы сюда никогда не возвращаться.

С легким сердцем Мишель вернулся домой и уже со спокойной совестью стал распоряжаться своим наследством.

Изабелла Ефремовна ревностно помогала ему в этом, уговаривая его поменьше церемониться и стесняться в смысле окончательной распродажи всего имущества.

*Неожиданная беда. Ужасный скандал.*

*Нервная болезнь Мишеля.*

*Ссора с возлюбленной. Падение*

В апреле тысяча девятьсот двадцать пятого года стояла исключительно хорошая и ясная погода.

Мишель в легком своем пальто, под руку с Изабеллой Ефремовной, выходил из своей комнаты, желая пойти погулять по набережной и посмотреть на ледоход.

И, закрывая дверь на ключ и напевая «Бананы, бананы», он поглядывал на свою даму.

Она тут же колбасилась в коридоре, делая своими стройными ножками разные па и танцуя чарльстон.

Она была чудесно хороша в своем светлом весеннем костюме, со своим прелестным профилем и завитушками из-под шляпы.

Мишель любовно глядел на нее, восхищаясь ее красотой, молодостью и беспечностью.

Да, конечно, она не была слишком ученая девица, способная с легкостью поговорить о Канте, или Бабеле, или о теории вероятности и относительности. Безусловно, она этого ничего не знала и не имела склонности к умозрительным наукам, предпочитая им легкую, простую жизнь. Морщины раздумья не бороздили ее лба.

Мишель любил ее со всей страстью и, мысленно сравнивая ее со своей бывшей Симочкой, приходил в ужас – как он мог так низко пасть, женившись на такой провинциальной курочке.

Итак, танцуя чарльстон, и дурачась, и взявшись за руки, они пошли по коридору и, выйдя в прихожую, остановились, чтоб пропустить вошедшую пару.

Это был рассыльный с книжкой и рядом с ним старая женщина, завернутая в зимний ватерпруф, с головой, повязанной шерстяным платком.

Это была не кто иная, как тетка Марья.

Грубым, шутивым тоном рассыльный спросил, здесь ли проживала выздоровевшая гражданка А., и если здесь, то вот, не угодно ли принять кого следует.

Все помутилось в глазах Мишеля. Ноги приросли к полу, и страх отнял у него дар речи.

Кое-как поставив небольшую каракулю в рассыльной книге, Мишель перевел глаза на тетку, которая, сконфуженно улыбаясь, ручкой приветствовала своего племянника.

Мишель начал лепетать непонятные слова и, пятась к двери, старался заслонить проход, не желая тем самым пропустить тетку дальше.

Тетка Марья шагнула к нему и начала довольно понятно изъясняться, говоря, что она сильно прихворнула, но теперь почти что оправилась и в дальнейшем нуждается только в полной тишине и спокойствии.

Понимая всю серьезность дела и не желая мешать объяснению родственников, Изабелла Ефремовна, сказав, что она зайдет завтра, как птичка, выпорхнула на лестницу и исчезла.

А тетка Марья в сопровождении Мишеля пошла по коридору, направляясь к своей двери.

Мишель, взяв тетку под руку и стараясь не допустить ее в комнату, в которой оставалась лишь какая-то жалкая дребедень, тянул ее к себе, говоря, что, ну вот и отлично, и прекрасно, вот сейчас они присядут у Мишеля на диване и попьют чайку.

Однако тетка, не пожелав чаю, настойчиво шла к своей комнате, твердо сохранив в своем непрочном уме расположение комнат.

Она вошла в комнату и остановилась, пораженная и полная гнева.

Автор, щадя нервы читателей, не считает возможным продолжать свое описание скандала и драматических сцен, происшедших в первые полчаса. Оголенная комната зияла своей

пустотой. В углу стоял нетронутый мраморный умывальник и несколько стульев, не проданных в силу значительной изношенности.

По прошествии получаса тетка набросилась на Мишеля, снова по-мужски ругаясь и выкрикивая такие слова, от которых шарахались в сторону издававшие виды жильцы.

Нервный подъем сменился тихими слезами, чем воспользовался Мишель. Он проскользнул в свою комнату и, обессиленный, рухнул на кровать. К вечеру стало известно, что тетка вновь свихнулась в своем уме и вновь делает по своей комнате какие-то прыжки и движения.

Еле волоча ноги, Мишель убедился в этом и, сделав соответствующие распоряжения, вернулся к себе.

К ночи тетку Марью вновь отвезли в психиатрическую лечебницу.

Жильцы судачили о всяких превратностях судьбы и говорили о необходимости показательного суда над Мишелем, который обратно свел тетку с ума, решив воспользоваться ее последними креслами.

Однако Мишель на другой день слег в постель в нервной горячке и этим прекратил пересуды.

Три недели он пролежал, думая, что пришел ему конец и расплата, но молодость и цветущее здоровье сохранили ему жизнь.

Изабелла Ефремовна изредка посещала его. Ее веселость сменилась натянутостью, и она еле разговаривала с больным, пикируясь и капризничая. Болезнь значительно изменила Мишеля. Вся его беспечность ушла, и он снова был таким же, как в Пскове, — меланхоличным и созерцательным субъектом.

Вновь приходилось подумать о существовании и о куске насущного хлеба.

М. П. Синягин принялся хлопотать и несколько раз ходил на биржу труда, регистрируясь и отмечаясь.

Не умея ничего делать и не зная никакой специальности, он имел, конечно, мало шансов получить приличную работу.

Правда, ему сразу предложили поехать на торфяные разработки, говоря, что, не имея специальности, он вряд ли получит сейчас что-либо другое. Это предложение страшно поразило Мишеля и даже напугало. Как, он должен поехать куда-то там такое за шестьдесят верст и там копать лопатой разную дрянь и глину. Это никак не укладывалось в его голове, и он, сердито обругав барышню свиньей, ушел домой.

Он стал продавать свои вещи, приобретенные за время своего благополучия, и полгода жил довольно прилично, не имея сильной нужды.

Но так, конечно, не могло вечно продолжаться, и надо было подумать о чем-то существенном.

И, понимая, что он катится под гору, Мишель старался все же не думать об этом и, сколько возможно, оттягивать решительный момент.

К этому времени он поругался с Изабеллой Ефремовной, которая все еще иногда заходила к нему и, хмуря носик, спрашивала, что он намерен делать. Он поссорился с ней, назвав ее гадиной и корыстной канальей, и этот разрыв несколько даже облегчил его существование.

Изабелла Ефремовна охотно пошла на ссору и, хлопнув дверью, упорхнула, предварительно, конечно, поскандалив и поругавшись на разные темы.

Мишель понимал свое критическое положение, и ему временами казалось, что всюду жизнь и, может, действительно стоит ему поехать на разработки. Однако, поругавшись на бирже и порвав свой листок, Мишель уже не имел мужества пойти туда вновь.

*Приятная встреча. Новая работа.*

*Мрачные мысли. Нищета. Душевное спокойствие.*

*Благодетельная природа. Помощь автора.*

### *Кража пальто с обезьянковым воротником*

Оставив себе серый пиджачок и осеннее пальто, Мишель без жалости расстался почти со всем своим имуществом.

Но оставленные вещи чрезвычайно быстро приходили в ветхость, и это обстоятельство только усиливало падение.

Понимая, что ему не выбраться из создавшегося положения, Мишель вдруг успокоился и поплыл по течению, мало заботясь о том, что будет.

Однажды, встретив одного знакомого нэпмана и владельца маленькой фабрички минеральных и фруктовых вод, Мишель шутливо попросил каким-нибудь образом помочь ему. Тот обещал устроить его на свою фабрику, однако предупредил, что работа будет не слишком подходящая для поэта и вряд ли Мишель на нее согласится. Надо было мыть бутылки, которые во множестве с разных сторон и даже из помоек поступали на фабрику, где их и приводили в христианский вид, полоща и моя с песком и еще с какой-то дрянью.

Мишель взял эту работу и несколько месяцев ходил в Апраксин рынок на производство, пока не прогорел зарвавшийся нэпман.

Спокойствие и ровное душевное состояние не покидали Мишеля. Он как бы потерял старое представление о себе. И, приходя домой, ложился спать, не думая ни о чем и ни о чем не вспоминая. Когда нэпман прогорел и заработок был потерян, Мишель и тут не почувствовал большой беды.

Правда, временами – очень редко – находило на него раздумье, и тогда Мишель, как волк, бегал по своей комнате, кусая и грызя свои ногти, к чему он получил привычку за последний год. Но это, собственно, были последние волнения, после чего жизнь потекла по-прежнему ровно, легко и бездумно.

Уже все жильцы в квартире видели и знали, как обстоят дела Мишеля, и сторонились его, побаиваясь, как бы он не сел им на шею.

И, незаметно для себя, Мишель из владельца комнаты стал угловым жильцом, поскольку в его комнату вселился один безработный, который по временам ходил торговать семечками.

Так прошел почти год, и жизнь увлекала Мишеля все глубже и глубже.

Уже портной Егор Елкин, заходя в комнату Мишеля, пьяным голосом иной раз просил его присмотреть за своим младенцем, так как надо было портному отлучиться, а супруга невеста где бродит по случаю своей красоты и молодости.

И Мишель заходил в комнату к портному и без интереса глядел, как полуголый ребенок скользит по полу, шаяля, забавляясь и поедая тараканов.

Дни шли за днями, и Мишель ничего не предпринимал. Он стал иногда просить милостыню. И, выходя на улицу, иной раз останавливался на углу Невского и Фонтанки и стоял там, спокойно поджидая подаяния.

И, глядя на его лицо и на бывший приличный костюм, прохожие довольно охотно подавали ему гривенники и даже двугривенные.

При этом Мишель низко кланялся, и приветливая улыбка растягивала его лицо. И, низко кланяясь, он следил глазами за монетой, стараясь поскорей угадать ее достоинство.

Он не замечал в себе перемены, его душа была по-прежнему спокойна, и никакого горя он более не ощущал в себе.

Автору кажется, что это форменная брехня и вздор, когда многие и даже знаменитые писатели описывают разные трогательные мучения и переживания отдельных граждан, попавших в беду, или, скажем, не жалея никаких красок, сильными мазками описывают душевное состояние уличной женщины, накручивая на нее черт знает чего, и сами удивляются тому, чего у них получается.

Автор думает, что ничего этого по большей части не бывает.

Жизнь устроена гораздо, как бы сказать, проще, лучше и пригодней. И беллетристам от нее совершенно мало проку.

Нищий перестает беспокоиться, как только он становится нищим. Миллионер, привыкнув к своим миллионам, также не думает о том, что он миллионер. И крыса, по мнению автора, не слишком страдает от того, что она крыса.

Ну, насчет миллионера автор, возможно, что и прихватил лишнее. Насчет миллионера автор не утверждает, тем более что жизнь миллионеров проходит для автора как в тумане.

Но это дела не меняет, и величественная картина нашей жизни остается в силе.

Вот тут-то и приходит на ум то обстоятельство, о котором автор уже имел удовольствие сообщить в своем предисловии. Человек очень даже великолепно устроен и охотно живет такой жизнью, какой живется. Ну, а которые не согласны, те, безусловно, идут на борьбу, и ихнее мужество и смелость всегда вызывали у автора изумление и чувство неподдельного восторга.

Конечно, автор не хочет сказать, что человек – и в данном случае М. П. Синягин – стал деревянным и перестал иметь чувства, желания, любовь хорошо покушать и так далее.

Нет, это все у него было, но это было уже в другом виде и, так сказать, в другом масштабе, вровень с его возможностями.

Чувства автора перед величием природы не поддаются описанию!

Автор должен еще сказать, что он сам находился в те годы в сильной нужде и помощь с его стороны родственнику была незначительная. Однако автор много раз давал ему, сколько было возможно.

Но однажды, в отсутствие автора, Мишель снял с вешалки чужое пальто с обезьянковым воротником и загнал его буквально за гроши. После чего он вовсе перестал ходить и даже перестал раскланиваться с автором.

Конечно, автор понимал его грустноватое положение и даже одним словом не заикнулся о краже, но Мишель, чувствуя свою вину, попросту отворачивался от автора и не хотел вступать с ним ни в какие разговоры.

Об этом автору приходится говорить с чрезвычайно, так сказать, стесненным чувством и даже с сознанием какой-то своей вины, в то время как никакой вины, в сущности, не было.

*Жизнь начинается завтра. Выручка за день.*

*Ночлежный дом. Сорок лет.*

*Неожиданные мысли. Новое решение*

Автор считает нужным предупредить читателя о том, что наше повествование окончится благополучно и в конце концов счастье вновь коснется крыльями нашего друга Мишеля Синягина.

Но пока что нам придется еще немного коснуться кое-каких неприятных переживаний.

Так проходили месяцы и годы. Мишель Синягин побирался и почти всякий день отправлялся на эту свою работу либо к Гостиному Двору, либо к Пассажу.

Он становился к стенке и стоял, прямой и неподвижный, не протягивая руки, но кланяясь по мере того, как проходили подходящие для него люди. Он собирал около трех рублей за день, а иногда и больше, и вел сносную и даже сытную жизнь, кушая иной раз колбасу, студень и другие товары. Однако он задолжал за квартиру, не платя за нее почти два года, и этот долг висел теперь над ним как дамоклов меч.

Уже к нему в комнату заходили люди и откровенно спрашивали об его отъезде.

Мишель говорил какие-то неопределенные вещи и давал какие-то неясные обещания и сроки.

Но однажды вечером, не желая новых объяснений и новых натисков, он не вернулся домой, а пошел ночевать в ночлежку, или, как еще иначе говорят, на гопу, на Литейный про-

спект. В ту пору на Литейном, недалеко от Кирочной, был ночлежный дом, где за двадцать пять копеек давали отдельную койку, кружку чаю и мыло для умывания. Мишель несколько раз оставался здесь ночевать и в конце концов вовсе сюда перебрался со своим небольшим скарбом.

И тогда началась совсем размеренная и спокойная жизнь, без ожидания каких-то чудес и возможностей.

Конечно, собирать деньги не было занятием слишком легким. Надо было стоять на улице и в любую погоду поминутно снимать шапку, застуживая этим свою голову и простужаясь.

Но другого ничего пока не было, и другого выхода Мишель не искал.

Ночлежка с ее грубоватыми обитателями и резкими нравами, однако, значительно изменила скромный характер Мишеля.

Здесь тихий характер и робость не представляли никакой ценности и были даже, как бы сказать, ни к чему.

Грубые и крикливые голоса, ругань, кражи и мордобой выживали тихих людей или заставляли их соответственным образом менять свое поведение. И Мишель стал говорить грубоватые фразы своим сиплым голосом и, защищаясь от ругани и насмешек, нападал в свою очередь сам, безобразно ругаясь и даже участвуя в драках.

Утром Мишель убирал свою койку, пил чай и, часто не мывшись, торопливо шел на работу, иногда беря с собой замызганный парусиновый портфель, который, как бы сказать, придавал ему особенно четкий интеллигентный вид и указывал на его происхождение и возможности.

Дурная привычка последних лет – грызть свои ногти – стала совершенно неотвязчивой, и Мишель обкусывал свои ногти до крови, не замечая этого и не стараясь от этого отвыкнуть.

Так прошел еще год, итого почти девять лет со дня приезда в Ленинград. Мишелю было 42 года, но длинные и седоватые волосы придавали ему еще более старый и опустившийся вид. В мае тысяча девятьсот двадцать девятого года, сидя на скамейке Летнего сада и греясь на весеннем солнце, Мишель незаметно и неожиданно для себя, с каким-то даже страхом и торопливостью, стал думать о своей прошлой жизни: о Пскове, о жене Симочке и о тех прошлых днях, которые казались ему теперь удивительными и даже сказочными.

Он стал думать об этом в первый раз за несколько лет. И, думая об этом, почувствовал тот старый нервный озноб и волнение, которое давно оставило его и которое бывало, когда он сочинял стихи или думал о возвышенных предметах.

И та жизнь, которая ему казалась унижительной для его достоинства, теперь сияла своей небесной чистотой. Та жизнь, от которой он ушел, казалась ему теперь наилучшей жизнью за все время его существования.

Страшно взволнованный, Мишель стал мотаться по саду, махая руками и бегая по дорожкам.

И вдруг ясная и понятная мысль заставила его задрожать всем телом.

Да, вот сейчас и сию минуту он поедет в Псков, там встретит свою бывшую жену, свою любящую Симочку, с ее миленькими веснушками. Он встретит свою жену и проведет с ней остаток своей жизни в полном согласии, любви и нежной дружбе.

И, думая об этом, он вдруг заплакал от всевозможных чувств и восторга, охватившего его.

И, вспоминая те жалкие и счастливые слова, которые она ему говорила девять лет назад, Мишель поражался теперь, как он мог ею пренебречь и как он мог учинить такое явное сукинство – бросить такую исключительную и достойную даму.

Он вспоминал теперь каждое слово, сказанное ею. Да, это она ему сказала, и она молила судьбу, чтоб он был больной, старый и хромой, предполагая, что тогда он вернется к ней.

И, еще более взволновавшись от этих мыслей, Мишель побежал сам не зная куда.

Быстрая ходьба несколько утихомирила его волнение, и тогда, торопясь и не желая терять ни одной минуты, Мишель отправился на вокзал и там начал расспрашивать, когда и с какой платформы отправляется поезд.

Но, вспомнив, что у него было не больше одного рубля денег, Мишель снова задрожал и стал спрашивать о цене билета.

Проезд до Пскова стоил дороже, и Мишель, взяв билет до Луги, решил оттуда как-нибудь добраться до своего сказочного города.

Он приехал в Лугу ночью и крепко заснул на сложенных возле полотна шпалах.

А чуть свет, дрожа всем телом от утренней прохлады и волнения, Мишель вскочил на ноги и, покушав хлеба, пошел в сторону Пскова.

*Возвращение. Родные места. Свидание с женой.*

*Обед. Новые друзья. Служба. Новые мечты.*

*Неожиданная болезнь*

Мишель пошел по тропинке вдоль полотна железной дороги, шагая сначала в какой-то нерешительности и неуверенности. Потом он прибавил шагу и несколько часов подряд шел, не останавливаясь и ни о чем не думая.

Вчерашнее его волнение и радость сменились тупым безразличием и даже апатией. И он шел теперь, двигаясь по инерции, не имея на это ни воли, ни особой охоты.

Было прелестное майское утро. Птички чирикали, с шумом вылетая из кустов, около которых проходил Мишель.

Солнце все больше и больше пекло ему плечи, и ноги, обутые в галоши, стерлись и устали от непривычной ходьбы.

В полдень Мишель, утомившись, присел на край канавы и, обняв свои колени, долго сидел, не двигаясь и не меняя позы.

Белые неподвижные облака на горизонте, молодые листочки деревьев, первые желтые цветы одуванчика напомнили Мишелю его лучшие дни и снова заставили его на минуту взволноваться о тех возможностях, которым он шел навстречу.

Мишель растянулся на траве и, глядя в синеву неба, снова почувствовал какую-то радость успокоения.

Но эта радость была умеренная. Это не была та радость и тот восторг, которые охватывали Мишеля в дни его молодости.

Нет, он был другим человеком, с другим сердцем и с другими мыслями.

Неизвестно, правда ли это, но автору одна девушка, окончившая в прошлом году стенографические курсы, рассказала, что будто в Африке есть какие-то животные, вроде ящериц, которые при нападении более крупного существа выбрасывают часть своих внутренностей и убегают, с тем чтобы в безопасном месте свалиться в бессознательном состоянии и лежать на солнце, покуда не нарастут новые органы. А нападающий зверек прекращает погоню, довольствуясь тем, что ему дали.

Если это так, то восхищение автора перед явлением природы наполняет его новым трепетом и жадой жить.

Мишель не был похож на такую ящерицу: он сам нападал и сам хватал своих врагов за загривок, но в схватке он, видимо, тоже растерял часть своего добра и сейчас лежал пустой и почти безразличный, не зная, собственно, зачем он пошел и хорошо ли это он сделал.

Через два дня, отдыхая почти каждый час и ночуя в кустах, Мишель пришел в Псков, вид которого заставил забиться его сердце.

Мишель прошел по знакомым улицам и вдруг очутился у своего дома, с тоской заглядывая в его окна и до боли сжимая свои руки.



И, открыв плечом калитку ворот, он вошел в сад, в тот небольшой, тенистый сад, в котором когда-то писались стихи и в котором когда-то сидели тетка Марья, мамаша и Симочка.

Все было так же, как и девять лет назад, только дорожки сада были запущенны и заросли травой.

Те же две высокие ели росли у заднего крыльца, и та же собачья будка без собаки стояла возле сарайчика.

Несколько минут стоял Мишель неподвижно как изваяние, созерцая эти старые и милые вещи. Но вдруг чей-то голос вернул его к действительности. Старая, завернутая в белую косынку, старуха, беспокойно глядя на него, спросила, зачем он сюда пришел и что ему нужно.

Путаясь в словах и со страхом называя фамилии, Мишель стал расспрашивать о бывших жильцах, об арендаторе дома и о Серафиме Павловне, его бывшей жене.

Старуха, приехавшая сюда недавно, не могла удовлетворить его любопытство, однако указала адрес, где теперь проживала Симочка.

Через полчаса Мишель, унимая сердцебиение, стоял у дома на Басманной улице.

Он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь и шагнул на порог кухни.

Молодая женщина в переднике стояла у плиты, держа в одной руке тарелку, другой рукой, вооруженной вилкой, она доставала вареное мясо из кипящей кастрюльки.

Женщина сердито посмотрела и, нахмурившись, приготовилась закричать на вошедшего, но вдруг слова замерли на ее губах.

Это была Серафима Павловна, это была Симочка, сильно изменившаяся и постаревшая.

Ах, она очень похудела. Когда-то полненький ее стан и круглое личико были неузнаваемые и чужие.

У нее было желтоватое, увядшее лицо и короткие, обстриженные волосы.

– Серафима Павловна, – тихо сказал Мишель и шагнул к ней.

Она страшно закричала, металлическая тарелка выпала из ее рук и со звоном и грохотом покатилась по полу. И вареное мясо упало в кастрюлю, разбрызгивая кипящий суп.

– Боже мой, – сказала она, не зная что сделать и что сказать.

Она подняла тарелку и, пробормотав: «сейчас», – скрылась за дверью.

Через минуту она снова вернулась в кухню и, робко протянув руку, попросила Мишеля сесть. Не смея к ней подойти и страшась своего вида, Мишель сел на табурет и сказал, что вот он, наконец, пришел и что вот у него какое печальное положение.

Он говорил тихим голосом и, разводя руками, вздыхал и конфузился.

– Боже мой, боже мой, – бормотала молодая женщина, с тоской ломая свои руки.

Она смотрела на его одутловатое лицо и на грязное тряпье его костюма и беззвучно плакала, не соображая, что делать.

Но вдруг из комнаты вышел муж Серафимы Павловны и, видимо уже зная в чем дело, молча пожал Мишелю руку и, отойдя в сторону, присел на другую табуретку возле окна.

Это был гр. Н., заведывающий кооперативом, немолодой уже – и скорей пожилой – человек, толстоватый и бледный.

Сразу поняв, в чем дело, и сразу оценив положение и своего неожиданного соперника, он стал говорить веским и вразумительным тоном, советуя Серафиме Павловне позаботиться о Мишеле и принять в нем участие.

Он предложил Мишелю временно поселиться у них в доме, в верхней летней комнатке, поскольку уже в достаточной мере тепло.

Они обедали вдвоем за столом и, кушая вареное мясо с хреном, изредка перекидывались словами относительно дальнейших шагов.

Муж Серафимы Павловны сказал, что службу сейчас найти крайне легко и что безработных сейчас все меньше и меньше на бирже труда, так что в этом он не видит никакого затруднения. И это обстоятельство позволит, вероятно, Мишелю даже выбирать себе службу

из нескольких предложений. Во всяком случае, об этом тревожиться не надо. Временно он будет проживать у них, а там, в дальнейшем, будет видно. Мишель, не смея поднять глаз на Симочку, благодарил и жадно пожирал мясо и хлеб, запихивая в рот большие куски.

Симочка также не смела на него смотреть и только изредка бросала взгляды, по временам бормоча: «боже мой, боже мой».

Мишелю устроили верхнюю комнату, поставив туда парусиновую кушетку и небольшой туалетный стол.

Мишель получил кое-какое белье и старый люстриновый пиджак и, умывшись и побрив свои щеки, с какой-то радостью облачился во все свежее и с радостью долго разглядывал себя в зеркало, поминутно благодаря своего благодетеля.

Сильные тревожения и ходьба страшно его утомили, и он, как камень, заснул у себя наверху.

Ночью, часов в одиннадцать, ничего не понимая и не соображая, где он находится, Мишель проснулся и вскочил со своего ложа.

Потом, вспомнив о случившемся, он присел у окна и стал вспоминать о всех словах, сказанных за день.

И, просидев около часу, он вдруг почувствовал голод.

Вспоминая сытный, питательный обед, который он жадно и без разбора проглотил, Мишель тихой и вороватой походкой спустился вниз, в кухню, с тем, чтобы пошарить там и снова подкрепить свои силы.

Он осторожно по скрипучим половицам вошел в кухню и, не зажигая света, стал шарить рукой по плите, отыскивая какую-нибудь еду.

Серафима Павловна вышла на кухню, дрожа всем телом и думая, что Мишель пришел с ней поговорить, объясниться и сказать то, чего не было сказано, подошла к нему, взяла его за руку и начала что-то лепетать взволнованным шепотом.

Сначала страшно испугавшись, Мишель понял, в чем дело и, держа в руке кусок хлеба, безмолвно слушал слова своей бывшей возлюбленной.

Она говорила ему, что все изменилось и все прошло, что, вспоминая о нем, она, правда, продолжала его любить, но что сейчас ей кажутся ненужными и лишними какие-либо новые шаги и перемены. Она нашла свою тихую пристань и больше ничего не ищет.

Мишель, по простоте душевной, тотчас ответил, что этих перемен он и не ожидает, но что он будет рад и счастлив, если она позволит ему временно проживать в ихнем доме.

И, жуя хлеб, Мишель благодарно пожимал ее ручки, прося не очень за него беспокоиться и не очень волноваться.

Через несколько дней, отъевшись и приведя себя в порядок, Мишель получил работу в управлении кооперативов.

Угасавшая жизнь снова вернулась к Мишелю, и, сидя за обедом, он делился своими впечатлениями за день и строил разные планы о будущих возможностях, говоря, что теперь он начал новую жизнь, и что теперь он понял все свои ошибки и все свои наивные фантазии, и что он хочет работать, бороться и делать новую жизнь.

Серафима Павловна с мужем дружески беседовали с ним, сердечно радуясь его успехам и возрождению.

Так проходили дни и месяцы, и ничто не омрачало жизнь Мишеля.

Но в феврале тысяча девятьсот тридцатого года Мишель, неожиданно заболев гриппом, который осложнился воспалением легких, умер почти на руках у своих друзей и благодетелей.

Симочка страшно плакала и долго не находила себе места, проклиная себя за то, что она не сказала Мишелю всего, что хотела и что думала.

Мишель был похоронен на б. монастырском кладбище. Могила его и посейчас убирается живыми цветами.

## Рассказы

### Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова

#### Предисловие<sup>2</sup>

Я такой человек, что все могу... Хочешь – могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь – каким ни на есть рукоеслом займусь, – все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов – там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, – пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

Я даже, запомнил, людей лечил.

Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить, – жаба болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, – говорю, – болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся – болезнь эта неопасная, и даже прямо тебе скажу – детская болезнь.

И что же? Стал мой мельник с тех пор круглеть и розоветь, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай...

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся.

Бывало, придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю.

– Ну что, – скажет, – Назар Ильич товарищ Синебрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?

Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, пожует-покушает, ручками этак вот раскинет.

– Да, – скажет, – погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, – говорит, – наверное, даже державой управлять можешь.

Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.

А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну я и рассказываю.

Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, не какое, а домашнее. Ну а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитый.

Крестьянские эти дела-делишки я ух как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть как и что.

Да только ход развития моей жизни не такой.

Вот теперь, где бы мне пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и – нет, не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.

Скажем вот про сапоги.

Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны. И, можете себе представить, сгинули они – аминь – во веки веков в собственном своем домишке.

---

<sup>2</sup> Предисловие и рассказы записаны в апреле 1921 года со слов Н. И. Синебрюхова писателем М. З. (Примеч. автора.)

А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода – разуюсь и хлюпаю по грязи... Берегу.

И вот сгинули...

А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог – труба.

В германскую кампанию выдали мне сапоги штиблетами – блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет – выдадут. Да только нет, годы мои вышли, и дело мое на этот счет гиблое.

А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.

Ну а рассказы мои, безусловно, из жизни, и все воистинная есть правда.

## Великосветская история

Фамилия у меня малоинтересная – это верно: Синебрюхов, Назар Ильич.

Ну да обо мне речь никакая – очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла оттого моя жизнь в разные стороны, все равно как вода, скажем, в руке – через пальцы, да и нет ее.

Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь... И все через эту великосветскую историю.

А был у меня душевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу – одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно, – рядовой гвардеец пехотного полка.

На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещицы.

Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и посейчас бодрюсь.

Знаю: Пипин Короткий... Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто есть такой Пипин Короткий?

И тут-то и вижу всю человеческую образованность, все равно как на ладони.

Да только не в этом штука.

Было тому... сколько?... четыре года взад. Призывает меня ротный командир, в чине – гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек.

Призывает. Так, мол, и так, – говорит, – очень я тебя, Назар, уважаю, и вполне ты прелестный человек... Сослужи, – говорит, – мне еще одну службишку.

Произошла, – говорит, – Февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, – говорит, – к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые, то есть, его ручки и жди, что скажет. А супруге, – говорит, – моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низенько поклонись в ножки и ободрь каким ни на есть словом. Исполни, – говорит, – это для ради бога, а я, – говорит, – осчастливлю тебя суммой и пушу в несрочный отпуск.

– Ладно, – отвечаю, – князь ваше сиятельство, спасибо за ваше обещание, что возможно – совершу.

А у самого сердце огнем играет: эх, – думаю, – как бы это исполнить. Охота, – думаю, – получить отпуск и богатство.

А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конечно, я поступил геройски. Это верно.

Стою раз преспокойно на часах у князей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.

Ну, конечно: игра страстей и разнузданная вакханалия... А князь ваше сиятельство из себя пьяненький, песни играет.

Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.

Ах ты, – думаю, – так твою так – газы!

А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.

Беру преспокойно зелинскую маску (с резиной), взбегаю в земляночку...

– Так, мол, и так, – кричу, – князь ваше сиятельство, дыши через маску – газы.

Очень тут произошел ужас в земляночке.

Сестричка милосердия – бяк, с катушек долой, – мертвая падаль.

А я сволок князьку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу.

Зажег... Лежим, не трепыхнемся... Что будет... Дышим.

А газы... Немец – хитрая каналья, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.

Газы туды и сюды крутятся, выискивают нас-то... Сбоку да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают...

А мы знай полеживаем да дышим в маску...

Только прошел газ, видим – живые.

Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.

– Теперь, – говорит, – ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, очастливь. Буду о тебе пекчись.

Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.

И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные места.

Собрал я свое барахлишко. Исполню, – думаю, – показанное, а там – к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга не старая и мальчишек. Интересуюсь, – думаю, – их увидеть.

И вот, конечно, выезжаю.

Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.

Иду – люблюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие – вилла «Забава».

Вспрашиваю: здесь ли, – говорю, – проживает старый князь ваше сиятельство? Я, – говорю, – очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии. Это бабенку-то я спрашиваю. А бабенка:

– Вон, – говорит, – старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.

Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.

Вид, – смотрю, – замечательный – сановник, светлейший князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.

Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, Февральская революция, вы, мол, староватенький, и молодой князь ваше сиятельство в совершенном расстройстве чувств по поводу недвижимого имущества. Сам же, – говорю, – жив и невредимый и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.

Тут и передаю секретное письмишко.

Прочел это он письмишко.

– Пойдем, – говорит, – милый Назар, в комнаты. Я, – говорит, – очень сейчас волнуюсь... А пока – на, возьми, от чистого сердца рубль.

Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казимировна с детей.

Мальчик у ней – сосун млекопитающийся.

Поклонился я низенько, спрашиваю, каково живет ребеночек, а она будто нахмурилась. – Очень, – говорит, – он нездоровый: ножками крутит, брюшком пухнет – краше в гроб кладут.

– Ах, ты, – говорю, – и у вас, ваше сиятельство, горе такое же обыкновенное человеческое.

Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.

Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними.

Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и спрашиваю:

– А что, – говорю, – хорош ли будет старый князь ваше сиятельство?

– Ничего себе, – говорят, – хороший, только не иначе как убьют его скоро.

– Ай, – говорю, – что сделал?

– Нет, – говорят, – ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу Февральской революции беспокоятся и хитрят, поскольку проявляют свое недовольство. Поскольку они в этом не видят перемены своей участи.

Тут стали меня, безусловно, про революцию спрашивать. Что к чему.

– Я, – говорю, – человек не освещенный. Но произошла, – говорю, – Февральская революция. Это верно. И низвержение царя с царицей. Что же в дальнейшем – опять, повторяю, не освещен. Однако произойдет отсюда людям немалая, – думаю, – выгода.

Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.

– Ладно, – говорит, – Февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить, не показано. Это, – говорит, – допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?

– Может, – говорю, – и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.

– А на кой мне, – явится, – твоя землишка, если я буду из кучеров? А?

– Не знаю, – говорю, – не освещен. И мое дело – сторона.

А он говорит:

– Недаром, – говорит, – мужички беспокоятся – что к чему... Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну и князь, поскольку он помещик, – безусловно, его кончат.

Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут.

Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами произносят мне такие слова:

– Я, – говорит, – тебе, Назар, по-прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня завтра пойдут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, – говорит, – не на кого положиться... Спаси, – говорит, – для ради бога положение.

Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.

– Смотри, – говорит, – тут саксонское серебро черное, и драгоценный горный хрусталь, и всякие, – говорит, – золотые излишества. Вот, – говорит, – какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке.

А сам шкаф откроет – загорюется.

– Да уж, – говорю, – ваше сиятельство, положение ваше небезопасное.

А он:

– Знаю, – говорит, – что небезопасное. И поэтому сослужи, – говорит, – милый Назар, предпоследнюю службу: бери, – говорит, – лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, – говорит, – мы схороним что можно и утопчем ножками.

– Что ж, – отвечаю, – ваше сиятельство, я хоть человек и не освещенный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его

фамилия. Я, – говорю, – безусловно, согласен на это дело, потому, – говорю, – если саксонское черненное серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить. И через это я соглашаюсь на ваше культурное предложение – схоронить эти ценности.

А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички.

Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий.

Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность.

Хорошо-с...

К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака... Беру лопату – и в гусиный сарай.

Место ошупал. Рою.

И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть дрянь и невидаль в воспоминание лезет.

Копну, откину землишку – потею, и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются...

Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли...

И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала – смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело... Хороший, – говорит, – заграничный сапог, не иначе как австрийский... Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.

Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит чтой-то в углу. Тут я и присел.

Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет – беспокоится.

– Ай, – говорит, – ты умер, Назар, что долго? Берем, – говорит, – сундучки поскорейча – и делу конец.

Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.

К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любитесь мной и за ручку жмет.

– Вот, – говорит, – тут письмишко к молодому вашему сиятельству. Рассказан тут план местонахождения вклада. Поклонись, – говорит, – ему – сыну и передай родительское благословение.

Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись. Домой я поехал... Да тут опять речь никакая. Только прожил дома почти что два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, – говорят, – новые революционные события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сиятельство?

– Уехал, – говорят, – а куда – неизвестно. Кажется, что к старому папаше – в его имение.

Хорошо-с...

Штаб полка.

Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортую, из несрочного отпуска.

А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин – бяк меня по уху.

– Ах ты, – говорит, – княжий холуй, снимай, – говорит, – собачье мясо, воинские погоны! «Здорово, – думаю, – бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая...»

– Ты, – говорю, – по морде не бейся. Погоны снять – сниму, а драться я не согласен.

Хорошо-с.

Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой, и...

– Катись, – говорят, – колбаской.

А денег у меня, запомнил, ничего не осталось, только рубль дареный, зашитый в ватном жилете.

«Пойду, – думаю, – в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня обещанным капиталом».

Только иду нешибко лесом, слышу – кличет кто-то.

Смотрю – посадские. Босые босячки. Крохоборы.

– Куда, спрашивают, идешь-катишься, военный мужичок?

Отвечаю смиренномудро:

– Качусь, – говорю, – в город Минск по личной своей потребности.

– Тек-с, – говорят, – а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешочке?

– Так, – отвечаю, – кое-какое свое барахлишко.

– Ох, – говорят, – врешь, худой мужик!

– Нету, воистинная моя правда.

– Ну так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.

– Вот, объясняю, теплые портянки для зимы, вот запасная блуза гимнастеркой, штаны кой-какие...

– А есть ли, – спрашивают, – деньги?

– Нет, – говорю, – извините худого мужика, денег не припас.

Только один рыжий такой крохобор, конопатый:

– Чего, – говорит, – агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.

Только смотрю – нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, дух у меня упал, но отвечаю негордо:

– Зачем, – отвечаю, – относишься с такими словами? Я, – говорю, – на это совершенно даже не согласен.

– А мы, – говорят, – твоего согласия не спросим, нам, – говорят, – на твое несогласие ровно даже начихать. Становись, и все тут.

– Ну хорошо, – говорю, – а есть ли вам от казни какая корысть?

– Нет, корысти, – говорят, – нету, но мы, – говорят, – для-ради молодечества казним, дух внутренний поддержать.

Одолею тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.

– Убьются я, – говорю, – не согласен, но только послушайте меня, задушевные босячки: имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.

И привожу им письмо.

Только читают, безусловно: гусиный сарай... саксонское серебро... план местонахождения.

Тут я оправился; путь, – думаю, – не близкий, дам теку.

Хорошо-с.

А босячки:

– Веди, – говорят, – нас, если на то пошло, к плану местонахождения вклада. Это, – говорят, – тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.

Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу «Забава». А только теку нельзя было дать – на ночь вязали руки и ноги.

Пришли.

«Ну, – думаю, – быть беде – уголовное преступление против вашего сиятельства».

Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения. А молодой князь приезжал сюда на недельку и успел смыться в неизвестном направлении.

А сейчас в имении заседает, дескать, комиссия.

Хорошо-с.



Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.

Показываю босячкам:

– Вот, – говорю, – двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристроечки всякие, а вот и...

Только смотрю – нету гусяного сарая.

Будто должен где-то тут существовать, а нету.

Фу ты, – думаю, – что за новости.

Идем обратно.

– Вот, – говорю, – двор вашего сиятельства, вот хлев коровий...

Нету гусяного сарая. Прямо-таки нету гусяного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор обьелозил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки – пугаются, что, дескать, сбегу.

Пал я тут на колени:

– Извините, – говорю, – худого мужика, водит нас незримая сила. Не могу признать местонахождения.

Стали тут меня бить босячки инструментом по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный.

Хорошо-с.

Сбежались крестьяне и комиссия.

Выяснилось: вклад вашего сиятельства, а где – неизвестно.

Стал я Богом божиться – не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.

Пока крестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.

Только смотрю: светло, и, безусловно, нет гусяного сарая. Вижу: кто-то разорил на слом гусяный сарай. «Ну, – думаю, – тайна сохранилась. Теперь помалкивай, Назар Ильич господин Синебрюхов».

А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет на меня.

– Вот, – говорит, – взгляните на барского холуя. Уже довольно давно совершилась революция, а он все еще сохраняет свои чувства и намерения и не желает показать, где есть дворянское добро. Вот как сильно его князя одурачили!

Я говорю:

– Может быть, тут нету никакого дурачества. А может быть, я с этой семьей находился прямо на одной точке. И был им как член фамилии.

Один из комиссии говорит:

– Если ты с их фамилии производишь, то мы тебе покажем кузькину мать. Тогда становись к сараю – мы тебя сейчас пошлем путешествовать на небо.

Я говорю:

– К сараю я встать не согласен. А вы, – говорю, – неправильно понимаете мои мысли. Не то чтобы я в их семействе родился, а просто, – говорю, – я у них иногда бывал. А что до их вещичек, то согласно плана ищите по всем сараям.

Бросились, конечно, все по сараям, а в этот самый момент мои босячки сгрудились – сиг через забор, и теку.

Вот народ копает в сараях – свист идет, но, безусловно, ничего нету.

Вдруг один из комиссии, наиболее такой въедливый, говорит:

– Тут еще у них был гусяный сарай. Надо будет порыться на этом месте.

У меня от этих слов прямо дух занялся.

«Ну, – думаю, – нашли. Князь, – думаю, – мне теперича голову отвертит».

Стали они рыть на месте гусяного сарая. И вдруг мы видим, что там тоже нет ничего. Что такое!

«Неужели, – думаю, – князь ваше сиятельство, этот старый трепач, переменял местонахождение вклада?» Это меня прямо даже как-то оскорбило.

Тут я сам собственноручно прошелся с лопатой по всем местам. Да, вижу, ничего нету. «Наверное, впрочем, – думаю, – заезжал сюда молодой князь ваше сиятельство, и, наверное, он подбил старичка зарыть в другом месте, а может быть, и вывез все в город. Вот так номер».

Тут один из комиссии мне говорит:

– Ты нарочно тень наводишь. Хочешь сохранить барское добро.

Я говорю:

– Раньше я, может, хотел сохранить, но теперича нет, поскольку со мной допущено недоверие со стороны этой великосветской фамилии.

Но они не стали больше со мной церемониться, связали мне руки, хватили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А после год мурыжили на общественных работах за сокрытие дворянских ценностей.

Вот такая великосветская история произошла со мной. И через нее моя жизнь пошла в разные стороны, и через нее я докатился до тюрьмы и сумы и много путешествовал.

### **Виктория Казимировна**

В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И, конечно, изучил эту нацию. <...>

Нет, это уже очень чересчур гордая нация. И среди них женское население особенно задается.

Но между тем однажды я встретил одну польскую паненку и ее полюбил, и через это такая у меня к Польше симпатия пошла – лучше, – думаю, – этого народа и не бывает.

И нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен – рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бородавку даже подстриг и подлую ее ручку целовал.

Было такое польское местечко Крево. На одном конце – пригорок, немцы окопались. На другом – обратно пригорок, мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно – остались. И как они так существовали – подумать странно.

Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они – ничего, живут себе прежней жизнью. Ходили мы к ним в гости.

Бывало, в разведку либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.

К мельнику всё больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, – говорит, – он деньжонки капиталом, да только не говорит где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока чего-то пугается и скрывает.

А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.

В душевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

– Пусть, – говорит, – они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки, – оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, приметил я, синий.

Хорошо-с. Баловали они старичка.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его престарелая да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства – все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. Была тогда другая особа, тоже, может быть, полячка – супруга молодого князя вашего сиятельства. А что касается Виктории Казимировны, то быть ее тогда, конечно, не могло. Была она в другой раз и по другому делу... Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.

И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения... Только, помню, пришли раз к мельнику. Сидим – хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.

– Фу ты, – восхищаюсь, – какой интересный случай.

А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее да отмалчиваюсь.

Только попозже берет она меня за руку, любитесь мной.

– Я, – говорит, – господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, – говорит, – есть у меня до вас просьбишка: спасите, – говорит, – меня для ради бога. Желаю, – говорит, – уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там в польский город, потому что – сами видите – погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, – говорит, – против отца не злоупотребляю, но не сегодня завтра он, безусловно, помрет, болезнь у него – жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любитесь.

– Ах, – говорит, – Назар Ильич господин Синебрюхов, вы – самый здесь развитой и прелестный человек, и как-нибудь вы это сделаете.

Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево... Он, безусловно, вынет свое добро... Тут мы и заставим его поделить.

Прихожу назавтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу-гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.

– Сейчас, – говорю, – Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу демонстративно к мельнику.

– Так и так, – говорю, – теперь, – говорю, – вам, старичок, каюк-компания – выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.

Ох как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке... И сам как был в нижних подштанниках – шась за дверь и слова никому не молвил. Вышел он на двор, и я тихонько следом. А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А немец, помню, чтой-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю – и кровь по белому каплет.

«Ну, – думаю, – произошла беда – пуля». Повернулся он, – смотрю, – назад, руки опустил и к дому.

Да только, – смотрю, – пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забегал я к нему, сам пугаюсь, хватать да хватать его за руку, а рука уж холодеет, и смотрю: в нем дыхания нет – покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит – земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скопился.

И такой в халупе страх настал – сидим, и дышать даже жутко.

Так вот помер мельник через меня, и сгинули – во веки веков – его деньжонки капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет, и всю неделю плачет – не сохнут слезы.

А как приду к ней – гонит и видеть меня не может.

Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, – смотрю, – нету, и подступает она ко мне даже любовно.

– Что ж, – говорит, – ты сделал, Назар Ильич господин Синебрюхов? Ты, – говорит, – во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Ты, – говорит, – погубил моего отца. И через это я окончательно лишилась его деньжонок. И теперь достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, – говорит, – ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз, – звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часики с браслеткой.

Покачал я прегорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько.

– Пойду, – говорит, – поджидает меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич господин Синебрюхов!

– Стой, – говорю, – стой, Виктория! Дай, – говорю, – срок, дело это обдумать надо.

– А чего, – говорит, – его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

На войне, – думаю, – все можно. Будут, может, немцы наступать – пошурю по карманам, если на то пошло.

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка... Эх, дай бог память – Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд – и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо. Стрельнет и норовит взорвать что побольше.

Над ней и командир был – морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но – сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.

А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и – пушечка.

Германии она очень досаждала. В польский костел она била по кумполу, потому был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот, вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть – затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось – удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, дрянная такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно мертвый, и кругом – кража.

Ох и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня насакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску – веером три карты.

А к вечеру едет – волнуется генерал ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал. Но, конечно, не очень уж. Вот он взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

– Выходи, – говорит, – отборные орлы, налетай на немцев, разорь внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.

Генерал ваше превосходительство восхищается нами.

– Ночью, – говорит, – летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, – пушечкин затвор.

Хорошо-с.

К ночи мы и пошли.

Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.

В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него – клетка, а в клетке – не попка, попка – та зеленая, а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье – кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до девяноста лет.

И еще там многое что предсказано, что – я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полста – пулемет, пожалуйста.

Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же...

Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули самую что ни на есть тяжесть – тело пулемета. Почти что целый пулемет.

И такой, провались он совсем, претяжеленный был; те налегке – шаг да шаг, и скрылись от меня, а я пыхчу – затрудняюсь, поскольку мне досталась такая тяжесть. Мне бы наверх ползти, да смотрю – проход сообщения... Я в проход сообщения... А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.

Только чую – германец стрельнуть хочет, голова на мушке.

Другой оробел бы, другой – ух как оробел бы, а я ничего – стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину либо щелкни затвором – тут, безусловно, мне и конец.

Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад... Тут я в него и стрельнул. И вспомнил, чего задумал. Подполз к нему, пошарил по карману – противно. Ну да ничего – превозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки – нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?

Стал я через проволоку продираться – трудно. Может быть, час или больше лез, всю провал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вдохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать – кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили.

А место, – смотрю, – вполне открытое было и подальше травы даже нет – лысое место. А до халуп шагов триста.

Ну, – думаю, – каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич господин Синебрюхов, благо трава спасает.

Хорошо. Лежу.

А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили, – мстят – стреляют, прямо скажу, без остановки.

К полдню перестали стрелять, да только, – смотрю, – чуть кто проявится в нашей, в русской, стороне, так они туда и метят. Ну, значит, – думаю, – безусловно, они настороже, и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником – денег немало, только все иностранные. Часишками люблюсь. А солнце прямо так и бьет в голову, и дух у меня замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторину Казимировну, только смотрю – сверху на меня ворон спускается.

Я лежу живой, а он, может, – думает, – что падаль, и спускается.

Я на него тихонько шикаю.

– Шш, – говорю, – пошел, провал тебя возьми!

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня насаждает.

И ведь такая птичья нечисть – прямо на грудь садится, а поймать я никак его не поймаю – руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь – он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чует.

Ну, – думаю, – пропал Назар Ильич господин Синебрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря.

Немцы, безусловно, сейчас заметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось: ворон при жизни человека жрет.

Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены – кровь течет, а тут еще он щиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на него крикну: кыш, кричу, паршивец!

Крикнул, и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги – бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет наземь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я к земле не припадаю – бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу – не знаю. Только добежал, смотрю – из плеча кровь течет – ранен. Тут по-за халупами шаг за шагом дошел до своих и скопился замертво. А очнувшись, запомнил, в обозе в полковом околотке.

Только хватать-похватать за карман – часишки тут, а кабаньего бумажника как не бывало. То ли я на месте его оставил – ворон спрятать помешал, то ли выкрали санитары.

Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупу.

– Вздравствуйте, – говорю, – ваше высокоблагородие, и вздравствуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна!

Тут, – смотрю, – смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.

– Чего, – говорит, – тебе надобно? Ты, – говорит, – давно мне примелькался, под окнами треплешься. Ступай, – говорит, – отсюдова, к лешему.

А я грудь вперед и гордо так отвечаю:

– Вы, – говорю, – хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское, и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, – говорю, – она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор.

Как закричал он на меня:

– Ах ты, – закричал, – сякой-такой водохлеб! Как же ты это смеешь так выражаться... Снимай, – говорит, – Георгия, сейчас я тебя, наверно, ударю.

– Нет, – отвечаю, – ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, – говорю, – руки короткие.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздыхнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь, слышу, ктой-то топчет ножками.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку впиалась цапастенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и сама такое:

– Низенько кланяюсь вам, Назар Ильич господин Синебрюхов... Простите меня, такую-то, для ради бога, да только судьба у нас разная...

Хотел я было упасть тут же перед ней, хотел было сказать что-нибудь такое, да вспомнил все, превозмог себя.

– Нету, – говорю, – тебе, полячка, прощения во веки веков.

## Чертовинка

Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прямо скажу, роскошная.

Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть да бороденку почесывать.

Все со мной чтой-то такое случается... Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертовинка препятствует моей хорошей жизни.

С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дома, – думаю, – полное хозяйство. Так нет, навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что всевсякое. Тут и тюрьма, и сума, и пришлось даже мне, такому-то, идти наниматься рабочим батраком к своему задушевному приятелю. И это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве.

Да-с.

При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело!

А случилось вот как.

Из тюрьмы меня уволили, прямо скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый.

Ну, – думаю, – куда же мне такому-то голому идти – домой являться? Нужно мне обжиться в Питере.

Поступил я в городскую милицию. Служу месяц и два служу, состою все время в горе, только глядь-поглядь – нету двух лет со дня окончания германской кампании.

Ну, – думаю, – пора и ехать, где бы только разжиться деньжонками.

И вот вышла мне такая встреча.

Стою раз преспокойно на Урицкой площади, – смотрю, – какой-то прет на меня в суконном галифе.

– Узнаешь ли, – спрашивает, – Назар Ильич господин Синебрюхов? Я, – говорит, – и есть твой задушевный приятель.

Смотрю: точно – личность знакомая. Вспоминаю: безусловно, задушевный приятель – Утин фамилия.

Стали мы тут вспоминать кампанию, стали радоваться, а он, вижу, чего-то гордится, берет меня за руку.

– Хочешь, – говорит, – знать мою биографию? Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении.

– Что ж, – отвечаю, – дорогой мой приятель Утин, всякому свое, всякий, – говорю, – человек дает от себя какую-нибудь пользу. Ты же человек, одаренный качествами, и я посейчас вспоминаю всякие твои исторические рассказы и переживания. И Пипина Короткого, – говорю, – помню. Спасибо тебе немало!

А он вдруг мной восхитился.

– Хочешь, – говорит, – поедem ко мне, будем жить с тобой в обнимку и по-приятельски.

– Спасибо, – говорю, – дорогой приятель Утин, рад бы, да нужно торопиться мне в родную свою деревеньку.

А он вынул откуда-то кожаный бумажник, отрыл десять косых.

– На, – говорит, – возьми, если на то пошло. Поезжай в родную свою деревню либо так истрать – мне теперь все равно.

Взял я деньжонки и адрес взял.

«Что ж, – думаю, – и я ему немало сделал, а тут вполне прекрасный случай, – поеду пока в свою деревню. А там видно будет – может, и действительно побываю по этому адресу. Вот, – думаю, – спасибо Утину – сделал благодарность за мое благодеяние».

А это верно: на фронте я его всегда покрывал. Там, скажем, бой или разведка, я – прямо к ротному командиру. Так и так, отвечаю. Утина никак нельзя послать. Ну, не дай бог, пуля его пристрелит – человек он образованный, и погибнет с ним большое знание.

И через меня устроили его на длинномер – так он всю свою жизнь, всю то есть германскую кампанию, и мерил шаги до германских окопчиков.

Так вот произошла такая с ним встреча, и вскоре после того собрался я и поехал в родные свои места.

И вот, запомнил, подхожу к своей деревеньке походным порядком, любуюсь каждой даже ветошкой, восторгаюсь, только смотрю – ползет навстречу поп, черт его побери.

Ну, – думаю, – будет теперь беда-бедишка. А сам, безусловно, подхожу к нему.

– Вздравствуйте, – говорю, – батюшка отец Сергей! Вполне прелестный день.

Как шатнется он от меня в сторону.

– Ой-е-ей, – говорит, – взаправду ли это ты, Назар Ильич Синебрюхов, или мне это образ представляется?

– Да, – говорю, – взаправду, батюшка отец Сергей, а что, – говорю, – случилось – ответьте мне для-ради бога.



– Да как же, – говорит, – что случилось? Я по тебе, живому, панихидки служу, и все мы почитаем тебя умершим покойником, а ты вон как... А супруга, – говорит, – твоя, можешь себе представить, живет даже в советском браке с Егор Ивановичем.

– Ой-е-ей, – отвечаю, – что же вы со мной такоеча сделали!

Очень я растрогался, сам дрожу.

Ну, – думаю, – вот и беда-бедишка.

Ничего я попу больше не сказал и потрусил к дому.

Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю – уже сидят двое: баба моя Матрена Васильевна Синебрюхова да Егор Иванович. Чай кушают. Поклонился я низенько.

– Чай, – говорю, – вам да сахар! Что же тут такоеча приключилось, Егор Иванович Клопов, не томите меня для-ради бога.

А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко.

– Вот, – смотрю, – спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька – все на том же месте.

Только вдруг подходит ко мне Егор Иванович, ручкой этак вот передо мной крутит.

– Ты, – говорит, – чужие предметы руками не тронь, а то, – говорит, – я сам за себя не отвечаю.

– Как же, – намекаю, – чужие предметы, Егор Иванович, если это, безусловно, мои штаны? Вот тут даже, взгляните, химический подпис: Ен Синебрюхов.

А он:

– Нет тут твоих штанов, и быть их не может – тут, – говорит, – все мое добришко пополам с Матреной Васильевной.

А сам берет Матрену Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину.

– Вот, – говорит, – я, а вот – законная супруга моя, драгоценная Матрена Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону.

Тут поклонилась мне Матрена Васильевна.

– Да, – отвечает, – воистинная все это правда. Идите себе с богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для-ради бога постороннему счастью.

Очень я опять растрогался, вижу – все пошло прахом, и ударил я тут Егор Ивановича. И ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так, для ради собственного блезиру. А он, гадюка, упал нарочно навзничь. Ногами крутит и кровью блюет.

– Ой-е-ей, – кричит, – убийство!

Стали тут собираться мужички. И председатель тоже собрался. Фамилия – Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егор Ивановича поднимать...

А только смотрю – многие прямо-таки мной восхищаются и за меня горой стоят, и даже подзюкивают в смысле Егор Ивановича.

– Побей, подзюкивают, Егор Ивановича, а мы, – говорят, – в общей куче еще придадим ему, и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство. И тогда ослобонится твоя бывшая супруга Матрена Васильевна.

Только замечаю: председатель Рюха перешептался с Егор Ивановичем и ко мне подходит.

– Ты что ж это, – говорит, – нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты, так твою так, выступаешь супротив нас? Контр твоя революция нам теперь вполне известна, и даже, если на то пошло, есть у меня свидетели.

Вижу – человек обижается, я ему тихоньким образом внедряю:

– Я, – говорю, – беспорядков не нарушаю. Ни отнюдь. Но, – говорю, – как же так, если это мое добришко, так имею же я право руками трогать? И штаны, – говорю, – мои, взгляните – химический подпис.

А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает.

– Нет, – говорит, – ничего тут не выйдет. Лучше, – говорит, – ушел бы ты куда ни на есть. Сам посуди: суд да дело, да уголовное следствие, – все это – год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть, выяснится, что ты – трудовой дезертир.

И так он обернул все это дело, что поклонился я всем низенько.

– Ладно, – отвечаю, – уйду куда ни на есть. Прощайте навсегда! Только пусть ответит мне Матрена Васильевна, где же родной мой сын, мальчишек Игнаша?

А она, жаба, отвечает тихими устами:

– Сын ваш, мальчишек Игнаша, летось еще помер от испанской болезни.

Заскрипел я зубами, оглянулся на четыре угла – вижу, все мое любезное висит, поклонился я в другой раз и вышел тихохонько.

Вышел я за деревню. Лес. Присел на пенек. Горюю. Только слышу: ктой-то трется у ноги.

И вижу: трется у ноги сучка небольшая, белая. Хвостиком она так и крутит, скулит, в очи мне смотрит и у ноги так и вьется.

Заплакал я прегорько, ласкаюсь к сучке.

– Куда же, спрашиваю, нам с тобой, сучка, приткнуться?

А она как завоет тонехонько, как заскулит, как завьется задом, так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха.

И вот тут я глянул на нее еще раз и задрожал.

«Откуда же, – думаю, – взяться тут сучке? – Так вот подумал, вскочил быстренько и, безусловно, от нее ходу. Эге, – думаю, – это неспроста, это, может, и есть моя чертовинка во образе небольшой сучки».

Иду это я шибко, только смотрю – за мной катится.

Я за дерево схоронился, а она травинку нюх да нюх, понюхрила и, вижу, меня нашла, снова у ноги вьется и в очи смотрит. И такой на меня трепет напал, что закричал я голосом и побежал.

Только бегу по лесу – хрясь идет, а она за мной так скоком и скачет, так меня и достигает.

И сколько я бежал – не помню, только слышу, будто внутренний голос просит:

– Упань... упань...

Упал я тут наземь, зарылся головой в траву, и начался со мной кошмар. Ветер ли зашуршит поверху, либо ветوشка обломится – мне теперь все равно, мне все чудится, что достигает меня сучка и вот-вот зубами взгрызется и, может быть, перекусит горло и будет кровь сосать.

Так вот пролежал я час или, может быть, два, голову поднять не смею, и стал забываться.

Может быть, я тут заснул – не знаю, только утром встаю: трется у ноги сучка. А во мне будто страху никакого и нет и даже какой-то смех внутренний выступает.

«Да это же, – думаю, – собачка с моего двора. Может, она не пожелала с Клоповым находиться и вот пристала ко мне, к своему законному хозяину».

Погладил я сучку по шерстке, сам, безусловно, еще остерегаюсь.

– Ну, – говорю, – нужно нам идти. Есть, – говорю, – у меня такой задушевный приятель Утин. К нему мы и пойдем. Будем с ним жить в обнимку и по-приятельски. Пойдем со своим законным хозяином.

Так вот я сказал ей, будто у нас вчера ничего и не было. Встаю и иду тихонечко. Она, безусловно, за мной.

Прихожу, например, в одну деревню, расспрашиваю.

– Это, – говорят, – очень даже далеко, и идти туда нужно, может быть, пять ден.

– Ой-е-ей, – говорю, – что же мне такоеча делать? Дайте, – говорю, – мне, если на то пошло, полбуханки хлеба.

– Что ты, – говорят, – что ты, прохожий незнакомец, тут кругом все голодуют и сами возьмут, если дастишь.

Так вот не дали мне ничего, и в другой деревне тоже ничего не дали, и пошел я вовсе даже голодный с белой своей сучкой.

Да еще, не вспомню уже откуда, увязался за нами преогромный такой пес – кобель.

Так вот иду я сам-третий, голодую, а они, безусловно, нюх да нюх и найдут себе пропитание.

И так я голодовал в те дни, провал их возьми, что начал кушать всякую нечисть и блекоту, и съел даже, запомнил, одну лягуху.

Теперь вот озолоти меня золотом – в рот не возьму, а тогда съел.

Было это, запомнил, к концу дороги. К вечеру я, например, очень ослаб, стал собирать грибки да ягодки, смотрю – скачет.

И вспомнил: говорил мне задушевный приятель, что лягух, безусловно, кушают в иностранных державах и даже вкусом они вкусней рябчиков. И будто сам он ел и похваливал.

Поймал я тогда лягуху, лапишки ей пообрывал. Кострик, может быть, разложил и на согретый камушек положил пекчись эти ножки.

А как стали они печеные, дал одну сучке, а та ничего – съела.

Стал и я кушать.

Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту гадливость.

Может быть, ее нужно с солью кушать – не знаю, но только в рот ее больше не возьму.

Все-таки съел я ее, любезную. Поблевал маленько. Заел еще грибами и побрел дальше.

И сколько я так шел – не помню, только дошел до нужного места.

Вспрашиваю:

– Здесь ли проживает задушевный приятель Утин?

– Да, – говорят, – безусловно, здесь проживает задушевный приятель Утин. Взойдите вот в этот домишко.

Взошел я в домишко, а сучка у меня, заметьте, в ногах так и вьется, и кобель сзади. И вот входит в зальце задушевный приятель и удивляется:

– Ты ли это, Назар Ильич товарищ Синебрюхов?

– Да, – говорю, – безусловно. А что, – говорю, – такоеча?

– Да нет, – говорит, – ничего. Я, – говорит, – тебя не гоню и супротив тебя ничего не имею, да только как же все это так? У меня, – говорит, – тут уже папаша живет. И мой папаша, наверно, будет что-нибудь иметь против. Он у меня очень такой несговорчивый старичок. А лично я, – говорит, – всецело рад и счастлив твоему прибытию.

Тогда я отвечаю ему гордо:

– Нет, – отвечаю, – дорогой мой приятель Утин, вижу, что ты не рад, но я, – говорю, – пришел не в гости гостить и не в обнимку жить. Я, – говорю, – пришел в рабочие батраки наняться, потому что нет у меня теперь ни кола, ни даже куриного пера.

Подумал это он.

– Ну, – говорит, – ладно. Лучше меня, это знай, человека нет! Я, – говорит, – каждому отец родной. Я, – говорит, – тебя чудным образом устрою. Становись ко мне рабочим по двору. Я так своему папе и скажу.

И вдруг, замечайте, всходит из боковой дверюшки старичок. Чистенький такой старикан. Блуза на нем голубенькая, подпоясок, безусловно, шелковый, а за подпояском – платочек носовой. Чуть что – сморкается в него, либо себе личико обтирает. А ножками так и семенит по полу, так, гадюка, и шуршит новыми полсапожками.

И вот подходит он ко мне.

– Я, – говорит, – рекомендую: папаша Утин. Чего это ты, скажи, пожалуйста, приперся с собаками? Я, – говорит, – имейте в виду, собак не люблю и терпеть их ненавижу. Они, мол, всюду гадят и кусаются.

А сам, – смотрю, – сучку мою все норовит ножкой своей толкнуть.

И так он сразу мне не понравился, и сучке моей, вижу, не понравился, но отвечаю ему такое:

– Нет, – говорю, – старичок, ты не пугайся, они не кусачие...

Только это я так сказал, сучка моя как заурчит, как прыгнет на старичка, как куснет его за левую руку, так он тут и скопился.

Подбежали мы к старичку...

И вдруг, – смотрю, – убежала моя сучка. Кобель, безусловно, тут, кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету.

Люди после говорили, будто видели ее на дворе, будто она ела косточку, да только вряд ли, не знаю, не думаю... Дело это совершенно удивительное.

Так вот подошли мы к старичку. Позвали фершала. Фершал ранку осмотрел.

– Да, – говорит, – это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая. Маленькая ранка. Не спорю. Но, – говорит, – наука тут совершенно бессильна. Нужно взять старичка в Париж – наверное, сучка была бешеная. А там ему сделают операцию.

Услышал это старик, задрожал, увидел меня.

– Бейте, – закричал, – его! Это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился. Ой-е-ей, – говорит, – умираю и завещаю вам перед смертью: гоните его отсюда.

«Ну, – думаю, – вот и беда-бедишка произошла через эту белую сучку. Недаром я ее в лесу испугался».

А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин.

– Вот, – говорит, – тут налево порог. Больше мы с тобой не приятели!

Взял я со стола ломоточек хлеба, поклонился на четыре угла и побрел тихохонько.

### Гиблое место

Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться.

И верно. К чему приткнуться человеку, если каждый предмет, заметьте, свиное корыто даже, имеет свое назначение, а человеку этого назначения не указано? И через это человеку самому приходится находить свое определение.

И через это, начиная с германской кампании, многие ходят по русской земле, не понимая, что к чему.

И таких людей видел я немало и презирать их не согласен. Такой человек – мне лучший друг и дорогой мой приятель. Поскольку такой человек ищет свое определение. И я тоже это ищу. Но только не могу найти, поскольку со мной случаются разные бедствия, истории и происшествия.

Конечно, есть такие гиблые места, где кроме таких, как я, и другие тоже ходят. Жулики. Но такого страшного жулика я сразу вижу. Взгляну и вижу, какой он есть человек.

Я их даже по походке, может быть, отличу, по самомалейшей черточке увижу.

Я вот, запомнил, встретил такого человека. Через него мне тоже одна неприятность произошла. А я в лесу его встретил.

Так вот, представьте себе – пенек, а так – он сидит. Сидит и на меня глядит.

А я иду, знаете ли, смело и его будто и не примечаю.

А он вдруг мне и говорит:

– Ты, – говорит, – это что?

Я ему и отвечаю:

– Вы, – говорю, – не пугайтесь, иду я, между прочим, в какую-нибудь там деревню, на хлебородное местечко, в рабочие батраки.

– Ну, – говорит, – и дурак (это про меня то есть). Зачем же ты идешь в рабочие батраки, коли я, может быть, желаю тебя осчастливить? Ты, – говорит, – сразу мне приглянулся наружной внешностью, и беру я тебя в свои компаньоны. Привалило тебе немалое счастье.

Тут я к нему подсел.

– Да что ты? – отвечаю. – Мне бы, – говорю, – милый ты мой приятель, вполне бы неплохо сапожонками раздобыться.

– Гм, – говорит, – сапожонками... Дивья тоже... Тут, – говорит, – вопрос является побольше. Тут вопрос очень даже большой.

И сам чудно как-то хихикает, глазом мне мигун мигает и все говорит довольно хитрыми выражениями.

И смотрю я на него: мужик он здоровенный и высокущий, и волосы у него, заметьте, так отовсюду и лезут, прямо-таки лесной он человек. И ручка у него тоже особенная. Правая ручка у него вполне обыкновенная, а на левой ручке пальцев нет.

– Это что ж, спрашиваю, приятель, на войне пострадал, в смысле пальцев-то?

– Да нет, мигает, зачем на войне. Это, – говорит, – дельце было. Уголовно-политическое дельце. Бякнули меня топором по случаю.

– А каков же, спрашиваю, не обидьтесь только, случай-то?

– А случай, – говорит, – вполне простой: не клади лапы на чужой стол, коли топор вострый.

Тут я на него еще раз взглянул и увидел, что он за человек.

А после немножко оробел и говорю:

– Нет, – говорю, – милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я, – говорю, – не согласен идти на уголовно-политическое дело, имейте в виду. Я человек, – говорю, – вполне кроткий, потребности у меня небольшие. И прошу – оставьте меня в покое продолжать мой путь. – Так вот ему рассказал это, встал и пошел.

А он мне кричит:

– Ну и выходит, что ты дурак и старая дырявая тряпка (это на меня то есть). Пошел, – говорит, – проваливай, покуда целый.

Я, безусловно, за березку да за сосну и теку.

И вот, запомнил, пришел в деревню, выбрал хату наибогатенькую. Зашел. Наймусь, – думаю, – тут в батраки. Наверное, кормить будут неплохо. А то я сильно отощал. И вот зашел.

А жил-был там мужик Егор Савич. И такой, знаете ли, прелестный говорун мужик этот Егор Савич, что удивительно даже подумать. Усадил он меня, например, к столу, хлебом попотчевал.

– Да, – отвечает, – это можно. Я возьму тебя в работники. Пожалуйста. Что другое – не знаю, может быть, ну, а это – сделайте ваше великое удовольствие – могу. Делов тут хотя у меня не много и даже чересчур мало, и вообще работы у меня почти что нету, но зато мне будет кое с кем словечком переткнуться. А то баба моя – совсем глупая дура. Ей бы все пить да жрать да про жизнь на картишках гадать. Можете себе представить. Так что я тебе прямо скажу – найму не без удовольствия. Только, – говорит, – приятный ты мой, по совести тебе скажу, место у нас тут гиблое. Народу тут множество многое до смерти испорчено. Босячки всякие так и ходят под флагом бандитизма. Поп вот тоже тут потонул добровольно, а летом, например, матку моей бабы убили по случаю. Тут, приятный ты мой, места вполне гиблые. Смерть так и ходит, своей косой помахивает. Но если ты не из пугливых, то, конечно, оставайся.

Так вот поговорили мы с ним до вечера, а вечером баба его кушать подает.

Припал я тут к горяченькому, а он, Егор Савич, так и говорит, так и поет про разные там дела-делишки и все клонит разговор на самые жуткие вещи и приключения, и сам дрожит и пугается.

Рассказал он мне тогда, запомнил, случай, как бабу Василису убили. Как бабу Василиса у помойной кучи присела, а он, убийца, так в нее и лепит из шпалера, и все, знаете ли, мимо. Раз только попал, а после все мимо.

А дельце это такое было.

Пришли к ним, например, два человека и за стол без слова сели. А бабу Василиса покойница – яд была бабка.

<...> Ладно. Бабу Василиса видит, что смело они так сели, и к ним.

– Вы, – говорит, – кто же такие будете, красные, может быть, или, наверное, белые?

Те усмехнулись и говорят:

– А ты угадай, мамаша. Ежели угадаешь, то мы тебя угостим свиным шпиком. А ежели нет, то извиняемся – на тот свет пошлем. Нынче жизнь не представляет какой-нибудь определенной ценности, а это у нас будет вроде интересной игры, которая нас подбодрит на дальнейшее путешествие.

Бабу Василиса испугалась и затряслась. Сначала она так сказала, потом этак.

Те говорят:

– Нет, не угадала, мамаша. Мы – зеленая армия. И мы идем против белых и против красных под лозунгом «Догорай моя лучина».

И тут они взяли бабу за руку и застрелили ее во дворе.

И когда это Егор Савич рассказал, я его побранил.

– Чего ж это ты, – побранил, – за бабу-то не вступился? Явление это вполне недопустимое.

А он:

– Да, – говорит, – недопустимое, сознаю, но, – говорит, – если бы она мне родная была матка, то – да, то я, я очень вспыльчивый человек, я, может быть, зубами бы его загрыз, ну, а тут не родная она мне матка – бабы моей матка. Сам посуди, зачем мне на рожон было лезть?

Спорить я с ним не стал, меня ко сну начало клонить, а он так весь и горит и все расстреляет себя на страшное.

– Хочешь, – говорит, – я тебе еще про попа расскажу? Очень, – говорит, – это замечательное явление из жизни.

– Что ж, – отвечаю, – говори, если на то пошло. Ты, – говорю, – теперь хозяин.

Начал он тут про попа рассказывать, как поп потонул.

– Жил-был, – говорит, – поп Иван, и можете себе представить...

Говорит это он, а я слышу – стучит кто-то в дверь и голос-бас войти просит.

И вот, представьте себе, входит этот самый беспалый, с хозяином здоровается и мне все мигун мигает.

– Допустите, – говорит, – переночевать. Ночка, – говорит, – темная, я боюсь. А человек я богатый. Могут обокрасть.

И сам, жаба, хохочет.

А Егор Савич так в мыслях своих и порхаёт.

– Пусть, – говорит, – пусть. Я ему про попа тоже расскажу: – Жил-был, – говорит, – поп, и, можете себе представить, ночью у него завyla собака...

А я взглянул в это время на беспалого – ухмыляется, гадюка. И сам вынимает серебряный портсигарчик и папироску закуривает.

«Ну, – думаю, – вор и сибиряк. Не иначе как кого распотрошил. Ишь ты, какую вещь стибрил».

А вещь – вполне роскошный барский портсигар. На нем, знаете ли, запомнил, букашка какая-нибудь, свинка, буковка.

Оробел я снова и говорю для внутренней бодрости:

– Да, – говорю, – это ты, Егор Савич, например, про собаку верно. Это неправда, что смерть – старуха с косой. Смерть – маленькое и мохнатенькое, катится и хихикает. Человеку она незрима, а собака, например, ее видит, и кошка видит. Собака как увидит – мордой в землю уткнется и воет, а кошка – та фырчит, и шерстка у ней дыбком становится. А я вот, – говорю, – такой человек, смерти хотя и не увижу, но убийцу замечу издали и вора, например, тоже.

И при этих моих словах на беспалого взглянул. Только я взглянул, а на дворе:

– У... у...

Как завоет собака, так мы тут и зажались.

Смерти я не боюсь, смерть мне даже очень хорошо известна по военным делам, ну, а Егор Савич – человек гражданский, частный человек.

Егор Савич как услышал «у... у...», так посерел весь, будто лунатик, заметался, припал к моему плечу.

– Ох, – говорит, – как вы хотите, а это, безусловно, на мой счет. Ох, – говорит, – моя очередь. Не спорьте.

Смотрю – и беспалая жаба сидит в испуге.

Егора Савича я утешаю, а беспалый говорит такое:

– С чего бы, – говорит, – тут смерти-то ходить? Давайте, – говорит, – лягем спать поскорей. Завтра-то мне (замечайте) чуть свет вставать нужно.

«Ох, – думаю, – хитровой мужик, как красноречиво высказывает свое намеренье. Ты только ему засни, а он хватит тебя, может быть, топориком и – баста, чуть свет уйдет».

Нет, – думаю, – не буду ему спать, не такой я еще человек темный.

Ладно. Пес, безусловно, заглох, а мы разлеглись кто куда, а я, запомнил, на полу приткнулся.

И не знаю уж, как вышло, может, что горяченького через меру покушал, – задремал.

И вот представилась мне во сне такая картина. Снится мне, будто сидим мы у стола, как и раньше, и вдруг катится, замечаем, по полу темненькое и мохнатенькое, вроде крысы. Докатилось оно до Егора Савича и – прыг ему на колени, а беспалый нахально хохочет. И вдруг слышим мы ижехерувимское пение, и деточка будто такая маленькая в голеньком виде всходит и передо мной во фронт становится и честь мне делает ручкой.

А я будто оробел и говорю:

– Чего, – говорю, – тебе, невинненькая деточка, нужно? Ответьте мне для-ради бога.

А она будто нахмурилась, невинненьким пальчиком указывает на беспалого.

Тут я и проснулся. Проснулся и дрожу. Сон, – думаю, – в руку. Так я об этом и знал.

Дошел я тихоньким образом до Егора Савича, сам шатаюсь.

– Что, спрашиваю, жив ли? – говорю.

– Жив, – говорит, – а что такоеча?

– Ну, – говорю, – обними меня, я твой спаситель, буди мужиков, взять нужно беспалого сибирского преступника, поскольку он, наверное, хотел тебя топором убить.

Разбудили мы мужиков, стали вязать беспалого, а он, гадюка, представляется, что не в курсе дела.

– Что, – говорит, – вы горохом объелись, что ли? Я, – говорит, – и в мыслях это убийство не держал. А что касается моего серебряного портсигара, то я его не своровал, а заработал. И я, – говорит, – могу хозяину по секрету сказать – чем я занимаюсь.

И тут он наклоняется к Егору Савичу и что-то ему шепчет.

Видим, Егор Савич смеется и веселится и так мне отвечает:

– Я, – говорит, – тебя рабочим к себе не возьму. Ты, – говорит, – только народ смущаешь. Этот беспалый человек есть вполне прелестный человек. Он – заграничный продавец. Он для нас же, дураков, носит спирт из-за границы, вино, коньяк и так далее.

«Ну, – думаю, – опять со мной происшествие случилось. На этот раз, – думаю, – сон подвел. Не то, – думаю, – во сне видел, чего надо. А все, – думаю, – мое воображение плюс горячая пища. Придется, – думаю, – снова идти в поисках более спокойного места, где пища хорошая и люди не так плохи».

Собрал я свое барахлишко и пошел.

А очень тут рыдал Егор Савич.

– Прямо, – говорит, – и не знаю, на ком теперь остановиться, чтоб чего-нибудь рассказывать.

Проводил он меня верст аж за двадцать от гиблого места и все рассказывал разные разности.

## Черная магия

### 1

Не такие теперь годы, чтобы верить в колдовство или, может быть, в черную магию, но только рассказать об этом никогда не мешает.

Много темных людишек и посейчас существует. Как в других деревнях – неизвестно, а в селе Лаптенках это так. В селе Лаптенках бабы, например, и болезни всякие заговаривают, и на огонь и на воду ворожат, и травы драгоценного свойства собирают. Что до другого, не знаю, не скажу, ну а болезни – это, пожалуй, правильно. С болезнями бабка Василиса очень даже великолепно справляется.

Конечно, придет какой-нибудь этакий ферт заграничный, он, безусловно, только посмеется.

– Эх, – скажет, – Россия, Россия, темная страна!

Так ему что? Ему подавай в цилиндре доктора, в пиджаке, а на бабку Василису он и не взглянет. Да он, может быть, и на лекарского помощника Федор Ивановича Васильченку не взглянет. Вот что! Вот это какой ферт!

Но только с таким человеком я и спорить никогда не соглашусь. Там у них и жизнь другая, а не такая, там, может быть, и болезней-то таких нет, как у нас.

Вот, рассказывают, грелки у них поставлены в трамваях, чтоб сквознячок, значит, ножку не застудил, пожалуйста...

Ведь это что? Ведь это дальше и идти-то некуда. Полное европейское просвещение и культура...

Ну а у нас и жизнь тут другая, и людишки не такие. У нас вот баба, например, погибла от черной магии. Супруга Дмитрия Наумыча.

### 2

А по-пустому все и вышло. Ее, имейте в виду, Дмитрий Наумыч со двора вон выгнал. Вот оттого все и произошло. А впрочем, нет, не оттого.

Прежде случай был другой, деревенский. В дело это чертов сын Ванюшка замешался. Вот что.

Жил-был на свете такой Ванюшка, мужик больной и убогий... Из-за него все и произошло. Конечно, бывали тут на селе и раньше разные происшествия: повадились, например, мужички каждую весну тонуть – то Василь Васильич, мужик богатенький, потонул, то староста нырнул нечаянно, то Ванюшка теперь... Но только все это было по веселым делам, а такого дела, чтобы, например, бабу свою вон выгнать – тут и привычки такой ни у кого не было.



Так вот, Ванюшка больной и убогий... Я, как в Лаптенках расположился, сразу обратил полное свое внимание на Ванюшку. Ходит это он, можете себе представить, веселенький, ручки свои, сволочь, потирает. Я его запомнил, остановил тогда на селе, отвел в сторону.

– Ты что ж это, – спрашиваю, – так нахально-то ходишь и ручки свои потираешь, гадина?

А он, как сейчас помню, ехидно так посмотрел на меня.

– А чего, – говорит, – мне горе-то горевать? Мне теперь, знаете, лафа. Я хотя и больной и убогий, а жить теперь буду что надо. Очень передо мной широкий горизонт в смысле богатеньких невест и приданого.

– Да что ты, – говорю, – врешь?

– Нету, – говорит, – не вру. Как хотите. Ходит теперь мужик в очень большой цене, да только, имейте в виду, – мужик холостой, неженатый... Да, вы, – говорит, – впрочем, сами-то взгляните, что кругом деется.

Взглянул я кругом, ну, вижу – дела-делишки: на селе бабы кишмя кишат, девки на вечеринках дура с душой танцуют, а кавалеров ихних – как корова языком слизала. Нету ихних кавалеров. Никто из молодых молодчиков, заметьте, с германской войны домой не вернулся.

«Вот, – думаю, – да-а...»

А Ванюшка ходит вокруг села и хвалится.

– Дождался, – говорит, – я своего времечка. Как угодно. Дорвался до роскошной жизни. Я хоть и больной и убогий, а мужик. Из песни слова не выкинешь.

Так вот с недельку походил по селу Ванюшка, стал, сукин сын, на радостях самогонку хлебать, за речку ездить повадился... Жила-была за речкой фря такая, веселая солдатка Нюшка. И – можете себе представить – потонул Ванюшка. От солдатки возвращался ночью пьяненький и потонул, дурак. Не удержал своего счастья.

И очень тогда мужички над ним издевались.

### 3

Ну хорошо. К ночи он, например, затонул, утром походили мужички по берегу, посмеялись вдоволь и ловить его принялись.

Выехали на лодках, пошевелили баграми, кошками по дну поцарапали – нету Ванюшки.

А речонка и вся-то ничего не стоит – одно распоряжение, что речонка.

Обиделись мужички.

– Что, – говорят, – за мать честная? Василь Васильича сразу нашли, старосту тоже сразу нашли, а тут этакую невидаль, козьявку, представьте себе, такую найти не можем.

Пустили по речке горшки... Ну да. Обыкновенные горшки. Глиняные... Это не какое-нибудь там темное поверие или, может быть, старинный обычай, это роскошное средство найти утопленника. Да это можно даже доказать научными данными. Скажем, труп лежит, за корягу ногой, может быть, зацепился. Пожалуйста. Над трупом вода безусловно обязана крутиться и воронку делать... Горшок туда – и там, представьте себе, вертится.

Так вот и тут. Пустили горшки. Поплыл один горшок на середину реки и, смотрим, там крутится. Сунули там багор – глыбоко. Яма. Повертели кошкой – осталась там кошка.

Тьфу ты, дьявол!

Решили мужички: нырнуть нужно.

Тот, другой, пятый – отнекиваются.

– Димитрий Наумич...

Тот долго спорить не стал, скинул с себя платишко, рожу свою перекрестил и нырнул.

И тут-то, замечайте, все и началось.

4

Рассказывал мне после Димитрий Наумыч.

– Нырнул, – говорит, – я. Хорошо. И только я нырнул, как вдруг меня и осенило: «Что ж, – думаю, – ходил тут такой Ванюшка, холостой, неженатый, да и тот в воде захлебнулся. Чего ж, – думаю, – случай-то такой роскошный я буду из рук вон выпускать? Выгоню, например, свою бабу да и поженюсь на богатенькой».

Так вот он подумал и сам чуть водой не поперхнулся, чуть не погиб мужик – пробыл в воде сверх положенной нормы. Даже мужички тогда забеспокоились, потому что пошел по воде пузырь крупный.

Но только через минуту выплыл Димитрий Наумыч на свет земной, лег на песок и лежит ужасно скучный и даже трясется.

«Ну, – подумали мужички, – чудо-юдо на дне, не иначе».

А на дне, имейте в виду, все спокойно: лежит Ванюшка на дне, уцепившись штаниной за корягу.

Стали мужички расспрашивать: что да что, а Димитрий Наумыч и говорит:

– Тащите, – говорит, – кошкой, все спокойно.

Стали мужички тащить... да только об этом и разговор никакой – больше-то Ванюшка и не нужен в нашем деле, потому что пошло дело по другому уклону. Ну, а Ванюшку, да, вытащили. Побежал мужик Димитрий Наумыч домой.

«Что ж, – бежит и думает, – кругом во всех деревнях ходит холостой мужик в большой цене. Да я, – думает, – бабу свою теперь с лица земли сотру или, может быть, ее выгоню».

Так вот он опять подумал, да видит – как раз эти самые слова ему и нужны. Пришел домой и фигурять начал.

И баба ему ступит плохо, и вид-то ему из окна, между прочим, плохой.

Видит баба: загрустил мужик, а с чего загрустил – неизвестно. Подходит тогда она к нему со словами, а слова все у ней тихие.

– Чего, – говорит, – это вы, Димитрий Наумыч, словно как загрустили?

– Да, – отвечает он нахально, – загрустил. Хочу, – говорит, – богатеньким быть, да вы, имейте в виду, мне помеха.

Промолчала баба.

А сказать нужно, баба у Димитрия Наумыча очень даже замечательная была баба. Только одно и несчастье, что не богатая, а бедная. А так-то всем хороша: и голос у ней был тихий и симпатичный, и походка не какая-нибудь утиная – с боку, например, на бок – походка роскошная: идет, будто плавает.

Ее сестру даже родную ферт какой-то за красоту убил. Жить с ним не хотела.

В Киеве дело было...

Ну и эта тоже была очень даже красивая. Все находили. А Димитрий Наумыч мнению этому теперь не внял и свою мысль при себе имел.

Так вот поговорили они, баба промолчала, а Димитрий Наумыч все, замечайте, случая ищет.

Походил он по избе.

– Ну, давай, – орет, – баба, кушать, что ли!

А до обеда далеко было. Баба ему с резонном и отвечает:

– Да что вы, Димитрий Наумыч, я, – говорит, – еще и затоплять-то не думала.

– Ах, – говорит, – ты, юмола, юмола, ты, – говорит, – меня, может, голодом уморить думала? Собирай, – говорит, – свое барахлишко, сайки с квасом, вы, – говорит, – мне больше не законная супруга.

Очень тут испугалась баба, умишком раскинула.

Да видит – гонит. А с чего гонит – неизвестно. Во всех делах она чистая, как зеркальце. Думала она дело миром порешить. Поклонилась ему в ножки.

– Побей, – говорит, – лучше, Пилат-мученик, а то мне и идти-то некуда.

А Димитрий Наумыч просьбу хотя ее и исполнил, побил, а со двора все-таки вон выгнал.

## 5

И вот собрала баба барахлишко – юбочнку какую-нибудь свою дырявую – и на двор вышла.

А куда бабе идти, если ей и идти-то некуда?

Покрутилась баба по двору, повыла, поплакала, умишком своим снова раскинула.

«Пойду-ка, – думает, – к соседке, может, что и присоветует».

Пришла она к соседке. Соседка повздыхала, поохала, по столу картишки раскинула.

– Да, – говорит, – плохо твое дело. Прямо, – говорит, – очень твое дело паршивое. Да ты и сама взгляни: вот король виной, вот осьмерка, а баба виной на отлете. Не врут игральные карты. Имеет мужик чтой-то против тебя. Да только ты и есть сама виноватая. Это знай.

Вы обратите внимание, какая дура была соседка. Где бы ей, дуре, утешить бабу, вне себя баба, а она запела такое:

– Да, – запела, – сама ты и есть виноватая. Видишь – загрустил мужик, ты потерпи, не таранти. Он тебя, например, нестерпимыми словами, а ты такое: дозвольте, мол, сапожечки ваши снять и тряпочкой наисухонькой обтереть – мужик это любит...

Фу ты, старая дура!... Такие слова...

Утешить нужно бабу, а она растравила ее до невозможности.

Вскочила баба, трясется.

– Ох, – говорит, – да что же я такоеча наделала? Ох, – говорит, – да присоветуй хоть ты-то мне для ради самого господ! На все я теперь соглашусь. Ведь мне и идти-то некуда.

А та, старая дура, тьфу, и по имени-то назвать ее противно, ручищами развела.

– Не знаю, – говорит, – молодушка. Прямо сказать тебе ничего не могу. В очень большой цене теперь мужик. И красотой одной и качествами не прельстишь его. Это и думать не смей.

Бросилась тут баба вон из избы, выбежала на зады да по заднему проспекту и пошла вдоль села. На село-то ей, бедной, и выйти было стыдно.

И вот видит баба: идет ей навстречу старушка махонькая, неизвестная бабушка. Идет эта бабушка, тихонько катится и чтой-то про себя шепчет.

Поклонилась ей баба наша, заплакала.

– Вздравствуйте, – говорит, – старушка махонькая, неизвестная бабушка. Вот, – говорит, – взгляните, пожалуйста, какие дела-делишки на земном свете-то деются.

Взглянула старая бабушка, головенкой своей, может быть, мотнула.

– Да, – говорит, – деются, деются... Ох, – говорит, – молодая молодушка, знаю все, что на свете деется: всех людишек передавить надобно – вот что деется. Да только, умоляю тебя, не плачь, не порти очи себе. В деле таком, слеза – помощь никакая. А вот что: есть у меня средства разные, есть травы драгоценного свойства. Есть и словесные заговоры, да только в таком великолепном деле они ничего не стоят. А от такого дела, чтобы человека при себе удержать, есть одно только средство. Будет это средство страшное: особая это роскошная черная кошка. Тую кошку завсегда узнать можно. Ох, любит та кошка в очи смотреть, а как смотрит в очи, так хвостом нарочно качает медленно и спинку свою гнет...

Слушает баба ужасные старухины речи, и млеет у ней сердце.

Конечно, никто не слышал такие речи старухины, кроме бабы нашей, да только все это, безусловно, правильно. Об этом Юлия Карловна тоже говорила. Да и в дальнейшем это вполне

выяснилось. И еще в дальнейшем выяснилось, что взять нужно было туя кошку черную, в полночь баньку вытопить и туя кошку живую в котел бросить.

– Умоляю тебя, – просила бабушка, – брось туя кошку безусловно живую, а не дохлую. А как будет все кончено, вылуци кошачию косточку небольшую, круглую и, умоляю тебя, носи ее завсегда при себе.

Как услышала баба это, ужаснулась, поклонилась старухе низенько.

«Пойду, – думает, – поклонюсь еще раз Димитрию Наумычу, а если не изменит он своего мнения, так есть у меня средство страшное, роскошное».

## 6

Пошла баба на село поклониться Димитрию Наумычу, да только пошла она, имейте в виду, зря.

Где же было Димитрию Наумычу изменить свое мнение, если он так и горел и даже в город порывался ехать, закончить дело.

Я к нему тогда зашел. Он уж и лошадь свою запрягал. Он мне многое тогда высказал.

– Никогда бы, – говорит, – я такую бабу не выгнал, как бог свят. Лучше, – говорит, – растерзай ты меня на куски и разбросай те куски по полю, но на такое дело никогда бы я не согласился. Очень она, баба, мне в самый раз. Да только больно мне, слушай, богатеньким-то лестно пожить. Ты сам взгляни: ну какой я есть мужик? Только и есть одно удовольствие, что лошадь у меня, а так-то все идет в развалку и на сторону. Ну вот, ты сам, слушай, друг ты мой, ответь мне для ради самого господя, есть у меня, например, корова или нету?

– Нет, – говорю, – нет у тебя коровы, Димитрий Наумыч. Это я подтверждаю. У тебя, – говорю, – овцы даже какой-нибудь паршивой – и то нету.

– Ну, – говорит, – вот видишь! Какой же я мужик после этого?

– Да уж, – говорю, – без коровы тебе как без рук.

– Так вот, – говорит, – а вы говорите: баба! Баба что? Только что хороша собой, а больше у ней, слушай, и преимуществ-то нет никаких... Ну, сестру ее, скажем, за красоту убили. В Киеве дело было. Так мне теперь что? Мне из этого и пальтишка даже не сшить. Да и меня, прямо скажу, этим теперь не заинтересуешь.

Так вот он говорит, со мной объясняется, а баба, заметьте, рядом стоит.

Увидел он ее, закричал.

– Чего, – закричал, – тебе надобно? Уходи! Сделай такое одолжение!

А баба испугалась окрика да говорит не то, что нужно.

– Ухожу, – говорит, – я, Димитрий Наумыч, еще не знаю куда, наверное, в Киево-Печерскую лавру, так дозвольте мне на прощанье в баньке вашей попариться.

Посмотрел мужик на нее, не хитрит ли баба. Нет, не хитрит.

Подобрил Димитрий Наумыч.

– Ладно, – говорит, – попарься. В этом, – говорит, – я не притесняю. Ведь я не зверь какой-нибудь. Я за что тебя выгнал? Очень ты хорошая баба и все такое, да только уж извините – рвань коричневая. Ничего у тебя нет и, сознайся, и не было. Да и родственники, слушай, твои – за сколько лет хоть бы кто плюнул. Хоть бы кто подарок мне сделал для ради смеха. Рубашку бы, например, преподнес к празднику к светлому: носите, дескать, Димитрий Наумыч, себе на утешение... Так нет того.

Не стала баба долго его слушать, повернулась да и пошла, а Димитрий Наумыч сел в телегу, свистнул, гикнул да и был таков.

И вот, представьте себе, едет он в город, а баба тем временем баньку вытопила, кошку попову черную приманила, заперла ее в баньке и ждет ночи.

Встретил я ее, бабу бедную, в тот вечер. По селу она бежала. Стиснула этак вот кошку к груди и бежит и бежит, простоволосая и вроде как страшная.

«Ох, – подумал я, – гибнет баба!» Но только, имейте в виду, дело мое – сторона.

## 7

А к ночи сделал мужик свое дело, выпил с братом своим в городе самую что ни на есть малость и едет обратно веселенький, песни даже играет. И не чует, не гадает, что с ним такое сейчас стрясется. А стрясется сейчас с ним дело совершенно удивительное – прут, ну ветка, скажем, сухая в колесо попадет, и лошадь гибнет...

Только об этом после. К этому и время еще не подошло. А мне только сказать нужно: если б не упала тогда лошадь, то ничего бы, может быть, и не случилось с бабой, поспел бы Димитрий Наумыч, ну а тут лошадь, представьте себе, упала.

Хорошо. Так вот, едет мужик по лесу, на телеге раскинулся, ручки свои в стороны разбросал. Едет.

А лошадь идет шажком мелким, ее и править не надо. Да Димитрий Наумыч и не правит. Он, имейте в виду, вожжи даже бросил.

И это верно он поступил: лошадь и днем и ночью завсегда дорогу к дому найдет. Об этом я очень великолепно знаю. В извозчиках я и сам больше года был.

Так вот, идет себе лошадь Димитрия Наумыча шажком, а Димитрий Наумыч вожжи отпустил и про себя песни играет. А ночь, имейте в виду, темнейшая.

Хорошо. Мурлычет он, пьяненький, «Кари глазки», только смотрит, к погосту подъезжает.

И стало мужику не по себе.

«Вот, – думает, – мать честная, сколько тут людишек позарыто, да и мне места такого не миновать... А я, обратите внимание, такими вещами занят: бабу, например, свою гоню для ради какого-то богатства и роскоши...»

Подъехал он к погосту хмурый, песни свои забыл и лежит на телеге – скучает.

Только чует: смотрит будто на него ктой-то пристально.

– Кто? – крикнул мужик.

– О-о! – закричали ему с погоста.

Хотел мужик подхлестнуть свою лошадь, да только чует – и рукой ему шевельнуть жутко.

«Ну, – думает, – скорее бы место такое злачное миновать».

Только это он так пожелал себе, вдруг его ктой-то хлясь по роже!

Замер Димитрий Наумыч, похолодел.

А прут, представьте себе, обернулся еще раз в колесе – хлясь обратно по роже. Смертельно закричал Димитрий Наумыч. А лошадь – дура. Лошадь слышит, кричит мужик, думает – на нее, – понесла.

Мужик кричит чужим голосом, а лошадь так и дует, так и прет к дому.

Пронеслись они верст, наверное, пять, Димитрий Наумыч видит: никто его больше по роже не бьет – кричать перестал, в себя пришел.

Пришел в себя, тпр да тпр – не остановит коня.

Ему бы, дураку, нужно «ш-ш» сказать, а он за вожжу. Он за вожжу, а лошадь несомненно в сторону. Лошадь несомненно в сторону, а в стороне, имейте в виду, дерево.

Наскочила лошадь на дерево. Хрясь башкой об дерево и скосилась замертво.

Выпал мужик из телеги, шапку снял.

Да, видит, скончалась лошадь. «Ой, – думает, – вот беда так беда, такого и бедствия во всей жизни еще не было! Ну, – думает, – отпущена мне эта беда не иначе как за бабу мою».

Стоит мужик и себе не верит.

И себя-то ему жалко, и лошадь – дело такое драгоценное, мужицкое, и за бабу до того грустно, что и сказать невыносимо. Постоял он, постоял.

«Ну, – думает, – что есть, то есть. Пойду-ка я на село поскорей, может быть, с бабой моей еще ничего не случилось». Так вот он подумал, заторопился, привязал зачем-то лошадь к дереву, взвалил на себя дугу да сбрую и пошел скорым шагом.

Да только зря он торопился. Было уже поздно. Случилось уже такое, что и во сне не снилось мужику.

## 8

Начала баба дело свое – черную магию, когда Димитрий Наумыч к погосту подъезжал.

Пришла баба в те часы в баньку, крест и платишко свои в предбаннике оставила и без ничего в баню вошла. Вошла она в баню, крышку с котла откинула и кошку ищет.

«Где же, – думает, – кот? Не видно его чегой-то». Смотрит: забился кот под лавку.

Баба ему: кыся, кыся, а он, представьте себе, щерится и в очи смотрит.

Баба протянула руку – он зубами. Изловчилась как-то баба, ухватила его за шкуру, плюхнула в котел и крышкой поскорей прикрыла.

Прикрыла она крышкой и слышит: бьется кошка в котле это ужасно как, даже крышка чугунная вздымается. Налегла баба грудью на котел, а сама от страха сомлела вся, и вот-вот, видит, силушки удержать не хватит. А в котле повертелось, повертелось и заглохло.

Подложила баба дров побольше, отошла от печки и на лавку присела. Ждет. И вот слышит, будто вода ключом кипит. Посмотрела: да, крышка вздымается и ходуном ходит.

«Ну, – думает баба, – сейчас конец».

Подбежала она к котлу, только приподняла крышку, как в лицо ей бросится кот или чего-то такое другое. Всплеснула баба руками и на пол рухнула.

## 9

Конечно, никто не знает, как в точности это было. Скорей всего, баба открыла котел, а ее паром и обожгло. А баба с перепугу подумала, что это в нее кошка бросилась. Взяла и померла с перепугу. А конец делу был такой.

Вышел я утром на село, смотрю: бежит поскорей мужик Димитрий Наумыч, и на нем, представьте себе, честь честью дуга и сбруя.

Очень я удивился, а он – ко мне.

– Не видел ли, – кричит, – бабы моей?

– Нет, – отвечаю, – бабы я твоей не видал. А вот вчера, – говорю, – да, видел, баньку она вечор топила.

Ухватил он тут меня за руку, и мы побежали.

Ворвались в баньку, шагнули за порог, и тут представилась нам такая нестерпимая картина.

Лежит, представьте себе, баба на полу совершенно мертвая. Охнул тут Димитрий Наумыч, схватил себя за голову и говорит:

– Вот, – говорит, – через свою жадность потерял такую верную супругу!

И, конечно, заплакал горькими слезами.

## Веселая жизнь

### 1

Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и как все к простоте идет.

Скажем, двести лет назад тут, на Невском, ходили люди в розовых и зеленых камзолах и в париках. Дамы этакими куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи...

Теперь бы и подумать об этом смешно, ну а тогда была эта картина повседневная.

А впрочем, и над нами через сто лет посмеются.

Вот, скажут, как нелегко было существовать им! Мужчины на горлах воротнички этакие тугие стоячие носили, дамы – корсеты...

И верно. Смешно. Да только и это уже уходит.

Все меняется, все идет к простоте необыкновенной.

И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях.

Ну кто, какой человек вызовет меня на дуэль, если я обзову его дураком? Никто.

А раньше за это до крови бились. Да что раньше!

Недавно это было. Недавно еще, скажем, битый офицер, да и не только офицер, любой дворянин битый считал непременно долгом застрелиться или застрелить обидчика.

Я вот вспоминаю старичка древнего. Генерала одного пехотного. Актриса его в сердцах по физиономии дернула. Так что ж вы думаете?

Застрелиться хотел старичок. Плакал, тосковал всю ночь... Ну да только кончилось все благополучно. Пережил старичок. И в дальнейшем помер от дизентерии.

Ах, а смешная это была история! И не то, конечно, смешно, что актриса старичка ударила, а вся история перед тем, вся веселая жизнь генеральская была необыкновенная.

### 2

Ах, милостивые мои государи! Невозможно без слез вспомнить об этом человеке.

Нынче лежит он на Митрофаньевском. Над ним камень могильный – ангел в раскрытии. Под ангелом надпись: отставной военный генерал Петр Петрович Танана.

Малюсенький это был старичок, птичий. Вместо волос – какие-то перышки. Носик продолжительный, птичий, и звали его повсюду, старичка этого, чижиком.

Были на нем чины огромные и богатство довольно изрядное, а жил он, несмотря на это, до того грустно, что и сказать невозможно.

Пятьдесят лет прожил он, прямо скажу, неслышно, а на пятьдесят первом году, перед смертью, вдруг изменился человек.

Раньше, бывало, генеральша полные сутки орет на него, что павлин, а генерал в ответ ни полсловечка. Генерал в столовой на диване ляжет, шинелькой прикроется и жмется. А тут, на пятьдесят первом году, стал брыкаться. Генеральша, например, голосом донимает, а он в людскую.

Там у Васьки Дидюлина, у камердинера своего, сядет на кровать и только усмехнется горько:

– Вот, – скажет, – Вася, картина семейной жизни.

А Васька Дидюлин головой потрясет.

– Да, – скажет, – неинтересно вы живете, богатые люди.

А генерал иногда с ним спорить начнет:

– Что ты, брат Дидюлин. Мы, богатые люди, тоже веселиться можем, только нам нельзя все сразу. Ты вот погоди. Дай срок. Дотерпи до лета. Летом мы с тобой на Кавказ поедem. Повеселимся ужасно как. Все равно за тихую жизнь мне никто спасибо не сказал. Ну а нынче желаю пожить разгульно. До того буду яростно жить, что если бог есть на небе или, например, херувимы, так они содрогнутся.

И вот к весне генерал и Дидюлин стали в путь собираться.

### 3

А перед отъездом зовет генерал Дидюлина в комнату.

– Вот, – говорит, – что, Вася. Сейчас мы с тобой сходим по одному щепетильному делу. Пока генеральша спит у себя в креслах, бери поскорей эту корзину с пищей и идем.

Взяли они корзину и пошли.

Петербургская сторона. У черта на рогах... В шестнадцатом этаже... Звонят.

Старушонка дверь отворяет.

– Что, – спрашивает, – нужно? Я пенсионерка и держу меблированные комнаты.

Генерал отвечает:

– Нам нужно видеть мамзель Зюзиль по щепетильному делу.

– Это, – спрашивает, – циркачку-то?

– Да. Наездницу и актрису мамзель Зюзиль.

И вот входят генерал и Дидюлин в комнаты. У зеркала циркачка сидит. Вид у ней не ахти какой. Даже удивительно, как генерал заинтересовался ей.

Увидела генерала, руками всплеснула.

– Ах, ах, – говорит, – не подходите, генерал, я раздетая.

А генерал:

– Ничего, что раздетая, я по щепетильному делу.

– Ну, так, – отвечает, – садитесь тогда в сторонку и произносите ваше дело. А я навью-шечку тем временем сниму, прическу причешу и снова буду красивая и изысканная.

Генерал башлычок свой развернул. Подходит.

– Имею, – говорит, – честь отрекомендоваться – военный генерал Петр Петрович Танана. Давеча сидел в первом ряду кресел и видел всю подноготную. Я, военный генерал, восхищен и очарован. Ваша любовь, мои же деньги – не желаете ли проехаться на Кавказ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, брат Дидюлин, корзину.

У циркачки руки трясутся.

– Ах, ах, – отвечает, – мерси, генерал, не тревожьтесь беспокоиться. Не могу я так – раз, раз, по-воробыному, решиться на такое щепетильное дело. Я очень порядочная и за такие слова могу враз выгнать человека из помещения.

Генерал встает.

– Нет, – говорит, – не выгоняйте, умоляю вас. Я военный генерал Петр Петрович Танана, и всякие обиды и в особенности оскорбления действием мне невозможно перенести.

– Ах, ах, – говорит циркачка, – извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть.

– Ну-с, – говорит генерал, – это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат Дидюлин, в полпивную, носи полдюжины пива. Нужно жить да радоваться.

Побежал Дидюлин в полпивную, возвращается – сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачные.



## 4

Вскоре после того они и поехали.

Кисловодск. Высшее человеческое парение.

Вот генерал циркачке и говорит:

– Ну, машер, машер, приехали. Вот взгляните. Кисловодск. Кругом восхитительные места, кавказская природа, а это курсовые ходят.

А циркачка:

– Ну, – говорит, – и пущай себе ходят. В этом ничего нет удивительного. Давайте лучше квартиру снимать.

Снял генерал квартиру, а циркачка через улицу комнату. Живут.

Только замечает генерал: дама мамзель Зюзиль по этим местам не слишком шикарная, даже вовсе не шикарная. Одним словом, стерва.

Генерал, например, с ней под ручку идет, а в публике смех. Тут кругом высшее общество, а она гогочет и ногами вскидывает.

Вот генерал Дидюлину и говорит:

– Ну, – говорит, – брат Дидюлин, я военный генерал Петр Петрович Танана, а мне с циркачкой вместо веселья одно лишь оскорбление выходит. Тут кругом высшее общество, а она, дура такая, бисерный подзатыльник носит, гогочет и обнажается.

Дидюлин ему и советует:

– А вы, – говорит, – гоните ее, и разговор весь.

Вот генерал и согласился.

Приходит циркачка на другой день, а Дидюлин:

– Пущать, – говорит, – не велено. Иди, – говорит.

– Как же, – говорит, – не велено? Если генерал от меня в полном восхищении.

– Ну, – говорит Дидюлин, – это вам как угодно. Приказано гнать в шею.

Как услышала циркачка такие слова – затряслась. Визжит в три горла. Даже соседи заинтересовались.

– Кто это, спрашивают, визжит в три горла?

А циркачка:

– Передайте, – кричит, – генералу, что я ему, курицыну сыну, за такое нахальство голову вырву при первой встрече.

Покричала еще циркачка и ушла.

А очень тут испугался генерал. В комнате у себя заперся, шторку опустил.

– Ну, – говорит, – брат Дидюлин, вонючий случай. Дама она настойчивая, что сказала – сделает. А если сделает, мне помереть придется. Мне, военному генералу, невозможно перенести оскорбления. Лучше, – говорит, – я из комнаты никуда не выйду. А ты ко мне никого не впускай и дверь на цепке держи.

## 5

Три дня прожил генерал в комнате, не вылезая. На четвертый день осмелел – шторку поднял и сидит у окна, обедает.

И видит: личность этакая штуковатая к окну подходит.

Человек какой-то.

И шут его разберет – не то кавказец, не то русский. На подбородок посмотришь – кавказец. Подбородок пикой. На нос взглянешь – безусловно русский. Нос обыкновенный русский, крылечком выступает.

Тут и генерал заинтересовался таким смешением, из окна высунулся, вместо того чтобы шторку опустить.

А тот ближе подходит.

– Здравия, – говорит, – желаю. Имею, – говорит, – к вам очень много чувств, дайте, – говорит, – за мои чувства тарелку супу. Я вам за едой дельце расскажу.

Генерал испугался.

– Вы, – говорит, – ко мне не подходите близко и в лицо не дуйте – я военный генерал Танана, и мне это оскорбительно. Говорите на почтительном расстоянии.

– Ах, – говорит, – так! Ну, так извольте. После этого вы мне прямой враг. Вы не смотрите, что нос у меня обыкновенный, нос этот мне от матушки достался, а я настоящий гордый лезгин и за честь женщины всегда вступлюсь. Объявляю вам, надменному генералу, что если вы не удовлетворите капиталом обиженную мамзель Зюзиль, так она оскорбит вас действием публично. А что до меня, то заявляю: выжимаю левой рукой три пуда, рука у меня тяжелая. Были даже смертельные исходы.

И ушел.

Генерал сомлел, шторку опустил, сидит и трясется.

Дидюлина зовет.

– Ну, – говорит, – брат Дидюлин, вонючий случай. Делу дан неприятный оборот. Что делать, я и ума не приложу. Чувствую только, что живым мне теперь не быть. Ну, ударит она при публике – мне крышка, стреляться нужно. А если капитал ей дать, то опять-таки – какой капитал? Мало дашь – все равно ударит. Много дашь – передашь еще. Жалко. Погиб я теперь, Дидюлин. Погубила меня веселая жизнь.

А Дидюлин ему и говорит:

– А вы, – говорит, – дайте ей три катеньки и еще пообещайте, а там видно будет. Может быть, мы соберемся да и в сторону.

Генерал вынул три бумаги.

– Ладно, – говорит, – беги. Это ты прелестно придумал.

Вот Дидюлин и побежал.

## 6

А надо было так случиться, что, не доходя циркачки, армянская полпивная была. Духан, одним словом.

Вот Дидюлин бежит, деньги у него между пальцами шуршат, и думает он:

«Не малюсенькие, – думает, – деньги, мать честная. Зайти, что ли, выпить стаканчик? С циркачки и двух бумаг больно хватит».

Вот он и зашел. Выпил и еще выпил и все на свете забыл. Гуляет на все сто рублей.

А генерал у окна сидит и природой любит. Только проходит час и два. Дело к вечеру. Нет Дидюлина.

Вот генерал и думает:

«Затекли ноги. Пройтись, что ли, по улице?..»

Вышел он на улицу – хорошо. Идет по улице – превосходно. Видит – парк.

«Зайду, – думает, – в парк. Волков бояться – в лес не ходить».

Зашел в парк. Кругом духовая музыка.

Вот генерал и сам не заметил, как за столик сел... Потребовал себе еды. Сидит, кушает, музыкой восхищается.

«Ну, – думает, – ничуть не страшно».

Только вдруг видит: циркачка идет и лезгин рядом.

«Неужели, – думает генерал, – мало ей трех катенок?»

А циркачка подходит к столу.  
– Что, – говорит, – не узнали, генерал?  
– Нет, отчего же, – отвечает генерал, – узнал, машер, машер... И того, – говорит, – лезгина узнал. Очень симпатичная личность.  
– Ах, – говорит циркачка, – личность?  
И с этими словами генерала по сухонькой щеке наотмашь.  
Упал генерал в траву и лежит битый в тревожной позе. А лезгин схватил скатерть, сдернул – все бланманже на пол рухнуло.  
Захохотали они оба и ушли. Стали тут курсовые подходить толпами. Собрали генерала с травы, положили на скатерть и домой отнесли.

## 7

К ночи Дидюлин домой явился пьяный. Пришел к генералу.  
– Так и так. Прогулял денежки.  
Ничего ему генерал на это не сказал, только кивнул головой.  
– Подай, – говорит, – сюда огнестрельное оружие.  
Дидюлин, пьяный, оружие подал – и к себе.  
Спать сразу свалился.  
Только наутро вскакивает, вспоминает все. «Ну, – думает, – помер генерал. Вечный покой». Вбегает в комнату, смотрит: сидит генерал на кровати и тоненько так смеется. Весело.  
– А, – говорит, – брат Дидюлин. Я, – говорит, – на тебя не сержусь. Они хитры, но и я хитер. Если бы лезгин меня ударил, то да – я бы застрелился. Ну а тут актриска ударила. Баба. А баба не считается... Ах ты, дураки какие!  
На другой день генерал и Дидюлин уехали.  
А в дороге покушал генерал через меру и помер от дизентерии.

## Гришка Жиган

Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он старостину лошадь купчику уторговывал. Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал.  
– Конь-то каков, господин купчик! Королевский конь! Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать. Ей-богу, моя правда. Ну а тут вижу – человек хороший. Хорошему человеку и продать не стыдно. Особенно если купчику благородному.  
Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая – росту маленького и сама пузатая.  
– А зубы-то... Зубы-то, господин купчик, каковы! Ведь это же, взгляните, королевские зубы!  
Гришка приседал на корячки, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже наземь ложился под брюхо лошади. И хвалил брюхо.  
А купчик медлил и спрашивал:  
– Ну а она, боже сохрани, не краденая?  
– Краденая? – обижался Гришка. – Эта-то лошадь краденая! У краденой лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь всегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый, королевский взор. И масть у ней королевская.  
– Да ты много не рассусоливай, – сказал купчик. – Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи: краденая, мол, лошадь. А то ходит тут, – говорят, – вор и конокрад, Гришка Жиган... Так уж не ты ли это и будешь? А? Как звать-то тебя?

– Это меня-то? Гришей меня зовут. Это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь... А зовут, да, Гришей зовут. Могу и пачпорт вам показать... Ну, что же, берете коня-то? Королевский конь. Ей-богу, моя правда.

А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару.

– Вот он, – тонко завыл староста, – вот он, собачий хвост, вор и конокрад – Гришка Жиган! Бейте его, людишки добрые!

Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает, бежать нельзя. Поймают и сразу бить будут. А сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так – вор, а не бежит и даже из рук не рвется. Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжой скрутили. А в городе бить человека неловко.

– Волоките его за город, – сказал староста, – покажем ему, вору, сукину сыну, как чужих коней уворовывать!

Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.

– Буде! – остановился Фома Хромой. И пиджак скинул.

– Начнем, братишки.

Видит Гришка, дело его плохое: бить сейчас будут. А вора-конокрада бьют мужички до смерти – такой закон.

– Братцы, – сказал Гришка, – а чья земля эта будет? Земля-то ведь эта казенная будет. Нельзя здесь меня бить. Такого и закону нет, чтоб на казенной земле человека били. И вам до суда дело, и мне вред.

Староста согласился.

– Это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти убьем человека. Волокнем его, братишки, на село. Там и концы в воду.

Повели Гришку на село.

– Братцы, – тихо спросил Гришка, – за что же бить-то будете? Под суд меня, вора и конокрада, надобно. Суд дело разберет. Да только каждый суд оправдает меня. Любой суд на лошадь взглянет и оправдает. Скверная лошаденка, шут с ней совсем. От нее и радости-то никакой нет.

– Да что ж это он, – удивился староста, – что ж это он, православные, лошадь-то мою хаает? Этакая чудная лошадь, а он хаает... Ты что ж это, хвост собачий, лошадь мою хаешь?

– Ей-богу, моя правда, – сказал Гришка. – Поступь у ней, посмотрите, какая. На такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь – она, дура такая, задом крутит. Шут ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти: грыжа, например, болезнь... От села до базара четыре версты, всякий знает, а у меня пот градом – измучила совсем, чертова анафема! Так и крутит задом, так и крутит... Да я вам даже показать могу...

Фома Хромой подошел к Гришке и ударил его.

– Чего зубы-то заговариваешь, сука старая! Если ты есть вор, так и веди себя правильно. Не заговаривай.

Повели Гришку дальше. Уж и село близко – церковь видна.

– Братцы, – смиренно сказал Гришка, – а братцы... А ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету.

Мужики шли молча.

– Вот что, – опять начал Гришка, – ходит тут такой юродивый, блаженненький Иванушка-братец... Не я, а он эти слова говорит. «Да, – говорит, – будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихорь».

– Да ну? – тихо удивился Фома Хромой. – Врешь?

– Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он и число назначил. Какое у нас число сегодня?

– Осьмое число, – ответили мужики.

– Осьмое. Правильно. Ну а тут на девятое назначено. Завтра, значит, и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихорь, и град падет на землю, и град сей будет крупнейший, с яйцо с куриное и даже больше... И будет бить этот град все насквозь. И человека, и скот домашний – корову, например, или курицу...

– И железо? – спросил староста. – Крыша у меня если, скажем, железная?

– Драгоценные есть ваши слова, – сказал Гришка, – и железо.

Мужики остановились.

– Ну а попа, – спросил кто-то, – может ли, например, поп уцелеть?

– Нет, – ответил Гришка, – и поп не может уцелеть...

– А ведь это верно, – раздумчиво сказал Фома Хромой, – ходила тут схимонашенка такая... Подтверждала эти слова. Только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила. А землетрясение – это верно. И вихорь огненный.

– Ну а что же, – спросили мужики Гришку, – что же такое делать, если, например, кто спастись хочет?..

– Да врет он! – вдруг закричал староста. – Врет ведь, собачий хвост! Зубы дуракам заговаривает. Бейте его, людишки добрые!

Мужички не двигались.

– Нельзя бить, – строго сказал Фома Хромой. – Обождать нужно. Обождем до завтра, братишки. Убить человека завсегда не поздно. Только про град-то он врет, собачий хвост. Ничего схимонашенка про такое не говорила.

– Безусловно, врет, – сказал староста, – ей-богу, врет. И про железо врет.

– Так завтра, что ли, Гришка, обещаешь ты? – спросил Фома Хромой.

– Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихорь, и град падет на землю, и град сей...

– Ладно, – сказали мужички, – обождем до завтра.

Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили.

К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали.

А у Фомы Хромого народу собралось множество. Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое:

– Если б не эта схимонашенка, да я бы первый сказал – врет он, собачий хвост. Ну а тут схимонашенка... У кого еще была схимонашенка?

– У меня, Фома Васильевич, была. У меня и есть, – сказала баба простоволосая. – К вечеру сию я преспокойно... Стучит ктой-то...

– Да, – перебил Фома Хромой, – небо пожелтеет, настанет вихорь...

Назавтра мужички в поле не вышли. А день был ясный.

Ходили мужички по селу, на старостин двор заходили и пересмеивались.

– Сидит еще пророк-то?

– Сидит.

– Соврал, собачий хвост. Как пить дать, соврал. А ведь каково складно вышло! Ах ты, дуй его горой! Такого и бить-то жалко.

И только Фома Хромой не смеялся.

Ходил Фома Хромой в одиночку, хмурился, выходил в поле и смотрел на небо.

А небо было ясное.

В полдень слышали крик на селе. Кричал Фома Хромой.

– Туча!

И точно. Из-за казенного лесу низко шла туча. Была эта туча небольшая и серая. И ветер гнал ее быстро. Все село высыпало на зады и в поля. И дивится.

– Да, туча!

Но не пожелтело небо и вихорь не настал – прошла туча над селом быстро и скрылась.  
День был ясный.

Бросились мужички на старостин двор. Хвать-похватъ – амбар открыт, а Гришки нету.  
Исчез Гришка.

А вместе с Гришкой исчез и конь старостин королевской масти.

## Искушение

Святым угодникам, что на церковных иконах, нельзя смотреть в очи...

Да бабка Василиса и не смотрит.

Ей сто лет, она две жизни прожила и все знает.

Она на Иуду Искаротского смотрит. В «Тайной вечере».

– Плохая моя жизнь, Иудушка, – бормочет бабка, – очень даже неважная моя жизнь. Я бы и рада, Иудушка, помереть, да нельзя теперь: дочка родная саван, видишь ли, истратила на кухольные передники...

Хитрит Иуда, помалкивает...

А кругом тени святые по церковным стенам ходят, помахивают рукавами, будто попы кадилами.

– Ничего, Иудушка. Молчи, помалкивай, если хочешь. Я тебя не неволю. Мне бы только, видишь ли, из беды моей выйти.

Довольно поклонялась бабка святым угодникам, нужно и кому-нибудь другому поклониться.

Кланяется баба низко. Бормочет тихие свои слова.

Только видит: подмигнул ей Иуда. Подмигнул и шепчет что-то. Что шепчет – неизвестно, но баба знает, она – сто лет прожила.

Шепчет он: оглянись-ка в сторону, посмотри, дура-баба, на пол.

Оглянулась баба в сторону, посмотрела на пол – полтинник серебряный у купчихиной ноги. Спасибо Иудушке!

Нужно ближе подойти, потом – на колени. Только бы никто не заметил.

Эх, трудно старой опуститься на колени!

Земной поклон Богу и угодникам...

Холодный пол трогает бабкино лицо...

А где же полтинник? А вот у ноги.

Тянется старуха рукой, шарит по полу.

ТЬфу, нечистая сила! Не полтинник.

Это – плевок...

Искушение, прости господи!..

## Последний барин

### 1. Встреча

Его, Гаврилу Васильевича Зубова, я встретил в Смоленске.

Помню... Базар. Пшеничный хлеб. Свиная туша. Бабы. Молоко... И тут же, у ларьков – толпа. Зрители. Хохочут. Бьют в ладоши. А перед зрителями – человек.

Я подошел.

Был это необыкновенного вида человек: босой, слоноподобный, с длинными, до плеч, седыми волосами. Он ходил таким кренделем перед толпой, рыл ногами землю, бил себя по животу, хрюкал, приседал, ложился в грязь. Он танцевал.

Сначала я не понял. Понял, когда он взял с земли дворянскую фуражку и стал обходить зрителей. В фуражку клали ему все, кроме денег: кусочки грязи, навоз, иной раз хлеб. Хлеб он тут же пожирал. Все смеялись. Но это не было смешно. Это было страшно – лицо его не улыбалось.

Я протискался ближе и вдруг узнал: это – Zubov. Помещик Гаврила Васильевич Zubov. Я вдруг вспомнил: цугом двенадцать лошадей, гонец впереди – его выезд, кровать под балдахин, лакей, читающий ему Пушкина из соседней комнаты (чтоб не видеть смерда!)...

Я положил в шапку его хлеб и сказал тихо:

– Гаврила Васильевич...

Он усмехнулся как-то хитро, в нос, и, взглянув на меня, отошел.

Да, это был Гаврила Zubov. Станный, необыкновенный человек! Последний барин, которому следовало бы жить при Екатерине...

Я хотел было уйти, но вдруг подошел ко мне какой-то старичок. Был он чистенький, опрятненький, в сюртуке. В руке он держал ковер: продавал.

Старичок высморкался в розовый платок, поправил галстук, кашлянул и сказал почти-точно:

– Извиняюсь, уважаемый товарищ, вы изволили по имени назвать Гаврилу Васильевича... Вы знали сего человека?

– Да, – сказал я, – однажды я с ним встретился...

– Однажды! – закричал на меня старичок. – Однажды? Только однажды? Так, значит, о нем вы ничего не знаете?

– Нет, – сказал я, – о нем я кое-что слышал.

Старичок недовольно взглянул на меня.

– А что Zubово он сжег – знаете?

– Сжег Zubово? Нет, не знаю.

– Нет? – снова закричал старичок, размахивая руками. – Ну, так, значит, вы ничего не знаете... А про Ленку знаете? А как Гаврила Васильевич князя Мухина высек?

Старичок засмеялся тоненько, поперхнулся, вынул розовый свой платок, высморкался и, взяв меня под руку, сказал, показывая пальцем на Zubова:

– Сжег. Сжег свое Zubово. Из великой гордости сжег. Чтоб мужичкам ничего не досталось. И нагишом ушел. В белье только. Даже кольцо с пальца скинул и в пожар бросил. Мужички по сие время шуруют на пожарище.

Старичок снова засмеялся. На этот раз он смеялся продолжительно, дважды вытаскивал носовой платок, сморкался, махал рукой, вытирал себе слезы...

Я посмотрел на Гаврилу Васильевича. Он сидел на земле, поджав под себя ноги. Величайшее равнодушие застыло на его лице. Он тихо качался всем телом, и челюсти его медленно и равнодушно двигались: он жевал хлеб.

## 2. Рассказ старичка

– Ах, уважаемый товарищ, – сказал старичок, – много ли человек стоит? А стоит человек три копейки со всеми своими качествами. Вот взгляните: сидит человек, сложив по-турецки ноги, – ему и горюшка никакого... Все забыл, все не помнит, и другая кровь течет у него по жилам.

А кто это сидит, многоуважаемый товарищ? А сидит это Гаврила Васильевич Zubov, самый, в свое время, замечательный, самый наигордый человек во всей России. Лет тому трид-

цать назад каждый сопливый мальчишка знал это имя. Жил он в Москве и не тем был замечателен, что золотом свыше одного миллиона на француженок истратил, а был он замечателен необыкновенной своей гордостью.

Гордился он прямо-таки всем: фамилией своей, и ростом, и капиталом, и тем, что покойный царь с ним в пашки игрывал и по щекам его дружески хлопал...

Разные уморительные анекдоты существовали о его безмерном тщеславии.

Рассказывали, будто в любовницах всегда у него были самые красивейшие женщины. Красивей всех. А один известный барон вывез откуда-то столь необыкновенно прекрасную девицу, что сразу затмил Зубова. Не мог перенести это Зубов. За огромные деньги перекупил он девицу эту и всюду напоказ водил ее... А была девица эта из мещаночек. И при чудной красоте своей имела руки мужицкие, красные... Так два года перед тем продержал ее Гаврила Васильевич взаперти и два года не снимал с нее кожаных перчаток. А как снял, так руки стали у ней белейшие, с прожилками.

Ах, ей-богу, до чего был гордый человек!

Рассказывали, будто на визитных своих карточках, кроме корон и всяких наименований, печатал он собственный вес – 9 пудов. Но неизвестно, может быть, это была неправда.

Известно только, что в сорок лет он не смог ужиться с людьми и по великой своей гордости и презрению к людям выехал в имение свое Зубово. И там он от всех закрылся. Никуда не выезжал и к нему никто не ездил. Наезжали, впрочем, к нему разные некрупные помещики, но Гаврила Васильевич принимал их строго: называл на ты, руки не подавал и садиться перед собой не приказывал. И всех считал дрянью, разночинцами или купчишками. Некоторые дворянчики безмерно от того обижались, но ихняя обида оставалась при них.

Пять лет прожил он сиднем, на шестой год все и случилось. А пять лет жил он до того скучно, что, будь это другой человек, непременно бы повесился.

Была у него в любовницах Ленка – девка простая и как все равно индюшка, глупая. Жила она в верхнем этаже, целые дни кушала халву и грецкие орехи и валялась на постелях.

Гаврила Васильевич поднимался к ней редко. И даже в такие дни с ней не разговаривал. Да и она сама перед ним робела.

А день у него проходил от еды до еды. Днем, без всякой на то нужды, ходил Гаврила Васильевич по своим апартаментам, и на глаза никто не смел ему показываться. А к вечеру, бывало, на кровать он свою ляжет, балдахином прикроется и велит камердинеру Гришке книги читать. Сядет Гришка в соседней комнате, дверь в барскую опочивальню прикроет и оглушительным басом кричит ему разные повести и романы.

Но иной раз, в добром душевном расположении, выходил Гаврила Васильевич в сад и приказывал палить из пушки. Стояла у него в саду пушка старинная, и стреляла она каменными ядрами. Ну, стрелънут из нее раз, другой, Гаврила Васильевич рукой махнет, дескать, достаточно, будет, и снова в свои апартаменты. И ходит, и ходит, даже посторонних тоска берет.

Иной раз устраивал Гаврила Васильевич балы. Да только это были совсем удивительные балы. Пятнадцать музыкантов на хорах трубили в инструменты вальсы и мазурки, а Гаврила Васильевич один во всем зале ходит взад и вперед, в кресла присаживается и опять ходит...

Так вот жил Гаврила Васильевич в своем Зубове побольше пяти лет. А был у него некий человек, вроде как бы его приказчик или управляющий. Ходил этот приказчик за барином своим в трех шагах, в разговоры не лез, молчал, как утопленник, и все припадал к барской ручке.

За это Гаврила Васильевич весьма его полюбил и даже приблизил. Его-то однажды Гаврила Васильевич позвал в свои апартаменты и сказал:

– Род мой древний и знаменитый, ежели в ближайшие сроки не женюсь, то окончится на мне фамилия. Угаснет род. Что делать – ума не приложу. А только требуется мне невеста хороших кровей.



Бросились люди по всей губернии... Стали разыскивать, опрашивать, где какая существует девица хороших кровей, но нигде не нашли. Все проживали мелкота и купчишки.

Стали наезжать к Гавриле Васильевичу старушки разные. Бывало, такая старушка придет, Гаврила Васильевич ее примет, послушает, а после как по столу тяпнет:

– Да ты про что врешь?

– Как это вру? Предлагаю, дескать, дворяночку.

– Кому предлагаешь? Говори, кому предлагаешь? Кто я такой?

– Зубов. Помещик Зубов.

Гаврила Васильевич только усмехался.

– Зубов! А кто такой Зубов? Да знаешь ли ты, матушка, что Зубов в бархатную книгу вписан? Да со мной император не раз в шашки играл... Да лучше я на девке простой женюсь, чем дворяночке поеду кланяться.

Приказчику Гаврила Васильевич заявил:

– Ежели в течение года невесты хороших кровей не найду, то непременно и обязательно женюсь на Ленке. Пущай весь мир погибает.

А вскоре отыскали эту невесту. Явился человек и доложил:

– Проживает в десяти верстах за Гнилыми прудами старая княгиня Мухина. Богатством она не отличается, но кровей хороших и превосходных. При ней, дескать, дочка. А какова дочка, какой внешности и какой, например, у ней нос – никто не знает. Может быть, она и очень хороша, а может быть, и хроменькая – никто об этом не знает и ее не видал.

Ужасно тут обрадовался Гаврила Васильевич.

– Ладно, – говорит, – какая бы она ни была, но раз хороших кровей, то дело сделано.

Приказал он из пушки стрелять и в тот же день отбыл к князьям Мухиным.

Приехал. Ждет. Старушка к нему выходит. Старушка весьма гордая... Капот... Наколка... Разговор все время французский...

Посмотрел на нее Гаврила Васильевич – остался доволен. Кровей, – думает, – хороших. Сомнения нету.

А она:

– Зачем, дескать, батюшка, пожаловали? По каким это делам? А мы-то тут сиднем сидим и из высшего света никого не видим.

Гаврила Васильевич ей отвечает:

– Насчет высшего света я с вами много не буду распространяться, я пожаловал сюда не мух ловить, а серьезное дело делать. Примите мое предложение – прошу ручку вашей дочери.

Старушка совершенно тут растерялась, про себя бубнит, по апартаментам мечется.

– Как? Что такое? Да разве вы знаете княжну Липочку?

– Нет, – отвечает ей гордо Гаврила Васильевич, – княжну я не знаю и знать не хочу, а прошу ее руки заочно. Пущай выходит и мне представляется.

Ужасно тут беспокоилась старушка.

– Ох, – говорит, – если так, то сейчас, сейчас. С минутку обождите. Кушайте пока чай с печеньями.

И сама за дверь вышла.

Осмотрел Гаврила Васильевич комнату. Видит, фамилия князей Мухиных небогатая: все стоит развалившись, мебель и диваны рваные.

«Ну, – думает, – мне это все равно, не за мебелью я приехал, мебель всегда заново обить можно, а мне кровь важна».

И вот выходит снова старушка, с дочкой, княжной Олимпиадочкой. Княжна хроменькая и собой столь ужасно некрасива, что и выразиться трудно. Носик совсем малюсенький, рост и телосложение тем более мизерное, волосенки жидкие – ни кожи, ни рожи.

Осмотрел ее Гаврила Васильевич и говорит:

– Ну, что ж делать? Мне с лица ее не воду пить. От слов своих не отрекаюсь, что сказал, то и свято. Приданым я интересуюсь мало – что дадите, то и ладно. Род мой старинный и знаменитый, и мне не купчиха нужна, а кровь хорошая. Объявляю ее своей невестой.

Была княгиня Мухина хоть и небогатая, но претензий и апломбу у ней было много.

– Так-то так, – говорит, – но вы с ней весьма мало знакомы, только раз и виделись. Ни любви, ни романа, ни ревности – это даже странно и не по этикету. Но если вы так торопитесь, то напишу-ка я сегодня Володичке в гвардейский полк, пусть над сестрой он сам распоряжается.

А княжна Олимпиадочка по апартаментам ходит, ножкой своей волочит и все соглашается:

– Ах, ма мер, да пусть он женится, я согласна.

Гаврила Васильевич сказал:

– Ладно. Пишите письмо. Ждать я еще могу.

Сказал он еще несколько светских слов по-французски и с тем и уехал.

Вот прошла неделя, две... Гаврила Васильевич веселится: из пушки бьет, балы устраивает...

Наконец – дежурный скачок. Докладывает: приехал, дескать, князь Мухин, только с парохом слез.

Целые сутки провел Гаврила Васильевич в нетерпении, на другой день велел собираться. Запрягли двенадцать лошадей, трубач впереди, сзади собак свора – и тронулись.

Но не доехал еще Зубов до Гнилых прудов, как велел остановиться. Остановились. Стоят.

Гаврила Васильевич думает:

«Что же это я, как мальчишка, скачу? И к кому? К какому-то офицеришке! Я в бархатную книгу вписан, со мной император запросто в шашки играл... Назад!»

Вернулся Гаврила Васильевич в Зубово, лишь один скачок на княжеский двор приехал. А во дворе князю, поручику Мухину, лошадей запрягают. Расспросы: что? как? почему? Неизвестно. Велели распрягать.

К вечеру узнается: Гаврила Васильевич вернулся с пути, не доехав до Гнилых прудов.

Проходит день, два и три – оба из гордости сидят дома. Наконец, через неделю князь Мухин присылает в Зубово скачка.

Сидел в то время Гаврила Васильевич на балконе у Ленки и халву кушал.

Скачок с лошади не слез и ворот просил не запирать. Он посмотрел на Зубова с нахальством, шапки перед ним не снял и сказал на весь двор громко:

– Его сиятельство, князь Мухин, велели доложить, что им чихать хочется на ваше благородство.

Гаврила Васильевич едва не выпал из балкона. А скачок еще сказал:

– Его сиятельство, князь Мухин, велели доложить, что в свое время таких благородных они на конюшнях парывали.

Услышали люди такие слова, враз попрятались, и, как ни кричал Гаврила Васильевич, из робости никто не вышел.

Как ударил тут скачок коня, так за воротами и скрылся вмиг.

В ужасной ярости плевал Гаврила Васильевич вниз, ногами бил, кричал:

– Держи! Трави собаками...

Выбежал он сам во двор, но скачок был далеко. Моментально приказал Гаврила Васильевич выкатить пушку на дорогу и велел стрелять.

Три раза заряжали пушку и стреляли вслед, но скачка уж и не видно было – только пыль вздымалась по дороге.

Вернулся Гаврила Васильевич домой, появился несколько дней и вдруг затих. Он призвал приказчика и сказал ему:

– Мнения своего не изменю. На хроменькой княжне женюсь, но прежде ужасно оскорблю и унижу князя Владимира. Но как это сделать – ума не приложу.

Бросились тут люди в Петербург и в Москву. За неделю разузнали, как и что. Доложили: проживает князь, поручик Мухин, в Петербурге, по кабакам ходит, кутит и в деньгах чересчур нуждается.

И неизвестно, как уж дальше вышло – деньгами или хитростью, но собрал Гаврила Васильевич против Мухина обличительные документы, расписки денежные и даже подпись одну фальшивую.

Написал ему письмо. Приезжайте, дескать, срочно, иначе угрожает вам каторга.

В три дня обернулся князь Мухин и прибыл в Zubovo. Ужасно бледный, прошел он в апартаменты Гаврилы Васильевича, почтительно ему поклонился, но сказал с усмешкой:

– Вот, – говорит, – когда пришлось нам свидеться. Говорите скорей, что за документы требуете.

Гаврила Васильевич на поклон не ответил, лишь усмехнулся только и говорит:

– Решай: либо тебе в каторгу идти и тем самым навек погибнуть, либо я тебя высеку, документы отдам и на княжне Липочке женюсь.

Вскипел сначала князь Мухин, схватился даже за оружие, стрелять хотел. Раздумал. Хотел уйти, дошел до двери – вернулся.

«Что ж, подумал, я человек погибший, из полка мне все равно уйти, а тут – либо покориться и тем самым документы вернуть и честное имя восстановить, либо в каторгу».

Подошел он к Гавриле Васильевичу, говорит тихо:

– Делайте, что хотите.

А сам мундир снял, погоны отвязал, бросил их на землю, растоптал ногами...

Крикнул тут Гаврила Васильевич камердинера Гришку, велел ему стегать князя Мухина, но не дался Мухин.

– Нет, – говорит, – такого уговора не было, чтоб меня лакей стегал.

Ужасно это понравилось Гавриле Васильевичу, рассмеялся даже.

– Ну, – говорит, – вижу, ты хороших кровей. Хвалю. Но мнения своего не изменю.

Взял он с этими словами арапник и самолично постегал князя Мухина.

Поднялся князь Мухин, дрожит. Накинул на себя мундир.

– Давайте, – говорит, – документы.

– Нет, – сказал Гаврила Васильевич, – документов я тебе не дам.

Страшно побледнел князь Мухин, заплакал с досады, бросился во двор к лошадям... Гаврила Васильевич его вернул.

– Да, – говорит, – документов я тебе не дам. Пусть придет за ними сестра, княжна Липочка.

Заплакал снова от обиды князь Мухин, ничего не сказал и вышел.

И прошло несколько дней, является княжна Липочка. Явилась она вне себя, пешком, волосенки у ней сбились на сторону, идет – трясется.

Увидел ее из окна Гаврила Васильевич, усмехнулся, крикнул камердинера Гришку и велел передать ей бумаги. А сам не вышел. Только глянул в окно, как по двору она шла, постоял недолго, бросился после к воротам. Стоит и вслед смотрит, нахмурившись. А княжна Липочка идет по дороге, бумаги в руке зажала, торопится и по пыли за собой ножку волочит.

### 3. Конец

Старичок вынул розовый свой платок, высморкался, вытер свои глазки и замолчал. Я взглянул на Гаврилу Васильевича. Он все еще сидел на земле. Он собирал крошки в ладонь и высыпал их в рот.

– А дальше? – спросил я старичка.

– Все.

– Позвольте, а как он Зубово сжег – вы не рассказали. А Ленка что?..

Старичок посмотрел на меня косо.

– Ну и сжег, – сказал он. – Как про революцию услышал, так и сжег. Сжег и вас не спросил. И нагишом ушел... А вы тут кто такой?

– Позвольте, – удивился я, – вы же сами рассказывали...

– Рассказывал! – закричал старичок, наседая на меня. – А вы кто такой? Чего вам нужно? С флагами, небось, ходили, идеи разные разглашали, ну, и проходите себе... Не задерживайте людей расспросами.

В это время Гаврила Васильевич поднялся тяжело с земли и, странно покачиваясь и дергая как-то ногами, пошел с базара.

Мой старичок посмотрел на него, засуетился, махнул рукой и пошел от меня прочь.

– Позвольте, голубчик! – закричал я ему вслед. – А как же Зубов? Женился он на княжне Липочке?

Старичок остановился, вынул свой платок, покачал головой и сказал:

– Не женился. Утонула княжна Липочка. Как в тот день из Зубова ушла, так и домой не вернулась. В Гнилые пруды бросилась.

Старичок заморгал глазками, махнул рукой и вдруг побежал.

Я долго смотрел ему вслед.

Он бежал, размахивая ковром, смешно подбирая ноги. Потом он поравнялся с Зубовым, и они пошли вместе.

## Веселые рассказы

Есть у меня дорогой приятель Семен Семеныч Курочкин. Превосходнейший такой человек, весельчак, говорун, рассказчик.

По профессии своей он не то слесарь, не то механик, а может быть, и наборщик – неизвестно мне в точности. Про свое ремесло он не любил рассказывать, а имел видимую склонность и пристрастие к сельскому хозяйству и огородничеству.

Бывало, у нас в Гавани целые дни на огороде копается. То, представьте себе, картофелину на восемь частей режет и садит так, то на четыре части, то целиком, то шелуху садит. И поливает после разными водами: речной, стоячей, с примесью какой-нибудь дряни... Чудак человек! Все ожидал от опытов своих замечательных результатов. Да только пустяки выходило. Осенью картофель копать стал – курам, ей-богу, на смех – мелочь, мелкота, горох...

Смеялись тогда над ним.

Ну, да не в этом дело. Был он, вообще, любопытный человек, а главное – умел рассказывать веселые истории.

Бывало, ночью сойдутся к нему дежурные со всех огородов, а он костер разведет и начнет вспоминать всякое. И все у него смешно выходило. Иной раз история такая трогательная – плакать нужно, а народ от смеха давится, так он комично умел рассказывать.

Да. Плохое дежурство было при нем. Иной раз утром глядишь: на одном огороде два мешка картофеля сперли, на другом турнепс вырыли...

А рассказывал он любопытно. Я уж и не вспомню всех его рассказов. Тут и про войну и великокняжеские всякие истории. И про попа Семена. И про то, как мужик один на бывшего царя был похож и что из этого вышло. И про домовладельца одного бывшего. Как шарaban у домовладельца этого реквизировали, а он, распалившись, торжественную клятву дал: не буду, дескать, бриться и волосы не буду стричь, покуда не провалится коммуна в тартарары... И как

он, волосатый, побольше четырех лет жил всем на смех, а после, на пятый год, при нэпе то есть, покушал через меру пирожных с кремом и помер от несварения...

Нет! Немыслимо всего вспомнить. Ну, а некоторые рассказы я записал.

### **Рассказ о том, как у Семен Семеныча Курочкина ложка пропала**

Я, братцы мои, человек все-таки хитрый – из хохлов. Кого угодно могу сам одурачить... А вот раз, представьте себе, меня хиромантией одурачили. Гаданием то есть.

Из-за этого гадания я, можно сказать, лишился единственного друга.

Я, конечно, даже рад, что преступник схвачен и добродетель все-таки торжествует, но все же дельце-то неприятное было.

Ох, не нравится мне чтой-то хиромантия! Шарлатанство это, братцы мои, пустяки. Я теперь лучше, ей-богу, бедному десять рублей дам, нежели на гадание истрачу.

А дельце из-за ложки вышло.

Я, конечно, человек бедный. Недвижимого имущества у меня нету. А что комод стоит в моей комнатке, то, прямо скажу, не мой это комод, а хозяйский. Кровать тоже хозяйская. А из движимого имущества только у меня и есть, что серебряная ложка. И ложка эта, кроме своей ценности, еще приятна мне по своим воспоминаниям. Бабушка покойная мне эту ложку преподнесла в день моего рождения.

Так вот однажды ложка эта у меня пропала. Как сейчас помню: оставил я ее в котле с кашей. Прихожу со службы, из второго батальона, гляжу: котелок, братцы мои, повален, каша сожрана, а ложки нету. Всю комнату я обшарил – ложку как корова языком слизала.

Подозрений у меня ни на кого не было. Во всей квартире проживали – я, хозяйка, да еще из треста служащий, Иван Герасимович. Чудный человек. Единственный мне друг и дорогой приятель. Вместе с ним и голодовали в свое время, и спиртешко пили.

Пошел к хозяйке.

– Вот, – говорю, – представьте себе, пропала у меня ложечка.

А хозяйка и говорит:

– Это ничего. Я, – говорит, – даже рада, потому что дело это поправимое. Вот вам адресок – к дорогой моей приятельнице и знаменитой гадалке хиромантке. Немедленно идите к ней, она вам за сущие пустяки объяснит и укажет, кто спер, например, вашу ложечку.

Я и пошел.

Прихожу. Темная, представьте себе, комната. Человечий череп на столе. Для испуга, что ли. Кошка тут же вертится. А сама хиромантка – бабища здоровая, в нос говорит, для эффекта. И все время подмигивает, и с носу пудра у ней сыплется.

Рассказал я, в чем дело, она карты раскинула.

– Ну да, – говорит, – так и есть: пропала у вас чайная ложечка.

– Столовая, – говорю, – пропала, а не чайная.

Хиромантка нахмурилась и говорит:

– Вы меня зря не перебивайте. Карты не могут врать. Ложка у вас, действительно, столовая пропала, но, может, вы ей чай мешали...

– Да, – говорю, – это верно.

– А если, – говорит, – верно, то пятерку на карты кладите. Только кладите не рваную. Рваную не любят карты.

Положил я пятерку, какая была почище, а гадалка и говорит:

– Ложка ваша украдена брунетом. Если хотите, могу, за известную плату, заочно показать вам личность виновника.

Заплатил я ей еще пятерку, а она в стакан воды набуровила и говорит:

– Смотрите пристально и наблюдайте.

– Нет, – говорю, – ничего не вижу.

– Ну, а теперь, – говорит, – бурлит вода?

– Да, – говорю, – когда пальцы крутите, то бурлит.

– Ну, – говорит, – если бурлит, то идите со спокойной совестью домой и ждите, что будет. Я и пошел.

Прихожу домой.

Какой же, – думаю, – брунет спер мою ложечку. Уж не дорогой ли мой приятель Иван Герасимович, благо брунет он.

И прошло уже несколько дней... Что такое? Жил Иван Герасимович смирнехонько – тише воды, ниже травы, а тут загулял. Да еще как! В кинематографы ходит, пьет, колбасу жрет – гуляет, вообще.

«Ну, – думаю, – не иначе, как гуляешь ты на мою ложечку. На жалованье так не разгуляешься».

И такая у меня к нему ненависть настала, что и сказать невозможно. И однажды не выдержал я характера – заявил в губмилицию.

Надзиратель явился с управдомом. Прошли они к Иван Герасимовичу в комнату. А Иван Герасимович как увидел их – оробел, побледнел, в ноги им рухнул.

– Хватайте, – говорит, – меня! Я преступник. Я растратил казенные суммы.

– А ложечку мою как же? – спрашиваю.

Молчит.

Стали его уводить.

– Позвольте, – говорю, – а как же ложечка-то?

Посмотрел он на меня, усмехнулся горько.

– И ты, – говорит, – брат? Нет у меня больше приятелей! Не брал я твоей ложечки. Это знай.

Так его и увели.

И прошел год. Баба моя, помню, приехала из деревни. Принялась раз комнату убирать, глядит: в крысиной норе ложка торчит.

Вот она, вещь какая! А приятеля-то я все-таки лишился навсегда. И хотя он и преступник, а все же мне его жалко.

### **Рассказ о герое германской кампании**

Как, братцы мои, вы не знаете Васьки Егудилова? Удивительно все-таки. Какого-то, например, бывшего генерала из немцев, Гинденбурга, знаете, бывшего кронпринца тоже знаете, а про Ваську Егудилова ничего не слышали?

Странно это.

Вот говорят, будто генерал Брусилов прорыв под Перемышлем устроил. Так ничего подобного – это Васька Егудилов прорыв устроил.

Васька Егудилов, ей-богу, замечательней какого-нибудь Пуанкаре.

Эх, нет пророка в отечестве своем!

А я Ваську встретил как-то. В пивную мы зашли. По старой дружбишке платил за меня Васька. Небрежно этак выбросил полста. На чай, впрочем, не дал. Человек на него посмотрел, а Васька сдачу спрятал и говорит:

– На чай, братишка, не даю по идее. Это, – говорит, – унижает человеческое достоинство.

А человек говорит:

– Ничего. Вы, – говорит, – дайте, мы привыкшие.

Но Васька не дал.

Ну, да не в этом дело.

В нынешнее время я не знаю, какой Васька. Говорят, будто он замечательный работник и герой гражданской войны – неизвестно. Я Ваську Егудилова только по царской армии помню.

Ах, и растяпа же был человек! Ах, и спать же он мог удивительно! Да, можно сказать, он всю германскую войну проспал. Мог он спать подряд целные сутки. Мог и под ружейную перестрелку спать, и под легкую артиллерию, и под бомбометы...

Так вот какой удивительный случай произошел. Двадцать восьмого июля, кажется, был, братцы мои, по царской армии приказ: наступать до полнейшего искоренения противника...

Что до других армий – неизвестно, а полк наш выступил утром. И дошел наш полк до германской проволоки и залег там, оттого что сильнейшую пулеметную пальбу открыл неприятель.

Залегли солдаты наши в разных местах, с тем, чтобы к ночи назад ползти, а Васька Егудилов, надо сказать, залег в канавку и заснул там, собачий нос.

Под утро отступил наш полк обратно в окопы, а Васька Егудилов спокойно остался в поле.

День проходит, два.

«Ну, думаем, погиб наш Васька героем».

А трупов перед окопами навалено было все поле. Жара. Дух смертельный. А убрать покойников невозможно: стреляет противник.

Стали наши генералы да командиры рассуждать, как из положения выйти... Разговоры, сем-пересем, тары да бары, а мертвечинка тем временем разложилась до невозможности.

Только однажды замечаем – флаг белый над противником, и выходит, братцы мои, немецик и заявляет:

– Даем вам два часа на уборку трупов.

Вышли мы с носилками, с лопатами, стали убитых убирать, смотрим: из канавы на носилки лезет Васька Егудилов. Живехонький.

– Стоп! – сказали немцы. – Не трогать этого. Это пленный.

Стали мы с немцами рассуждать – не разрешают брать.

Чуть не заплакал тут Васька. Вынул ручную бомбу, да как шмякнет ее в германцев!

Батюшки, что было тогда... Крики, стрельба, пулеметы... И такой возгорелся бой, что и не бывало никогда такого. А к ночи мы повели наступление и прорыв сделали. А говорят, что герой – генерал Брусилов. Пустяки это. Васька Егудилов – герой германской кампании.

## Бабкин муж

Паршивый муж был у бабки Анисьи Николаевны. Уже не говоря о внешности, а и душевных качеств никаких. Так – шляпа, размазня, кикимора.

Да бабка Анисья Николаевна его иначе и не называла, как кикиморой. Или еще пигалицей любила называть. Но на слова такие Василь Васильевич – бабкин муж – ужасно как обижался. Надуется на бабку, что мышь на крупу, и слова из него клещами не вытянешь.

А сказать надо – дело было секретное у бабки Анисьи Николаевны. Самогонное секретное предприятие. На паях. Старикашка такой, Ерофеич, пайщиком был. Да только какой же это пайщик, ежели драгоценную влагу лакал он как корова? А ведь нельзя так – убыток предприятию.

Думала бабка откупиться от пайщика, да произошло происшествие: лопнуло предприятие на паях. И ведь как лопнуло-то! Из-за собственного мужа лопнуло, сук ему в нос!

Ну, да и не могло быть иначе – был Василь Васильевич не человек, а прямо сказать – падаль.

Скажем, дело пустое: по бутылкам самогонку перелить – не может. Пьянеет, сукин сын, от одного духа. А дух, конечно, острый. Дух этот ему, видите ли, в голову ударял и вызывал рвоту!

Ну что ж! Бабка его в этом и не притесняла: не может – не надо. Бабка назначала его на легонькие дела. Например: по указанному адресу пару бутылок снести. Так и то не может. Пугается.

– Я, – говорит, – Анисья Николаевна, не понесу враз. Я, – говорит, – лучше одну сначала, а за другой после спорхаю. А то пару понесешь – подозрения в милиции вызовешь. «А ну, – скажет милиция, – чего несешь? Дай-кась я понюхаю». И пропадешь! Вам, Анисья Николаевна, хорошо, вы дама, а меня без применения амнистии могут...

Да. Пропасть с таким мужем! Ну, уж зато и бабка Анисья Николаевна спуска ему не давала. Чуть что – по роже, либо словами кроет. Тоже, надо сказать, вредная была бабища. Скажем вот – вставала рано. Со светом. Василь Васильевичу, при нездоровии его, спать и спать бы нужно, так нет, пушай и он встает. А от этого у Василь Васильевича настроение на все сутки портится.

А для чего ей нужно поднимать Василь Васильевича? А ей, видите ли, поговорить не с кем.

Тут она разливает по бутылкам и ну его чесать:

– Чего опять лицо грустное? Чего опять воздух нюхаешь? – Ежели промолчит – беда. Ежели скажет – еще того хуже. Вредная тоже бабища. Но зато делец. Слов нету. И чистота в производстве, и вкус, и аромат, – что надо. По-европейски было поставлено дело. В покупателях отбою не было.

А на праздниках так с ног сбились все. Сам Василь Васильевич раз сорок в разные концы бегал. Ну, а на сорок первый – заскочило.

Так вышло.

Налила бабка Анисья Николаевна бутылку поплней, тряпочкой ее обтерла.

– Беги, – говорит, – поскорей, рысью, в отель «Гренаду».

Схватил Василь Васильевич бутылку, пальтишко на ходу напялил – и на лестницу. Выбежал на лестницу, добежал до второго этажа – милиция.

И ведь не то, чтобы показалось ему с перепугу, а на самом деле стоял милиционер на площадке. И для чего он стоял – так это и не выяснилось, но только из-за этого рухнуло предприятие.

Увидел его Василь Васильевич, тихонько охнул, затаил дыхание и на цыпочках пошел к себе.

Добежал до квартиры, закрыл на все замки дверь и после уж крикнул:

– Милиция... Анисья Николаевна!

И что такое приключилось с бабкой Анисьей Николаевной – удивительно даже. Дама она крепкая, недоверчивая, бывало, раз десять расспросит и сама удостоверится, а тут сомлела.

– А? Что? Милиция... Обыски, что ли, производят?

– Обыски, – сказал Василь Васильевич.

Всплеснула бабка Анисья Николаевна руками, схватила аппарат, с громким ревом вылила драгоценность в водопровод, разрушила все приспособление – куда трубки, куда крантики, и после уж присела на стул, еле живая.

– В каком номере производят?... – спросила бабка.

– Не знаю, – сказал Василь Васильевич.

Так сидели они долго, с час, что ли.

– Пойди, посмотри, в каком номере производят... – сказала Анисья Николаевна.

Василь Васильевич напялил на себя пальтишко и вышел. Вышел он на лестницу – тихо... Дошел до второго этажа – ничего.

«Ну, – думает, – а вдруг да я ошибся? Вот когда мне погибель будет... Вот когда меня в порошок сотрет Анисья Николаевна».

Вышел он во двор. Дворника Егора встретил.



– Чего, – спрашивает, – говорят, будто обыски?

– Какие обыски? – сказал Егор. – Про что вы...

Василь Васильевич махнул рукой и побежал к дому. Он подошел к своим дверям, постоял, подумал, махнул опять рукой и пошел на улицу.

Домой он так и не явился.

## Нищий

Повадился ко мне один нищий ходить. Парень это был здоровенный: ногу согнет – портки лопаются, и к тому же нахальный до невозможности. Он стучал в мою дверь кулаками и говорил не как принято: «Подайте, гражданин», а:

– Нельзя ли, гражданин, получить безработному.

Подавал я ему раз, другой, третий. Наконец, говорю:

– Вот, братишка, получай пять рублей и отстань, сделай милость. Работать мешаешь... Раньше как через неделю на глаза не показывайся.

– Ладно, – сказал нищий, рассматривая на свет полученные деньги. – Пускай так. Значит, это за неделю вперед? Хорошо-с, прощайте...

Через неделю ровно нищий снова появился. Он поздоровался со мной, как со старым знакомым, за руку. Спросил, чего пишу и сколько я получаю за работу – поденно или как.

Я дал ему пятерку, он кивнул мне головой, потряс мою руку и ушел.

И всякую неделю, по пятницам, приходил он ко мне, получал свою пятерку, жал мне руку и уходил. Иногда, впрочем, присаживался на кровать и интересовался политическими новостями и литературой.

А раз как-то, получив деньги, он помялся у двери и сказал:

– Прибавить, гражданин, нужно. По курсу чтобы... Невыгодно мне... Рубль падает...

Я посмеялся над его нахальством, но прибавил.

– Вот, – говорю, – еще два рубля – не могу больше.

– Ну что ж, – говорит, – пушай так. Ладно.

Он спрятал деньги в карман, поговорил со мной о финансах Республики и ушел, громко стуча американскими сапожищами.

Наконец, на днях это было, он приходит ко мне. Денег у меня не было.

– Нету, – говорю, – братишка, сейчас. Извини. В другой раз зайди.

– Как, – говорит, – в другой раз? Договор дороже денег... Плати сейчас.

– Да как же, – говорю, – ты можешь требовать?

– Да нет, плати сейчас. Я, – говорит, – не согласен ждать. Я, – говорит, – могу в инспекцию заявить. Нынче вас за это не погладят по головке... Довольно.

Посмотрел я на него – нет, не шутит. Говорит серьезно, обидчиво, кричать даже начал на меня.

– Послушай, – говорю, – дурья голова, сам посуди, ну можешь ли ты с меня требовать?

– Да нет, – говорит, – ничего не знаю. Пушай тогда инспекция разбирается.

Занял я у соседа семь рублей – дал нищему. Он взял деньги и, не прощаясь, даже не кивнув мне головой, ушел.

Больше он ко мне не приходил – наверное, обиделся.

## Несколько слов в защиту начальников

Я не из таких людей, которые любят над начальством поиздеваться. Напротив, я совершенно уважаю начальников. Я даже этакий, что ли, трепет ощущаю перед ними.

Бывало вот проходишь через полотно – стрелочник стоит. И если у стрелочника этого фуражка с кантом – баста, – идешь перед ним наипочтительнее, стараясь не нарушить общий пейзаж перед глазами начальника.

Но, конечно, такое отношение проистекает отнюдь не из подобострастия или желания выслужиться, нет, начальников я уважаю за превосходные душевные данные, за культурное просвещение и за высокую образованность.

Начать с того, что все они грамотны, и есть даже среди них с высшим образованием. Я знал одного, который даже окончил четырехклассное мужское училище с правами прогимназии. Он знал насквозь всю французскую азбуку. Физику знал. Астрономию. Все наивысшие науки... И не особенно этим гордился. Доступный был человек.

Но, конечно, такие люди встречаются не часто и о них особый разговор. А я вот говорю о среднем начальнике. Их я уважаю не меньше. А что собираюсь о них писать, то не иначе, как в защиту, да и не в защиту, а просто по одному незначительному поводу – так, об одной комиссии, которая прибыла на одну станцию.

Но тут я должен сказать еще несколько слов о начальниках. Дело в том, что если на одном деле начальников чересчур много и некоторые из них томятся в безделии, то от этого выходят совершенные пустяки и нелепица. Потомится такой начальник месяц, два – и пойдет мудрить. И то ему не так и это не совсем так... Ну, назначат такого человека на ответственное дело, в комиссию, например, – пропало все. Как, знаете ли, образовалась недавно комиссия... Шут ее знает, какая это комиссия... И решила она, как пишет нам корреспондент, «проверить стойкость, бдительность и расторопность вооруженных сторожей».

Дело, конечно, хорошее. Отчего не проверить? Проверить можно, если время есть. Даже нужно проверить. Может быть, сторож спит без задних ног, а рядом кража. Может быть, он в картышки в соседней будке играет...

Так вот, приехала комиссия на станцию и, «глубокомысленно насупившись, чуть дыша, пробралась комиссия к вагонам... И как крысы, один за другим, шасть под вагон...»

Сидят под вагонами и ждут.

Вдруг сторож идет.

– Ишь ты, – сказал один из комиссии, – не спит ведь, подлец!

– Нет, – сказал другой, – не спит. И винтовка, братцы, сзади положится... Жалко. Зря приехали...

– Братцы, – зашептал третий, – а ежели бы нам на деле проверить стойкость и бдительность сего сторожа?

И едва сторож дошел до вагона, как комиссия «с гиканьем, визгом и криком “руки вверх” накинулась на оторопевшего сторожа».

Стойко защищался сторож, бил направо и налево, но разве справишься с комиссией?

Одолела комиссия сторожа, скрутила ему руки и довольна. Как говорится – хоть и рыло в крови, а наша взяла.

Вот какое тонкое дельце было!

А ведь могло, братцы, и хуже быть. Сторож мог бы и выстрелить, мог бы прикладом испортить комиссию... Как, я помню, у нас в полку было. Это еще в германскую кампанию... Батальонный был. Делать ему нечего, вот он и начал ежедневно секреты проверять. Да как! Заберется в секрет, сопрет ружье, а после солдата под суд.

Так вот, забрался он однажды в секрет, а там татарин был. Маханов фамилия. Батальонный только руку за винтовкой протянул, а татарин цоп его по уху. Батальонный упал, а татарин цоп по другому, цоп по третьему. Да и избил батальонного, как маленького. Руки ему связал, рот портянкой заткнул, дождался смены – и к ротному.

– Ваше, – говорит, – благородие, неприятеля привел...

А батальонный весь в крови и «мама» сказать не может.

Вынули ему тряпку изо рта – а это батальонный.

А больше он по секретам не ходил.

Да, так вот какие дела случаются с начальниками. Но только случаются эти дела не оттого, что начальник паршивый или, скажем, деспот, нет, происходит это от томящего безделья и желания так или иначе поработать на пользу дорогого отечества.

И таких начальников тоже уважать нужно.

А кто уважать не может, тот пуцай жалеет.

Я, например, жалею.

## Молитва

Прошное лето, ночуя в одной деревне у знакомого мужика, я слышал, как молилась баба. Когда в избе все стихло, баба эта босиком подошла к образу, встала на колени и, часто крестясь, зашептала:

– Спаси и помилуй меня, Мати Пресвятая Богородица, я живу в крайней избе на селе.

Бабка долго крестилась и кланялась, просила себе всяких милостей и всякий раз указывала свое местожительство: крайняя изба на селе.

– Бабка, – сказал я, когда та кончила молиться, – а бабка! Изба-то ваша разве крайняя? Крайняя изба рядом.

– Нету, – сказала бабка. – То не изба вовсе, то – банька. Бог-то знает.

– Все-таки, – сказал я, – может, бабка, путаница произойти... Если неправильный адрес.

– Ну? – спросила бабка.

Она подошла к образу, снова встала на колени и сказала:

– Спаси и помилуй меня, Мати Пресвятая Богородица, я живу в крайней избе на селе, а рядом банька.

Бабка стукнула головой об пол и пошла за занавеску спать.

## Медаль

Люди опрометью бежали к Фонтанке.

Какая-то баба у перил отчаянно кричала:

– Тонет! Голубчики, тонет... Ей-бо...

– Кто тонет? – спрашивали люди.

– Да человек тонет... Гражданин, конечно. Сама видела: сиг через перилки – и нету...

Да вот он! Вот!

Действительно, из воды показалась чья-то голова. Голова выплевывала воду, фыркала и тихонько вопила о помощи.

Люди теснились у перил, с жадностью глядя в воду.

– Ой-ё-ёй! – причитала баба. – Тонет, конечно...

– Да что ж это, граждане... Не собака ведь... Ловить надоть.

Какой-то парень протискался через толпу к самым перилам.

– Кто тонет? – спросил он строго. – Гражданин, что ли?

– Гражданин...

– Нарочно, что ли, или, может быть, окосемши?

– Нарочно.

– Чичас, – сказал парень.

Он сбросил картуз наземь и, любуясь собой, полез через перила. Лез он медленно, поглядывая на толпу. Потом сел на перила и спросил:

– А чего, граждане, медали-то нынче дают за спасение этих самых утопающих, ай нет?

– Медали-то? – сказал кто-то. – А неизвестно.

– Неизвестно, – сказали в толпе. – Раньше-то давали.

Парень горько усмехнулся.

– Раньше! Сам знаю... Я, может, этих чертей утопающих семь штук переловил...

Раньше...

Какой-то красноармеец, отчаянно взмахнув руками, скинул с себя шинель и бросился в воду.

Через несколько секунд он вытащил утопающего за воротник.

Парень сидел на перилах и орал:

– Так! Загребай левой рукой...левой... А правой за воротник держи... Чичас лодка подойдет... Так! Не выпускай... Эх, дура!.. Не могут ловить, а тоже бросаются. Туда же!

К месту происшествия подошла лодка.

– Кончено, – сказал парень. – Его счастье. Он вытащил. А если б не он – я бы вытащил.

Без медали... Нехай уж...

Парень надел картуз и побежал к пристани.

Народ долго стоял у перил, глаза на то место, куда бросился человек. Потом стал медленно расходиться.

## Божественное

Первого ноября был католический праздник Всех Святых. Во время этого праздника ксендз Смоленского костела обратился к прихожанам, как сообщает газета «Рабочий путь» (№ 265), с такой проповедью:

– Я, как хозяин костела, нанял органиста Дашкевича. Костельный совет платил органисту сначала 150 миллионов, потом 200, потом 400. Все с него было мало. Теперь мы платим ему даже пять рублей золотом по курсу дня. Кроме того, я ежедневно даю обед Дашкевичу. Но нужно сказать, что этот органист за троих съест. Такой обжора...

Ксендз поднял руку для благословения прихожан, но раздумал и, потирая свою бритую полную щеку, продолжал:

– Ей-богу, обжора, каких мало. Таких обжор и свет не видывал.

– А чего он, съедает, что ли, много? – спросил кто-то из прихожан.

– Съедает много, – сказал ксендз. – Я же и говорю: жрет и жрет, сукин кот. Дашь ему обед – он и первое блюдо слопает, и второе. И хлеб еще трескает.

Прихожане оживились. И, закрыв молитвенники, стали рассуждать о дороговизне.

– Ужас, как жрет, – снова начал ксендз. – Обед слопает, а после еще чаю просит.

– С сахаром? – спросил кто-то.

– Дай ему с сахаром, он и с сахаром вылакает. Ему что? Не его сахар. Давеча дал я ему сахару два куска. На месяц, говорю. А он враз слопал.

– Врет! – раздался чей-то голос.

Позади ксендза появилась растрепанная фигура органиста. Был органист высокий и худой, и костюм на нем висел, как на палке.

– Врет! – снова сказал органист. – Кусок он мне дал, а не два.

Прихожане встали со своих мест и с явным любопытством разглядывали органиста.

– А хоть бы и кусок, – сказал ксендз, махая на органиста руками. – Кусок тоже денег стоит... Уйди, собачий нос. Я хозяин костела.

Органист потоптался на одном месте и ушел под свист публики.

Ксендз поднял руку для благословения, но снова раздумал и, опустив руку, продолжал печальным голосом:

– Или еще того чище: штаны с френчем просит. Купите, – говорит, – мне штаны с френчем. А я ему говорю: видал, как лягушки скачут?

В публике засмеялись. Ксендз в третий раз поднял руку и, бормоча что-то себе под нос, благословил прихожан. Началось молебствие.

На крыше тихонько плакали херувимы.

## Рыбья самка

*(Рассказ отца дьякона Василия)*

### 1

Неправильный это стыд – стесняться поповского одеяния, а на улице все же будто и неловкость какая и в груди стеснение.

Конечно, за три года очень ошельмовали попов. За три-то года, можно сказать, до того довели, что иные и сан сняли, и от Бога всенародно отреклись. Вот до чего довели.

А сколь великие притеснения поп Триодин претерпел, так и перечесть трудно. И не только от власти государственной, но и от матушки претерпел. Но сана не сложил и от Бога не отрекся, напротив, душой даже гордился – гонение, дескать, на пастырей.

Утром вставал поп и неукоснительно говорил такое:

– Верую, матушка.

И только потом преуспевал во всех делах.

И можно ли подумать, что случится подобная крепость в столь незначительном человеке? Смешно. Вида-то поп никакого не имел. Прямо-таки никакого вида. При малом росте – до плечика матушке – совершенно рыжая наружность.

Ох и не раз корила его матушка в смысле незначительности вида! И верно. Это удивительно, какая пошла нынче мелочь в мужчинах. Все бабы в уезде довольно крупные, а у мужчин нет такого вида. Все бабы запросто несут мужскую, скажем, работишку, а мужчины, повелось так, по бабьему даже делу пошли.

Конечно, таких мужчин расстреливать даже нужно. Но и то верно: истребили многих мужчин государственными казнями и войной. А остался кто – жизнь засушила тех.

Есть ли, скажем, сейчас русский человек мыслящий, который бы полнел и жиры нагуливал? Нет такого человека.

Конечно, попу это малое утешение, и поп говаривал:

– Коришь, матушка, коришь видом, а в рыбьей жизни, по Дарвину, матушка, рыбья самка завсегда крупнее самца и даже пожирает его в раздражении.

А на такие поповы слова матушка крепко ставила тарелку или, например, чашечку, скажем, и, чего неведомо самой, обижалась.

### 2

И вот уж третий год пошел, как живет поп с женой разно.

И где бы матушке с душевной близостью подойти к попу, дескать, воистину трудно тебе, поп, от гонений, так вот, прими, пожалуйста, ласку, так не того – не такова матушка. Верно: годы матушкины не преклонные, но постыдно же изо дня в день нос это рисовой пудрой и к вечеру виль хвостом.

А попу какое утешение в жизни, если поколеблены семейные устои?

Попу утешение – в преферансик, помалу, по нецерковным праздникам, а перед преферансиком – словесная беседа о государственных и даже европейских вопросах и о невозможности гибели христианской эпохи.

Чувствовал поп очень большую сладость в словах. И как это всегда выходит замечательно. Сначала о незначительном, скажем, хлеб в цене приподнялся – житишко неважное,



значит. А житышко неважное – какая тому причина. Слово за слово – играет попова мысль: государственная политика, советская власть, поколеблены жизненные устои.

А как сказано такое слово: советская... так и пошло, и пошло. Старые счета у попа с советскими. Очень уж много обид и притеснений. Было такое даже, что пришли раз к нему ночью, за бороденку схватили и шпалером угрожали.

– Рассказывай, – говорят, – есть ли мощи какие в церкви, народу, дескать, нужно удостовериться в обмане.

И какие святые мощи могут быть в церкви, если наибеднейшая церковка во всем Бугрянском уезде?

– Нету, – говорит поп, – нет никаких святых мощей, пустите бороденку, сделайте милость.

А те все угрожают и шпалером на испуг действуют.

И не поверили попу.

– Веди, – говорят, – нас, иначе, разворачивай церковное имущество.

И повел их поп в церковь.

А ночное уж было дело. И чудно как-то вышло: и ведет, и ведет их поп по городу, а церкви нет. Испуг, что ли, бросился в голову – не по тем улицам поп пошел. Только вдруг сладость необычайная разлилась по жилам.

«Дело, – подумал поп, – подобное Сусанину».

И повел их аж в конец города, за толкучку. А те разъярились, вновь за бороденку сгребчили и сами уж указали дорогу.

Ночью развернули имущество церковное, нагадили табачищем и наследили, но мощей не нашли.

– А, сказали, поповская ряса, нет мощей, так учредим, знаешь ли, в церкви твоей кинематограф.

С тем и ушли.

– И как же так – кинематограф? – говорил поп матушке. – Возможно ли учредить в церкви кинематограф? Не иначе, матушка, подобное для испуга сказано. Ведь не допустит же приход, хоть и ужасно в нем поколебалась религиозная вера, не допустит приход до этого.

Вот тут бы матушке и подойти с душевной близостью, да нет – свои дела у матушки. И какие такие, скажите, дела у матушки? Вот, пожалуйста, оделась, вот ушла – и слова не скажи. Нет никакого пристрастия к семейной жизни.

Но не только в поповом доме подобное, а все рассказывают: «Глядит, – говорят, – баба в сторону». И что такое приключилось с русской бабой?

### 3

А что ж такое приключилось с русской бабой? Смешного нет, что русская баба исполняет мужскую работишку и что баба косу, скажем, себе отрезала.

Вот у китайцев вышел такой критический год: всенародно китайцы стали отрезать косы. Ну что ж? Значит, вышла коса из исторической моды. Смешного ничего нет.

Да не в том штука. А штука в том: великое бесстыдство и блуд обуял бабу. И не раз выходил поп к народу в облачении и горькие слова держал:

– Граждане и прихожане и любимая паства. Поколебались семейные и супружеские устои. Тухнет огонь семейного очага. Опомнитесь в безверии и в сатанинском бесстыдстве.

И все поп такие прекрасные слова подбирал, что ударяли они по сердцу и вызывали слезы. Но блуд не утихал.

И никогда еще, как в этот год, не было в народе такого бесстыдства и легкости отношений. Конечно, всегда весной бывает этакая острота в блуде, но пойдите, пожалуйста, в военный клуб, послушайте, какие нестерпимые речи около женского класса. Это невозможно.

И что поделать? Ведь если попова жена – нос рисовой пудрой и поп не скажи слова, то можно ли что поделать? И хоть понимал это поп очень, однако горькие речи держал неукоснительно.

И вот в такую-то блудную весну вселили к попу дорожного техника. Это при не преклонных-то матушкиных годах.

Сток был поп и терпелив, но от удара такого потерял поп жизни не меньше как десять лет. Очень уж красивый и крупный был железнодорожный техник.

И при красоте своей был техник вежлив необычайно и даже мог беседовать на разные темы. И, беседуя на разные темы, интересовался тонкостями, к примеру: как и отчего повелось в народе, что при встрече с духовным попом прохожий делает из пальцев шиш.

Но, беседуя на разные темы и интересуясь тонкостями, оборачивал техник слова непременно к женскому классу и про любовь.

И пусть бы даже мог техник беседовать про европейские вопросы, не смог бы поп отнестись к нему любовно. Очень уж опасен был этот техник.

– Узко рассуждая, – говорил поп, – не в европейском размере, ну к чему такое гонение на пастырей? К чему, скажем, вселять железнодорожных техников? Квартиренка, сами знаете, не огромная, неравно какой карамболь выйдет или стеснение личности.

И на такие поповы слова качали головами собеседники, дескать, точно: сословию вашему туго, сословию вашему стеснение...

А матушка нахально поводила плечиком.

#### 4

И точно: вышел у попа с дорожным техником карамболь.

А случилось так, что пришли к попу партнеры и приятели его жизни – дьякон Венямин и городской бывшего четырехклассного мужского училища учитель Иван Михайлович Гулька.

Началась, конечно, словесная беседа о незначительном, а потом о гонении на пастырей. А дьякон Венямин – совершенно азартный дьякон и отвлеченной политикой нимало не интересуется.

Поп про нехристианскую эпоху, а дьякон Венямин картишками любит – дама к даме картишки разбирает... И чуть какая передышка в словах, он уж такое:

– Что ж, – говорит, – не теряя драгоценного времечка...

Беседу они прервали, сели за стол и картишки сдали.

А поп тут и объявил: восемь игры, кто вистует?

И сразу попу такой невозможный перетык вышел: дьякон Венямин бубну кроет козырем, а учитель Гулька трепу почем зря бьет.

Очень тут заволновался поп и, под предлогом вечернего чая, вышел попить водички.

Выпил ковшичек и, идучи обратно, подошел к дверям матушки.

– Матушка, – сказал поп, – а матушка, не обижайся только, я насчет вечернего чая.

А в комнате-то матушки и не было. Поп на кухню – нет матушки, поп сюда-туда – нету матушки.

И заглянул тогда поп к технику. С дорожным техником в развратной позе сидела матушка.

– Ой, – сказал поп и дверь прикрыл тихонечко. И, на носочках ступая, пошел к гостям доигрывать.

Пришел и сел, будто с ним ничего не случилось.

Играет поп – лицо только белое. Картишки сдаст, головой мотнет, пальцами по столу потюкает, а сам такое:

– Сожрала нас рыба самка.

И какая такая, скажите, рыба самка?

И вдруг повезло попу. Учитель Гулька, скажем, туза бубен, а поп козырем, учитель Гулька марьяж виной отыгрывает, а поп козырем. И идет и идет к попу богатеющая карта.

И выиграл поп в тот вечер изрядно. Сложил новенькие бумажки и тяжело так улыбнулся.

– Это все так, – сказал, – но к чему такое гонение? К чему вселять дорожных техников?

А дьякон Венямин и учитель Гулька обиделись.

– Выиграл, – говорят, – раздел нас поп, а будто и недоволен. И чайком даже, поповская ряса, не попотчевал.

Обиженные ушли гости, а поп убрал картишки, прошел в спальную комнату и, не дожидаясь матушки, тихонько лег на кровать.

## 5

Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу.

Вот смешна, скажем, попова грусть, смешно, что попова жена обещала технику денег, да не достать ей, смешно и то, что сказал дорожный техник про матушку: старая старуха. А сложи все вместе, собери-ка в одно – и будет великая грусть.

Поп проснулся утром, крестик на груди потрогал.

– Верую, – сказал, – матушка.

А сказав «матушка» – вспомнил вчерашнее.

– Ой, рыба самка! Сожрала, матушка.

И не то плохо, что согрешила, а то плохо, что обострилось теперь все против попа, все соединилось вместе, и нет ему никакой лазейки.

Оделся поп, не посмотрел на матушку и вышел из дому, не пивши чая.

Эх! И каково грустно плачут колокола, и какова грустная человеческая жизнь. Вот так бы попу лежать на земле неживым предметом либо такое сделать геройское, что казнь примешь и спасешь человечество.

Встал поп и тяжкими стопами пошел в церковь.

К полдню отслужив обедню, поп, по обычаю, слово держал:

– Граждане, – сказал, – и прихожане и любимая паства. Поколебались и рухнули семейные устои. Потух огонь в семейном очаге. Свершилось. И, глядя на это, не могу примириться и признать государственную власть...

Вечером пришли к попу молодчики, развернули его утварь и имущество и увели попа.

## Старуха Врангель

### 1. Тонкое дело

По секретнейшему делу идет следователь Чепыга, по делу государственной важности. И, конечно, никто не догадается, что это следователь. В голову никому не придет, что это идет следователь.

Вышел человек подышать свежим воздухом – и только. А может, и на любовное свидание вышел. Потихе, главное. Потихе идти, и лицо чтоб играло, пело чтоб лицо – весна и растворение воздушных.

Иначе – пропал тончайший план. Иначе каждый скажет: «Эге, вот идет следователь Чепыга по секретнейшему делу!»

– Красоточка, – сказал Чепыга девушке с мешком. – Красоточка! – подмигнул ей глазом.

Фу-ты, как прекрасно идет! Тоненько нужно тут. Тоненько. А потом такое: а дозволейте спросить, не состоите ли вы в некотором родстве... Хе-хе...

Тут Чепыга остановился у дома. Во двор вошел. Во дворе – желтый флигель. На флигеле – доска. На доске – «Домовый Комитет».

– Прекрасно! – сказал Чепыга. – В каждом доме – комитет, в каждом доме, в некотором роде, государственное управление. Очень даже это прекрасно! Теперь войдем в комитет. Тек-с. Послушаем.

Два человека разговаривали негромко.

– Ну а о политике военных действий что, Гаврила Васильич? – спросил тенорок.

– О политике военных действий? Гм... С юга генералы наступают.

«Очень хорошо! – обрадовался Чепыга. – Войдем теперь».

В комнату вошел и спросил, сам голову набок:

– Уполномоченного Малашкина мне. По секретному. Ага! Вы гражданин Малашкин? Очень прекрасно. А дозволейте спросить, кто в квартире тридцать шестой проживает? Да-с, в тридцать шестой квартире. Именно в тридцать шестой.

У Гаврилы Васильича острый нюх. Гаврила Васильич почтительно:

– Старуха проживает. Старуха и актер проживают.

– Ага, актер? – удивился Чепыга. – Почему же актер?

– Актер-с. Как бы сказать – жильцом и даже на иждивении.

– Гм... На иждивении? Расследуем и актера. Ну а в смысле старухи, не состоит ли старуха в некотором родстве, ну, скажем, с генералами с бывшими или с сенаторами? Да, вот именно, с сенаторами не состоит ли в родстве?

– Неизвестно, – ответил Гаврила Васильич. – Старуха, извиняюсь, небогатая. Сын у ней на войне пропал. Жалкует и к смерти готовится. У ней и местечко на Смоленском заказано. Тишайшая старуха.

А следователь свое:

– Расследуем старуху. По долгу, – говорит, – государственной важности расследуем и старуху, и актера. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

### 2. Следствие

Актер лежал на кровати и ждал Машеньку. Если не сробеет, то придет сегодня Машенька. Актер лежал на кровати как бы с некоторой даже томностью.

– Ентре, Машенька, – сказал актер, когда Чепыга постучал в дверь костяшками. – Ентре, пожалуйста.

«Тут нужно чрезвычайно тоненько повести дело», – подумал Чепыга и к актеру вошел.

– Извиняюсь! – обиделся актер.

А следователь прямо-таки волчком по комнате.

– Дозвольте, – говорит, – позать ручку. Собственно, к старухе я. Однако некоторое отсутствие старухи принуждает меня...

– Ничего, – сказал актер, – пожалуйста. Только сдастся мне, что старуха пожалуй что и дома.

– Нету-с. То есть придет сейчас. А дозвольте пока, из любопытства я, спросить, не состоите ли вы в некотором родстве с подобной старухой?

– Не состою, – ответил актер. – Я, батенька мой, артист, а старуха, ну, как бы вам сказать, – зритель.

– Тек-с, очень хорошо! – удивился Чепыга. – Гм... Зритель... Вижу образованнейшего человека... Так, может быть, вы с сенаторами какими-нибудь в родстве?

Тут актер и с кровати приподнялся и в Чепыгу дым стружкой.

– Угу, – говорит, – с сенаторами... А насчет старухи какое тут родство: темная старуха – и артист. Я, батенька мой, человек искусства.

– Вижу образованнейшего человека, – бормотал Чепыга. – И книг чрезвычайно множество... И книги эти читать изволите по профессии?

– М-да, – сказал актер, – читаю и книги по профессии. К «Ниве» тут приложение – писатель Максим Горький.

– Тек-с, русская литература. Ну а касаясь иностранной, южной, может быть, новинок, через передачу. Из любопытства опять-таки.

– Из иностранной – роль Гамлета, английского писателя.

– Удивительно, совершенно удивительно... «Гм, однако, какого же вздору я нагородил, – подумал Чепыга. – И он-то как глаз отводит. Вот умная бестия! Гм, и к чему бы это мне про книги? Да, касаясь южной новинок, через передачу. Опутать может. Ей-богу, опутает».

«Восьмой час, – подумал актер, вздыхая. – Сробеет Машенька. Непременно сробеет... А молодой-то человек общительный – про книги интересуется».

– Вы, кажется, про книги интересуетесь? – спросил он Чепыгу. – Так вот тут – Гамлет. Я, знаете, все больше на трагических ролях. Мне все говорят: «Наружность, – говорят, – у вас трагическая». И я, действительно, не могу, знаете ли, шутком каким-нибудь... Я все больше по переживаниям...

«Ох, – испугался Чепыга, – плохо! Нельзя так. Не такой это человек, чтобы тоненько. Тут напрямик нужно».

Застегнул Чепыга пиджак на две пуговицы и встал.

– По делу, – говорит, – службы должен допросить вас и установить.

Испугался актер.

– Как? За что же установить? За что же допросить, господин судебный следователь, извиняюсь?

«Сгрябчит, – подумал актер, – как пить дать, сгрябчит...»

А следователь и руки потирает.

– Не состоите, значит? Значит, так-то вот и не состоите? А если, скажем, старуха призналась, выдала... Если, скажем, пришла сегодня старуха, гуляючи пришла и, дескать, так и так – выдала...

– Не состою, господин следователь.

– Гм, – сказал Чепыга, – прекрасно. Фу-ты, как прекрасно! А не скажете ли мне, касаясь сборищ тайных у старухи, тайных собраний. И не приходил ли кто к старухе в смысле передачи корреспонденции?

У актера очень дрожали руки.

– Приходили, господин следователь. Супруга уполномоченного Малашкина приходила... Только я, господин следователь, с детских лет предан искусству. А к старухе, точно, Малашкина приходила. Сегодня и приходила. Сначала про жизнь, господин следователь, дескать, плохая жизнь. Так и сказала: «Плохая, – говорит, – господин судебный следователь, жизнь». А потом о политике военных действий, дескать, с юга, извиняюсь, наступают, господин следователь. А Малашкина все старухе такое: «Чего ж, – говорит, – господин судебный следователь, от счастья своего отказываться?» А старуха отмахивается, отвергает, одним словом: «Не может, – говорит, – быть того, чтоб Мишенька мой в генералы вышел». Так и сказала: «В генералы, – говорит, – господин следователь, вышел».

– Дальше, – строго сказал Чепыга.

– А дальше, господин следователь, в комнате шу-шу-шу, а о чем, извиняюсь, не слышал. А я, господин следователь, со старухой не состоял и не состою и, не касаясь политики, с детских лет по переживаниям. Старуха же так и сказала: «Плохая, – говорит, – жизнь». А если я дымом в лицо, господин судебный следователь, недавно побеспокоил вас, струйкой, по легкомыслию, – извиняюсь.

Следователь Чепыга любовно смотрел на актера.

### 3. Почетный гражданин

– Тру-ру-рум, – тихо сказал Малашкин и в комнату вошел. – Тру-ру-рум... А я на секунду взошел. Я к вам, господин следователь, пожалуйста. По освобождении от дел государственных – ко мне, господин следователь. На чашечку с сахаром. Только извиняюсь, совершеннейше вздорный слух, касаясь супруги моей. Совершенный вздор, господин следователь. По злобе характера подобное можно сказать. И, между прочим, не пойдет супруга моя к явной преступнице. Да и вообще ни с кем-то она не знается и видеть никого не может. Бывало, сам принуждаю: «Пойди, – говорю, – к кому-нибудь, отведи душу от земных забот». – «Нет, – говорит, – Гавря, не пойду, – говорит, – видеть не могу старухи этой!» Подобное по злобе только можно сказать... Так, значит, на чашечку с сахаром. Тру-ру-рум, господин следователь. А вам, гражданин актер, – стыдно-с! Вы собирайтесь. Они, господин следователь, из бывших потомственных почетных граждан, так сказать – барин. Вы, почетный актер, собирайте манатки. Следователь вас сейчас арестует.

– Да, – сказал Чепыга, – арестую. По делу службы арестую. Вы, гражданин Малашкин, за ним последите, а я сейчас. Я сейчас... очная ставка... Алиби... Лечу...

Актер, качаясь, сидел на кровати.

– Эх, – говорит, – Малашкин, Малашкин, и что я тебе худого сделал, Малашкин? Почетный, – говорит, – гражданин и барин... Убийца ты, Малашкин! Грех ты большой взял на душу. Сгрябнут ведь теперь меня, Малашкин. И за что? За что, пожалуйста, сгрябнут? С детских лет служу чистому искусству... С детских лет и не касаясь политики...

Малашкин на актера не смотрел.

### 4. Паутина

Мышино-тихая пришла старуха и села в угол. А следователь рукой по воздуху – дескать, вот наисерьезнейший момент. Следователь волчком по комнате. Следователь ныряет и плавает. Следователь то к Малашкину, и ему быстренько:

– Попрошу слушать. Попрошу слушать и, слушая, подписом заверить показанное. То к старухе, и даже с некоторой нежностью в голосе:

– Дозвольте установить, спросить, так сказать, о драгоценном здравии ваших родственников. И кто подобные? И где проживают? И переписочку не ведут ли некоторую?

Неподвижная сидела старуха в углу. У старухи серые глаза, и платье серое, и сама старуха – серая мышь. И идет как мышь, и сидит как мышь. И никак не поймет старуха, какой толк в словах тонконогого.

А тонконогий в волнении необычайном.

– Да, – говорит, – именно я так и хотел сказать: переписочка. Письмишко какое-нибудь. Письмишко от известного вам лица... Скажем, родственник вам генерал... ну... ша... ша... приблизительно. Из любопытства я. Ну пожалуйста! Родственник. Ну а как родственнику не написать? Непременно напишет. Не такой он человек – родственник, чтоб письма не написать. Ну и вот. Вот вам и письмишечко от известного лица. Он вам письмишечко о событиях, дескать – наступаю... Вы ему цидулочку, дескать – ага и так далее. Вы ему цидулочку, а он вам письмишко. И ведь совершенно, как видите, кругленькая выходит переписка. И корреспонденция через передачу. И кто передача? И что через передачу? Пожалуйста. Не так ли? Фу, ведь беспокоитесь же – как-то он там... Болезни ведь всякие, печали и вздыхания...

– Беспокоюсь, – заплакала вдруг старуха, – как-то это он там. Беспокоюсь... Сердце прямо-таки сгнило, до того беспокоюсь... Болезни и вздыхания. Вот спасибо-то вам, молодой человек! Вот спасибо-то!

Пело, играло лицо следователя Чепыги.

«Ох! И до чего кругленько и как кругленько выходит все...» А Чепыга опять волчок, Чепыга опять плавает и ныряет. Чепыга к актеру с неизъяснимым восторгом:

– Ой, – говорит, – не угодно ли? И вы отвергаете, и вы родством таким пренебрегаете? Обидели вы меня, молодой человек. Весьма и очень обидели. Ну так я сейчас.

И опять старухе.

– Дозвольте, разрешите еще словечко... Этот прекраснейший молодой человек... Ну да, я так и хочу сказать, родственник ли вам он будет?

– Нет, – ответила старуха, – нет, не родственник. Но я, молодой человек, к нему как мать родная. Ему я заместо матери. Спасибо вам, молодой человек!

– Ох! – задрожал актер. – Ох, господин следователь, врет ведь старая старуха... Не знаю я ее. Темная старуха и зритель... А я сам по себе, с детских лет по переживаниям.

– Довольно, – строго сказал Чепыга. – Оба арестованы. Попрошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

## 5. Разнотык

Посадили старуху и актера пока что в общую камеру. А в камере той сидел еще один человек. Был он совершенно не в себе. Кричал, что ни сном ни духом не виноват, масла же, дескать, у него точно было четыре фунта и мука белая для немощи матери. «Не для цели торговли, господа, а для цели матери».

Человек этот привел актера в совершенное уныние. Актер вовсе ослаб, похудел и сидел на койке, длинно раскачиваясь.

«За что же схватили, господа? Тоже ведь ни сном ни духом. И хорошо, если суд. Судить будут. Слово дадут сказать. Так и так, народные судьи, пожалуйста... А если к стеночке? В подвал и к стеночке?»

Нехорошо было актеру, мутно.

«Что ж, если и суд? Ну что сказать? Пропал. Ни беса ведь не смыслю по юридической... Господа судьи... Присяжные заседатели...»

Не шли слова. Все разнотык. Все разнотык лезет, а плавности никакой.

«Господа народные судьи, чувствую с детских лет пристрастие к чистому искусству Мельпомены, которая... И не касаясь политики... Разнотык. Совершенный разнотык! Могут расстрелять. И за что же, господи, расстрелять? В темницу ввергли и расстреляли. Ругал, скажут, государственную власть, поносил... Да ведь никто же не слышал... Малашкин это. Малашкин это донес. Ох, Малашкин, убийца! Этакую штуку ведь сказал: почетный, – говорит, – гражданин и барин... Ага, скажут, барин... Поставьте-ка, скажут, барина харей к стенке... А ведь я, может быть, всей душой и не касаясь политики...»

Господа народные заседатели, чувствуя к искусству Мельпомены, которая... и не касаясь политики... с детских лет по переживаниям.

Плохо. Очень просто, что расстреляют. Мамаша покойная плакала: кончи, – говорит, – Васенька, гимназию – по юридической пойдешь... Так нет – в актеры. А очень великолепно по юридической. Дескать, господа народные заседатели, пожалуйста».

Решил актер, что расстреляют его непременно. И с тем заснул.

А ночью пришли к нему люди в красных штанах. Надели на голову дурацкий колпак и за ногу потащили по лестнице.

Актер кричал диким голосом:

– За что же за ногу? Господа народные заседатели, за что же за ногу?!

А утром проснулся актер и похолодел.

«Сегодня конец... А может, и не жалко жизни? А ведь и не жалко жизни. Да только Машенька придет. Машенька плакать будет. А он у стенки встанет. В подвале. Не завязывайте, – скажет, – глаза, не надо. Все. С детских лет, господа народные судьи...»

В серо-заляпанное окно бил дождь. И капли дождя сбегали по стеклу и мучили актера.

Старуха тихо сидела на койке и бездумно смотрела в окно.

А черный человек ходил меж койками и все свое, все свое:

– И ведь, господа, не для цели торговли, для цели матери.

## 6. Конец старухи

Через три дня их выпустили. Да, открыли камеру и выпустили.

– Идите, сказали, куда пожелаете.

И вышли они на улицу.

Тихонько, мышью вернулась старуха домой и заперлась в комнате. А томно-похудевший актер ходил до вечера по знакомым и говорил трагически:

– Поставили меня, а я такое: не завязывайте, – говорю, – глаза, не надо. Курки щелкнули гулко. Только вдруг вбегает черный такой человек. Этого, – говорит, – помиловать, остальных казнить. И руку мне пожал. Извините, – говорит, – что так вышло.

А вечером к актеру Машенька пришла. Актер плакал и целовал Машенькины пальцы.

– Оборвалось, говорил, Машенька, что-то в душе. Надлюмилось. Не тот я теперь человек. Не нужно мне ни славы, ни любви. Познал жизнь воистину. Раньше многое терпел в достижении высокой цели. Славы жаждал. А теперь, Машенька, уйду со сцены – ни любви, ни славы не нужно. Раньше терпел от Зарницына. Прохвост Зарницын, Машенька. Думает – режиссер, так и все позволено. Гм, руки, – говорит, – зачем плетью держите? Эх, Машенька, усилить нужно, трагизм положения усилить нужно! Положи руки в карман – шутовство и комедия. Не понимают. Терпел, а сейчас не могу. Пропал я, Машенька! Жизнь познал и смерти коснулся. И умри я, Машенька, ничто не изменится.

Ночью, когда актер целовал Машеньку и говорил, что еще прекрасна жизнь и еще радость и слава впереди, ночью за стеной тихо померла старуха.



И никто не удивился и не пожалел – напротив, улыбнулись: одной, дескать, старушкой меньше. А похоронили старуху не на Смоленском, где было местечко заказано, а почему-то на Митрофаньевском.

## Рассказ про попа

Утро ясное. Озеро. Поверхность этакая, скажем, без рябинки. Поплавок. Удочка.

Ах, ей-богу, нет ничего на свете слаще, как такое препровождение времени!

Иные, впрочем, предпочитают рыбу неводом ловить, переметами, подпусками, мережами, английскими со звонками приспособлениями... Но пустяки это, пустяки. Простая, натуральная удочка ни с чем не сравнима.

Конечно, удочка нынче разная пошла. Есть и такая: с колесиками вроде бы. Леска на колесико накручивается. Но это тоже пустяки. Механика. Ходит, скажем, такой рыбарь по берегу, замахнется, размахнется, шлепнет приманку и крутит после.

Пускай крутит. Пустяки это. Механика. Не любит этого поп Семен. Попу Семену предпочтительней простейшая удочка. Чтоб сидеть при ней часами можно, чтоб сидеть, а не размахиваться и не крутить по-пустому, потому что если крутить начнешь, то в голове от того совершенные пустяки и коловращение. Да и нету той ясности и того умиротворения предметов, как при простой удочке.

А простая, натуральная удочка... Ах, ей-богу! Сидишь мыслишь. Хочешь – о человеке мыслишь. Хочешь – о мироздании. О рыбе хочешь – о рыбе мыслишь. И ни в чем нет тебе никакого запрета. То есть, конечно, есть запрет. Но от себя запрет. От себя поп Семен наложил запрет этот.

Обо всем поп Семен проникновенно думал, обо всем имел особое суждение и лишь об одном не смел думать – о Боге. Иной раз воспарится в мыслях – черт не брат. Мироздание – это, мол, то-то и то. Зарождение первейшей жизни – органическая химия. Бог... Как до Бога доходил, так и баста. Пугался поп. Не смел думать. А почему не смел, и сам не знал. В трепете перед Богом воспитан был. А отрывками, впрочем, думал. Тихонечко. Мыслишку одну какую-либо допустит – и хватит. Трясутся руки. А мыслишка – какой это Бог? Власть ли это созидающий или иное что.

И после сам себе:

– Замри, поп Семен. Баста! Не моги про это думать...

И про иное думал. Отвлекался другими предметами.

А кругом – предметов, конечно, неисчислимое количество. И о каждом предмете свой разговор. О каждом предмете – разнохарактерное рассуждение. Да и верно: любой предмет, скажем, взять... Нарочно взять червячишку дождевого самого поганенького. И тотчас двухстороннее размышление о червячишке том.

Прежде – откуда червяк есть? Из прели, из слизи, химия ли это есть органическая или тоже своеобразной душонкой наделен и Богом сделан?

Потом о червяке самом. Физиология. Дышит ли он, стерва, или как там еще иначе... Неизвестно, впрочем, это. Существо это однообразное, тонкое – кишка вроде бы. Не то что грудкой, но и жабрами не наделен от природы. Но дошла ли до этого наука или наука про это умалчивает – неизвестно.

Ах, ей-богу – великолепные какие мысли! Не иначе как в мыслях познается могущество и сила человека...

Дальше – поверхностное рассуждение, применимое к рыбной ловле... Какой червяк рыбе требуется? А рыбе требуется червяк густой, с окраской. Чтоб он ежесекундно бодрился, сукин сын, вился чтоб вокруг себя. На него, на стервеца, плюнуть еще нужно. От этого он еще пуще бодрится, в раж входит.

Вот, примерно, такое могущественное, трехстороннее рассуждение о поганом червяке и также о всяком предмете, начиная с грандиозных вещей и кончая гнусной, еле живой мошкой, мошкаррой или, скажем, каракатицей.

От мыслей таких было попу Семену величайшее умиротворение и восторг даже.

Но Бог... Ах, темная это сторона! Вилами все на воде писано... Есть ли Бог или нету его? Власть ли это? А ежели власть, то какая же власть, что себя ни в какой мере не проявит? Но: – Замри, поп Семен, баста!

И, может быть, так бы и помер человек, не думая про Бога, но случилось незначительное происшествие. Стал после того поп сомневаться в истинном существовании Бога. И не то чтобы сам поп Семен дошел до этого путем своих двухсторонних измышлений – какое там! Встреча. С бабой была встреча. С бабой был разговор. От разговора этого ни в какой мере теперь не избавиться. Сомненья, одним словом.

А пришел раз поп к озеру. Утро. Тихая такая благодать. Умиротворение... Присел поп Семен на бережок...

«Про что же, – думает, – сегодня размышлять буду?»

Червяка наживил. Плюнул на него. Полюбовался его чрезмерной бодростью. Закинул леску.

– Ловись, – сказал, – рыбка большая, ловись и маленькая.

И от радости своего существования, от сладости бытия засмеялся тихонечко.

Вдруг слышит смех ответный. Смотрит поп: баба перед ним стоит. Не баба, впрочем, не мужичка то есть, а заметно, что из города.

«Тьфу на нее, – подумал поп. – Что ей тутотко приспичило?»

А она-то смеется, а она-то юбкой вертит.

– Пи-пи-пи... А я, – говорит, – поп, учительница. В село назначена. Значит, будем вместе жить. А пока – гуляю, видишь ли. Люблю, мол, утром.

– Ну что ж, и гуляйте, – сказал тихонько поп.

Смеется.

– Вот, – говорит, – вы какой! Я про вас, про философа, кой-чего уже слышала.

«Ну и проходите, мол, дальше!» – подумал поп.

И такое на него остервенение напало – удивительно даже. Человек он добрый, к людям умильный, а тут – неизвестно что. Предчувствие, что ли.

– А чего, – говорит, – слышала?

– Да разное.

Она на него смотрит, а он сердится.

– Чего, – говорит, – смотрите? На мне узоров нету...

И такая началась между ними нелюбезная беседа, что непонятно, как они уж дальше говорить стали.

Только поп слово, а она десять и даже больше. И все о наивысших материях. О людях – о людях. О церкви – о церкви. О Боге – о Боге... И все со смешком она, с ехидством. И все с вывертами и с выкрутасами всякими.

Растерялся даже поп. Неожиданность все-таки. Больше все его слушали, а тут – не угодно ли – дискуссия!

– Церковь? И церкви вашей не верю. Выражаю недоверие. Пустяки это. Идолопоклонство. Бог? И Бога нету. Все есть органическая химия.

Поп едва сказать хочет:

– Позвольте, мол, то есть как это Бога нет? То есть как это идолопоклонство?

А она:

– А так, – говорит, – и нету. И вы, – говорит, – человек умный, а в рясе ходите... Позорно это. А что до храмов, то и храмы вздор. Недомыслие. Дикарям впору. Я, мол, захожу в храмы, а мне смешно. Захожу как к язычникам. Иконы, ризки там всякие, святые – идолы. Лампадки – смешно. Свечи – смешно. Колокола – еще смешнее. Позорно это, поп, для развитых людей.

И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой невероятной заявила про Бога: нету, дескать. Сами-то не верите. Или сомневаетесь.

– То есть как же, – сказал поп, – сомневаюсь?

И вдруг понял с ясностью, что он и точно сомневается. Оробел совсем поп. Копнул в душе раз – туман. Копнул два – неразборчивость. Не думал об этом. Мыслей таких не было. И точно: какой это Бог? Природа, что ли? Существо?

Раскинул поп мозгами. Хотел двухсторонне размыслить по привычке, а она опять:

– Идолопоклонство... Но, – говорит, – вот что. Если есть Бог, то допустит ли он меня преступление перед ним совершить, а? Допустит? Отвечай, поп.

– Не знаю, – сказал поп. – Может, и не допустит... Ведьма ты... Вот кто ты. Уйди отсюда. Засмеялась.

– Пойдем, – говорит, – поп, в церковь, я плюну в царские врата.

Раскидал поп червяков. Удилище бросил. Ничего на это учительнице не сказал и пошел себе.

И сам не заметил, как пошел с великим сомнением. Точно: что за пустяки... Ежели Бог есть – почему он волю свою не проявит? Почему не разmozжит на месте святотатку? Что за причина не объявить себя хоть этим перед человечеством? А ведь тогда бы и сомненья не было. Каждый бы тогда поверил. А так... Может, и точно, Бога нету?.. Идолопоклонение.

И заболел поп с тех пор. Заболел сомнением. Не то что покой свой потерял, а окружающих извел до невозможности. Матушку тоже извел до невозможности. Ненормальный стал.

Рыбу ли удит:

«Ежели, – думает, – ерш – Бог есть. Ежели не ерш – нету».

Плачет матушка обильно, на попа глядячи. Был поп хоть куда, мудрил хотя, о высоких предметах любил выражаться, а тут – сидит у окна, ровно доска.

«Ежели, – думает, – сейчас мужик пройдет – есть Бог, ежели баба – нету Бога...»

Но всякие прохожие проходили, и мужики и бабы, – а поп все сомневался.

И задумала уж матушка прошение в уезд писать, да случилось такое: просветлел однажды поп. Пришел он раз ясный, веселый даже, моргает матушке.

– Вот, – говорит, – про Бога, матушка, это у меня точно – сомнение. Не буду врать. Но ежели есть Бог, то должен он мне знаменья дать, что он точно существует. Кивнуть мне должен, мигнуть; дескать, точно, существую, мол, и управляю вселенной. Ежели он знаменья не даст – нету его.

– Пустяки это, – сказала матушка. – Чего тебе до Бога? Мигнуть... Ох, болен ты, поп...

– Как чего? – удивился поп. – Вопрос этот поднапрел у меня. Я поверю тогда. А иначе я и службу исполнять не в состоянии. Может, идолопоклонение это, матушка.

Промолчала матушка.

Стал с тех пор поп знаменья ждать. Опять извелся, расстроился, вовсе бросил свое рыбацество. Ходит как больной или в горячке, во всякой дряни сокровенный смысл ищет. Дверь ли продолжительно скрипнет, кастрюлька ли в кухне рухнет, кошка ли курнавчит – на все подозрение. Мало того: людей останавливать стал. У мужиков ответа просить начал. Остановит кого-либо.

– Ну, – спрашивает, – брат, есть ли, по-твоему, Бог или Бога нету?

Коситься стали мужички. Хитрит, что ли, поп? Может, тайную цель в этом имеет?

И дошло однажды до крайних пределов – метаться стал поп. Не в состоянии был дожидаться знаменья. Ночью раз раскидался в постели, горит весь.

«Что ж это, – думает, – нету, значит, Бога. Обман. Всю жизнь, значит, ослепление. Всю жизнь, значит, дурачество было... Ходил, ровно чучело, в облачении, кадилом махал... Богу это нужно? Ха! Нужно Богу?. Бог? Какой Бог? Где его знаменье?»

Затрясся поп, сполз с постели, вышел из дому тайно от матушки и к церкви пошел.

«Плюну, – подумал поп, – плюну в царские врата...»

Подумал так, утратился своих мыслей, присел даже на корячки и к церкви пополз.

Дополз поп до церкви.

«Эх, – думает, – знаменье! Знаменье прошу... Если ты есть, Бог, обрушь на меня храм.

Убей на месте...»

Поднял голову поп, смотрит – в церкви, в боковом окне – свет.

Потом облился поп, к земле прильнул, пополз на брюхе. Дополз. Храм открыт был. В храме были воры.

На лесенке, над иконой чудотворца, стоял парень и ломиком долбил ризу. Внизу стоял мужик – поддерживал лесенку.

– Сволочи! – сказал парень. – Риза-то, брат, никакая – кастрюльного золота. Не стоит лап пачкать... И тут Бога обманывают...

Поп пролежал всю ночь в храме.

Наутро поп собрал мужичков, поклонился им в пояс, расчесал свою гриву медным гребешком и овечьими ножницами обкорнал ее до затылка.

И стал с тех пор жить по-мужицки.

## Мадонна

### 2 декабря

Сегодня день для меня, прямо скажу, необыкновенно приятный. Сегодня товарищ Груша позвал меня в кабинет и сказал:

– Ну, Винивитькин, сердечно и от души тебя поздравляю: переводись ты в девятый разряд, и, того-этого, прибавка тебе следует – пятьдесят процентов.

Хе-хе – девятый разряд! Ведь это что же? Это, можно сказать, положение! Это превосходное положение по службе. Я думаю, всякий человек девятого разряда достичь старается. Я думаю, девятый разряд – ну, не меньше будет, как в старое время надворный советник. Нет, никак не меньше! Восьмой разряд – это дрянь, пустяки сущие – вроде бы коллежского регистратора, а девятый разряд... Да, девятый разряд – это уже положение. В прежнее время Степаныч сразу бы начал передо мной дверь в обе половинки открывать. Откроет и – «пожалуйте, дескать, ваше высокоблагородие». Не благородие, заметьте, не просто благородие, а – ваше высокоблагородие. Тонкость, а какая, как бы сказать, изумительная, благородная тонкость.

Ну да почет почетом, а и пятьдесят процентов не жук майский. Пятьдесят процентов! Это, скажем, питание улучшается – раз, это прихоть можно какую-нибудь себе позволить – два, это страстишку какую-нибудь там, того-этого, удовлетворить можешь – три...

Ах, черт! Превосходная штука жизнь! Как подумаешь, что и ты участник, так сказать, течения жизни, колесико одно жизненного вращения, равноправный вроде бы пайщик человеческих переживаний – слезы подступают к горлу, рыдать хочется от неизмеримого счастья.

Да, превосходная вещь это – жизнь. И люди превосходные, бескорыстные... Главное, за что я люблю людей, это за их бескорыстие. Бескорыстие – это все в человеке. Вот, скажем, в девятый разряд не Сережку Петухова перевели, а меня... А почему меня? Бескорыстная оценка моей служебной деятельности. Ведь это, скажем, не один товарищ Груша перевел меня в девятый разряд, это, наверное, комиссия заседала, комиссия какая-нибудь либо комитет из благороднейших, избраннейших людей... Один какой-нибудь из комиссии, возможно, сдуру крикнул – Сережку, дескать, Петухова в девятый разряд перевести нужно, а все остальные – нет, нет! Винивитькина! Винивитькин, дескать, способный человек, одаренный.

Ах, я очень люблю, когда меня уважают. В такие минуты чувствуешь, что ты действительно участник течения жизни, колесико одно жизненного вращения...

Чудно, чудно хорошо!

### 3 декабря

Нынче после службы долго гулял по Невскому. Раньше-то и внимания не обращал – что это за такой Невский, какие на нем люди ходят и магазины какие. Ну а нынче, так сказать, к тайне прикоснулся. Увидел досконально, как приятно, в сущности, быть человеком. Ведь вот проходишь по Невскому и видишь и чувствуешь, что все для твоих удобств приустроено, каждая мелочь, всякий, скажем, квадратик тротуара для твоих ног устроен. А на тротуарах этих разнообразнейшие люди фланируют и спешат некоторые... И все перед тобой чуть что – извиняются... А ты идешь таким испанцем, небрежной, что ли, походкой и всё – пардонк, гражданин, пардонк, сударыня. И все сторонятся. Все такие благородные, бескорыстные люди. А кругом магазины, кругом блеск огней, кругом женщины так и щебечут, так и поют, кругом необыкновенное кипение жизни. Европа! Совершеннейшая Европа!

Да-с! Деньги получу и сам начну жить... хе-хе.

### 5 декабря

Деньги получу и сразу вступаю на поприще жизни. Пора. Пять лет жил как свинья. Да пять ли лет – а не десять? А не всю жизнь? Э-хе-хе... Всю жизнь... Давеча вот в душевном треволнении слишком много приписал лишнего... Конечно, жизнь эта, точно, хороша, однако же не так уж хороша, как сразу подумать можно. В самом деле: все время жил как свинья, в театры не ходил, в обществе не бывал, а с дамами позабыл даже, когда и разговаривал. А все это на душу действует, от этого душа грубеет. Общество – это великая вещь. Я вот деньги получу – журфикс какой-нибудь устрою... А? Ну, хоть и не журфикс, а кой-кого приглашу. Общество всегда человека облагораживает... Многих-то, конечно, не стоит приглашать, а двоих-троих непременно приглашу. Или либо уж одного? Девицу, скажем, какую-нибудь. Девушки тоже могут облагородить душу...

Да, в самом деле, лучше-ка я девицу приглашу. Тоже ведь, позовешь того же Сережку Петухова, а ведь он, сукин сын, не за твои душевные данные придет, а он пожрать придет... Нажрет, напьет, чего-нибудь там разобьет да еще после издеваться будет.

Нет, позову-ка я и в самом деле девицу. И расходов куда как меньше, и благородней, если на то пошло. И корыстных расчетов никаких – полфунта монпансье, и все довольны.

Только вот кого я приглашу? Варьку приглашу. Ей-богу, Варьку Двуколкину приглашу. Все-таки – фигура, грация... Завтра намекну... Буржуйку, скажу, затоплю – уют, поэзия. А поэзия – это прежде всего.

## 6 декабря

Нынче после службы сказал Варьке Двуколкиной. В коридоре ее встретил, говорю: вот, дескать, того-этого – буржуйку затоплю, уют, поэзия...

А она, дура, говорит:

– Вы, – говорит, – если мной увлекаетесь настолько или влюблены, так лучше бы в «Палас» сводили либо в Академический билет приобрели. Чего, – говорит, – я буржуйки вашей не видела?..

Дура. Со слов видно, что совсем дура. Во-первых, денег я еще не получил, а после – нетактично даже с девицыной стороны самой напрашиваться. Ну и шут с ней! В ней, по правде сказать, ровнехонько ничего хорошего нет. Только что фигура, а так-то ни кожи, ни грации. Сидит, как лошадь... Да если присмотреться поближе, так и фигуры никакой. Да ей-богу никакой! Бревно. Вовсе бревно. Нет, не люблю я таких, шут с ними с такими. Им только корыстные цели подавай, а так, они и нос в сторону, и зевают, и скучно им... Шут с ними с такими. Думает – отказала, так я и помру. Дура! Сразу видно, что дура. Ни кожи, ни грации...

Ха, помру! Да я только свистну, и сотня ко мне сбежит. Нынче это чересчур просто. Нынче что касается любовных там каких-нибудь историйек – черт знает как просто. Только захотеть нужно. Давеча вот Сережка Петухов презанятную историйку такую рассказывал... В театр он пришел и в театре том с дамой познакомился. И ведь не какая-нибудь дама, а порядочная, черт знает какая порядочная. Ну, и нынче влюблена в него, как муха.

А я вот тоже давеча встретил – красавица, мадонна, костюм превосходный, меха разные, боты... Тоже мимо прошла – посмотрела.

Да, нынче нравственность чересчур упала. Сережка Петухов говорит, что будто это всегда после революций. Ну да мне наплевать, прямо скажу, мне даже еще лучше, что упала. Ей-богу, лучше. Да я думаю, что и всем лучше, да только прикидываются, подлецы. А я через это к жизни прикоснусь... Хе-хе...

## 8 декабря

Деньги получил! Вот они. Бумажки, тряпочки, а каково, того-этого, приятные тряпочки. Вот я их сейчас спрячу. Пускай в столе лежат.

А Варька-то Двуколкина какая дура! Рассчитывала, что я, того-этого, снова к ней обращусь, снова к ней сунусь. Вот, дескать, Варечка, билет в «Палас», а вот в оперу, а вот... Хе-хе... Мимо прошел. Дудочки, не на такого напала... Им только корыстные цели подавай.

Нет-с. Никак нет-с, не пропаду, Варечка, не помру – оставьте беспокоиться... Я только свистну... А может, я и свистнул. А может, черт меня раздери совсем, и есть у меня, того-этого, на примете, в поле зрения, так сказать... Да-с, Варечка, есть, есть. Прогадали, милочка, прогадали, лапочка, прогадали, поторопились со своими целями корыстными.

Есть у меня! Цимес, ландыш китайский, принцесса, мадонна сикстинская... Сон, сон прямо-таки. Вчера еще не было, а нынче есть. Вчера еще сомненья были: вдруг да и точно пропаду, вдруг да и точно без меня кипение жизни происходит. Хе-хе. Ах, как приятно, как приятно чувствовать себя участником, равноправным колесиком жизни!

И как случилось-то? Обидно даже, что так просто случилось. То есть, конечно, еще ничего не случилось, ничего не произошло. Но случится, но произойдет. Оттого что причина на это есть. Встреча есть. Встреча эта, может, на всю жизнь в моей памяти останется... Нет, не могу... Сон, прямо-таки сон. Вышел на Морскую давеча (я всегда теперь от Гороховой по Морской хожу). Так вышел на Морскую, смотрю – чудо. Идет та же, что давеча встретил, идет. Боты... меха... глаза... грация. Цимес, ландыш китайский, мадонна! Только давеча, вчера то есть, хотя и посмотрела она на меня, но ничего особенного во взгляде ее не значилось, а нынче поравнялась, гляжу: плечиком – виль, ножками – дрыг, глазками того-этого... И все так грациозно, так приятно. Чудно! Чудно хорошо!

Однако не подошел. Не время. Завтра подойду. Завтра непременно подойду. Чего-нибудь скажу и подойду. Сережка Петухов говорит, что дамы нахальство обожают. Чем нахальней, тем лучше. Так вот нахально и подойду. Завтра! Завтра! Завтра вступаю на поприще, так сказать, жизни, приобщаюсь к тайнам ее.

Питался хорошо. Съел в Пепо две порции гуся.

## 9 декабря

Нынче что-то ее не встретил. Шесть раз прошел по Морской – нету. Ну да ничего: сегодня не встретил, завтра встречу. Я пять лет ждал, пять лет как свинья жил. Чего ж мне сутки-то не обождать? Обожду. Завтра еще и лучше. Завтра могу с ней в ресторан или, например, в кабаре пройтись. Завтра ведь я еще разницу получу, за экстру получу, долг мне Сережка Петухов отдаст. А вдруг – не отдаст? Отдаст. Скажу, дескать, ужасно как требуются деньги. Нужда, скажу, в презренных дензнаках. А причина, хе-хе, – шерше ля фам... Шерше ля фам! Этакое, правда, великолепное изречение! Французы это придумали. Ах, французы, французы! Культурная, цивилизованная нация. У них женщина в очень почетном месте... Это у нас женщина вроде бы домашней хозяйки, а там, того-этого, обаяние к ним, любовь.

Конечно, что касается любви, то я не того, не доверяю этому чувству, сомневаюсь, прямо скажу, в нем. Люди с высшим образованием, приват-доценты какие-нибудь, конечно, отрицать начнут, скажут, что любовь, точно, существует, однако, может, она и точно существует, как отвлеченное явление, да только мне наплевать на это, прямо скажу. Я за пять лет революции, можно сказать, на опыте проследил: ежели питание, скажем, посредственное, неважное питание, то никакой любви не существует, будь хоть вы знакомы с наивеликолепнейшей дамой, а чуть питание улучшается, чуть, скажем, гуся с кашей съел, поросенка вкусил – и пожалуйста – поэзии хочется, звуков – любовное томление, одним словом.

Ну а что касается дамы той, что давеча я на Морской встретил, так любви, конечно, к ней я не имею, но она мне нравится очень, очень.



Завтра жду с нетерпением. Питался хорошо. Съел у Палкина три порции гуся.

## 11 декабря

Есть... Пришла... Цимес! Ландыш китайский! Сон, совершеннейший сон! Только на Морскую вышел – идет... Чего уж я ей сказал, не помню. «Здравствуйте», кажется, сказал. А она улыбнулась сразу, чудно, чудно улыбнулась. Я про театр ей намекаю, а она не хочет. Ландыш испанский, мимоза! Не хочет! Это из бескорыстия она не хочет. В расход ей, видите ли, неловко меня вгонять. Ах, я всегда мечтал встретить бескорыстную особу!..

Пишу это, покуда она, гуленька, в порядок себя приводит, галошки снимает, прическу того-этого.

Ну снимай, снимай, я люблю, чтоб это все было, того-этого, приятно, чтоб грация во всем была. Другому это все как-нибудь, а я человек все-таки культурный, мне обстановка нужна, поэзия.

Вот сбоку на нее смотрю – королева Изабелла прямо-таки, мадонна. Варька Двуколкина в подметки ей не годится. Варька Двуколкина перед ней дрянь, сопля, пуговица.

Ей только корыстные цели подавай... А тут... Даже страшно становится, чего это она свой чудный взор на меня обратила. Красавица! Грации-то сколько, грации! Ей-богу, княгиня это какая-нибудь бывшая... Может, обнимешь ее, а она в слезы.

– Нахал, – скажет, – сукин сын. Я не для этого, – скажет, – пришла. Я, – скажет, – сукин сын, какая-нибудь там княгиня Трумчинчинская бывшая...

Ах, шут меня раздери совсем... Ей-богу, княгиня это... Чш... кончаю писать. Идет... Боюсь, чего и говорить с ней буду, не знаю. Я пять лет с порядочными дамами не разговаривал.

## 12 декабря

Все пропало. Дурак я. Стелька сапожная! Утром она встает, уходит и...

– Пять рублей, – говорит.

– Как? Что?

– Да, – говорит, – не меньше.

Я к столу. Деньги вынул, дал ей и только после вспомнил – больше дал, шесть... две по тройке... На лестнице ее, гадину, догнал.

– Там, – говорю, – шесть.

Смеется.

– Ну, – говорит, – у меня кстати и сдачи нет. Пусть это на второй раз останется.

Дурак я, дурак. Курица гнусная, тетерька. Орлом полететь захотел. Орлом! Смешно даже. Издеваться над собой хочется. Орлом! Про любовь начал ей говорить, спрашивать начал.

– Как это, – говорю, – вы так сразу полюбили меня и обратили свое полное внимание на меня?

А она:

– Так, – говорит, – и полюбила. Мужчина, вижу, без угрей, без прыщей, ровный мужчина. Ровный! Стелька я сапожная! Дрянь! И как это я ничего не заметил?

Хм... А если б и заметил? Да если б и заметил, так все равно... Иные, конечно, и орлом летают, а тут...

Да. Подлая штука жизнь. Никогда я ею особенно не увлекался. Подлость в ней какая-то есть. Особенная какая-то подлость! Заметьте: если падает на пол хлеб, намазанный маслом, так он непременно падает маслом... Особая, гнусная подлость.

Тьфу, какая подлость!

## Учитель

Учитель второй ступени Иван Семенович Трупилов одернул куцый свой пиджачок, кашлянул в руку и робкими шагами вошел в класс.

– Вы опять опоздали? – строго спросил дежурный ученик.

Иван Семенович сконфузился и, почтительно здороваясь с классом, тихо сказал:

– Это трамвай, знаете ли... Это я на трамвай не попал...

Прямо беда с этим видом передвижения...

– Отговорочки! – усмехнулся дежурный.

Учитель робко присел на кончик стула и зажмурил глаза. Странные воспоминания теснились в его уме.

Вот он, учитель истории, входит в класс, и все ученики почтительно встают. А он, Иван Семенович, крепким строгим шагом идет, бывало, к кафедре, открывает журнал и... необыкновенная тишина водворялась тогда в классе.

И тогда он, учитель, строго смотрел в журнал, потом на учеников, потом опять в журнал и называл фамилию.

– Семенов Николай.

Учитель вздрогнул, открыл глаза и тихо сказал:

– Товарищ Семенов...

– Чего надо? – спросил ученик, рассматривая альбом с марками.

– Ничего-с, – сказал учитель. – Это я так. Не придавайте значения.

– Чего так?

– Ничего-с... Это я хотел узнать – здесь ли молодой товарищ Семенов...

– Здесь! – сказал Семенов, разглядывая на свет какую-то марку.

Учитель прошелся по классу.

– Извиняюсь, молодые товарищи, – сказал он, – на сегодня вам задано... то есть я хотел сказать... предложено прочитать – реформы бывшего Александра I. Так, может быть, извиняюсь, кто-нибудь расскажет мне о реформах бывшего Александра I?.. Я, поверьте, молодые товарищи, с презрением говорю об императорах.

В классе засмеялись.

– Это я так, – сказал учитель. – Это я волнуюсь, молодые товарищи. Не истолковывайте превратно моих слов. Я не настаиваю. Я даже рад, если вы не хотите рассказывать... Я волнуюсь, молодые товарищи...

– Да помолчи ты хоть минуту! – раздался чей-то голос. – Трещит, как сорока.

– Молчу... Молчу... – сказал учитель. – Я только тихонько. Я тихонько только хочу спросить у молодого товарища Семечкина: какие он извлек политические новости из газеты «Правда»?

Семечкин отложил газету в сторону и сказал:

– Это что? Газету, по-вашему, убрать? Да я, черт возьми...

– Ничего-с, ничего-с... Ей-богу, ничего... То есть я про Бога ничего такого не сказал. Не истолковывайте превратно.

Учитель в волнении заходил по классу.

– Да не мелькай ты перед глазами! – сказал кто-то. – Встань к доске.

Учитель встал к доске и, сморкаясь в полотенце, тихонько захныкал.

## Свиное дело

Эх, братишки, рука дрожит, перо из пальцев вываливается – негодование, одним словом, у меня на душе по поводу одного происшествия!

Ведь есть же падаль такая, как Володька Гуськов! Фатишка, представьте себе, трехсотый курит, ходит – носки нарочно врозь, галстук у него голубой с прожилками... И агентом на Орловской служит.

Ну да ничего: закатали нынче этого агента на пять лет со строжайшей изоляцией.

А дело было – свиное.

Свинья была у Ивана Семеныча. Превосходная свинья, и этакая жирная, что и выразить невозможно. От жиру своего она все время на задку сидела. А уж если и поднималась куда, так гудело у ней изнутри и задом она своим, что метлой, по двору гребла.

Да. Замечательная была свинья. Иван Семеныч до того на нее радовался, что и работать не мог, работа из рук валилась. Сядет он, бывало, на крыльцо, очи в крышу и мечтает.

«Зарежу, мечтает, ее к лету. Пуд проем, пуд загону, пуд посолою... Да еще множество пудов остается».

Но только не зарезал ее Иван Семеныч – иное вышло.

Сидел он раз на крыльце и с бабой своей по поводу свиньи вслух мечтал. И не заметил совсем, как свинья эта со двора ушла.

А жил Иван Семеныч вовсе не далеко от полотна – рукой подать.

Вот свинья вышла со двора, хрю да хрю, видит – полотно, и на задку поперла к самой то есть насыпи. И шут ее знает, как она, при подобной комплекции, угодила на рельсы! А время было к четырем – пассажирский шел.

Машинист видит, что на рельсах неблагополучно – насыпь кто-то рылом роет, – свистит... Свинья и в ус не дует – лежит, что королева, и рельсы нюхает. Шмякнуло тут ее в бок и по рылу и разорвало на три половинки. Не хрюкнула даже.

А в эту секунду самую Иван Семеныч с бабой своей едва не повздорил из-за свиньи. Куда ему, видите ли, свиную голову надевать: то ли продать, то ли студень из нее сделать, то ли что... Баба все на студень напирает, студня ей охота, а Иван Семенычу желательно деньжонок понабрать.

Баба все свое:

– Студень, Иван Семеныч, студень... Ей-богу, студень.

А Иван Семеныч не хочет студня.

– Нет, – говорит, – баба, ты посмотри, какая голова. За такую голову ужасно много дадут.

А ты говоришь – студень...

Захотел Иван Семеныч еще раз на свиную голову посмотреть, оглянулся – нету свиньи.

– Ой, – говорит, – баба, а где же свинья?

Вскочили они оба, бросились со двора.

– Прося, прося...

Вдруг видят след, что тропинка, проложен от свиного зада. Бросились они по следу. Полотно. А вокруг толпа стоит и любит.

Закричали они оба в голос, растолкали толпу, собрали свинью, взвалили ее на плечи и с ревом понесли к дому.

Но пришла беда – отворяй ворота. Не успел Иван Семеныч с бабой своей всласть поплакать, как вдруг железнодорожный агент Володька Гуськов к ним на двор заявился.

– Это, – говорит, – кто из вас беспорядки нарушает, а? Это, – говорит, – кто свиньию остаток с рельсов снял без разрешения на то законных властей? А?

Оробел Иван Семеныч, лепечет непонятное, а баба за него отвечает:

– Позвольте, батюшка, это наши свиные остатки. Весь народ подтвердить может.

– А, – говорит Володька, – ваши остатки? А может быть, тут убийство произошло или самоубийство? Может быть, вы поезд животным опрокинуть хотели, а? Встань, – говорит, – баба, передо мной в струнку!

Тут и баба оробела. Встала она, по возможности, в струнку.

– Ваше, – говорит, – вашество, ваше степенство, по глупости свинья на рельсу взошла...

– А, по глупости? А знаешь ли ты, дура баба, уголовный кодекс Всероссийского судопроизводства? Да я вас могу за подобное уголовное преступление в татарары без применения амнистии... Да вы знаете, кто я такой? Да меня, может, вся Москва знает. Да я вас, растакие такие, к высшей мере могу без амнистии.

Покричал еще Володька, покричал, а после и говорит:

– Ладно, – говорит, – помилую на этот раз. Неси ко мне на квартиру половину свиных остатков.

Охнул Иван Семеныч, и баба охнула. Взвалили они на плечи изрядный оковалок, пуда на три, и понесли к Володьке.

А съел Володька немного – фунтов пять, что ли. Да и тех не доел – арестовали.

А давеча я в «Правде» прочел: на пять лет Володьку со строгой изоляцией. Правильно!

## Дисциплина

Ужасно я люблю всякие путешествия. Меня, братцы мои, хлебом не корми, позволь мне только поехать куда-нибудь. Поездом или пароходом – мне это все равно. Главное, чтоб были два или три приятных собеседника. С ними я согласен хоть в Патагонию ехать. Очень мне нравится беседовать с незнакомыми.

В свое время я очень много ездил. А когда бесплатно было, я и с поезда не вылезал.

А трудно тогда приходилось. Пассажир был злой, неразговорчивый, чуть что – ногами пихался. И вообще – давка, безобразие. Мне даже раз на желудок мешок с крупчаткой уронили. Конечно, я сам виноват. Я на пол прилег. Ужасно утомился – стоял три ночи, ну и прилег. Предупредил еще:

– Братцы, – говорю, – я на пол прилег, не наступите на лицо.

На лицо не наступили, но от толчка с полки мешок упал. И спасибо, братцы, что небольшой мешок упал. Рядом стоял пуда на два.

А то однажды стеарином мне в глаз капнули. Это обер капнул. Наклонился он, собачий нос, надо мной, со свечкой.

– Ваш, – говорит, – билет?

И капнул. Нечаянно, говорит. А мне от этого не легче. У меня до сих пор на глазу отметина осталась. Вот ежели приподнять веко, то на роговой оболочке каждый гражданин может увидеть желтоватое пятно величиной с горошину.

Да. Трудно тогда было. С теперешним положением сравненья нету.

Я вот на днях в Лугу ездил. Чудесно ехать. Порядок, европейская аккуратность, чистота. Жаль только, пассажиры мне плохие попались. Не очень разговорчивые. Один носом клюет – спать ему, видите ли, хочется, другой – мужичок – кушает всю дорогу. Да как кушает! Срежет кусок хлеба, масла на него наворотит и жует. Потом опять. Это он заснуть боялся.

Был еще третий – старикан. Тоже дрянь пассажир. Из него, из собаки, слова клещами нужно выжимать. Я уж к нему и так, и так – молчит. Начал я ему рассказывать, как мука на меня упала, – молчит. Показал я ему пятно на роговой оболочке. Пятно он осмотрел, но ничего такого интересного не сказал.

Наконец после одной большой станции говорю ему:

– Уважаемый гражданин, а великолепно теперь в поездах ехать. Не правда ли? Порядок. Едешь будто по германской территории.

– Чего? – спрашивает.

– Словно, – говорю, – по германской земле едешь... С чего бы это изменение такое?

– А это, – говорит, – дисциплина. Русскому человеку невозможно без дисциплины.

– Это, – говорю, – верно. Золотые слова. В каждом деле прежде всего дисциплина. Будь то военное дело или даже водный транспорт.

– Да, – отвечает старик. – Только русский человек неправильно дисциплину понимает.

– То есть, – говорю, – как же неправильно, если такой порядок?

– А так...

И не успел тут старик слов договорить, как встает вдруг мужичок со своего места.

– Вы, – говорит, – про что разговариваете? Я, – говорит, – этого слова – дисциплина – слышать не могу...

– А что? – спрашиваем.

– Вы, – говорит, – про Ваську Чеснокова слышали? Черный такой мужик?

– Нет, говорим.

– Ну так, – говорит, – это его и убили по дисциплине этой.

– Да ну? – спрашиваю.

– Да, – говорит, – ей-богу. В германскую войну. На фронте... Пригнали нас в окопы, а мы ни уха ни рыла в военном деле... А тут Лешку Коновалова... Вы Лешки не знали ли?

– Нет.

– Ну так вот. Лешку Коновалова часовым поставили. А начальник строгий был. Начальник подошел к Лешке, харей его повернул к противнику и говорит:

– Вот, – говорит, – за бугром противник. Ежели кто из-за бугра покажется – лепи туда пулей.

А случилось, что за бугор Васька Чесноков пошел. Там он картошку рыл. Трава высокая – немцу не видно. Возвращается.

А часовой Лешка видит, что фигура из-за бугра прет, ружье вскинул. Только смотрит: знакомая фигура – Васька Чесноков.

– Эу! – закричал Лешка. – Васька, ты?

Тот руками машет. Я, дескать.

Заплакал Лешка, выстрелил...

– Ну и что же? – спросил я.

– Ну и убил...

Мужичок отрезал кусок хлеба и принялся снова жевать.

Старичок засмеялся.

– Вот, – говорит, – не угодно ли!

Я говорю:

– Это не доказательство. Это глупость. Вот вы, – говорю, – хотели что-то рассказать.

– Да, – говорит, – хотел, да некогда. Сходить мне сейчас.

Взял он корзинку и на площадку вышел. Поезд, конечно, остановился. А я стал в окно смотреть. И вижу: выходит на платформу дежурный. Красивый такой мужчина, в галифе.

Вышел он, прутиком по сапогу хлопает, усишки подвигает.

На дам косится. Прислонился к забору.

– Эй, – кричит, – Игнат!

Подходит к нему сторож.

– Игнат, – говорит дежурный, – принеси-ка, брат, папиросы. На столе у меня лежат.

Игнат бросился в вокзал.

«Дисциплина, – подумал я. – А пожалуй что старик и прав: неправильно многие дисциплину понимают...»

Поезд наш пошел дальше.

Больше мне ни с кем поговорить не пришлось.

## Плохая ветка

По Новоторжской ветке я больше не поеду. Шут с ней. Плохая ветка. Там я едва не разбился. И там же с меня еще штраф взяли.

И за что? За то, что я, братцы, на нижнем месте сидел. А разве я виноват? Я кассирше объяснял толком:

– Я, – говорю, – человек грузный, мне, – говорю, – много- уважаемая, не давайте верхнее место. Я разбиться могу.

А она, братцы, напротив того, верхнее место дала.

«Ну ладно, соображаю, с кем-нибудь я обменяюсь в вагоне».

Сел в вагон я, а меняться не с кем – пустой вагон. «Ну, – думаю, – тем лучше. Повезло, – думаю, – мне на Новоторжской ветке. Всегда буду на ней ездить».

Сел я на нижнее место и, извиняюсь, задремал. Вдруг контроль идет.

– Ваш, – говорит, – билет?

Подую билет. Контроль внимательно осмотрел билет и нахмурился.

– У вас, – говорит, – лежачее место. Полезайте наверх, а то я вас оштрафую.

Я говорю:

– Батюшка, уважаемый контроль, не хочется мне наверх. Чего я буду сидеть там, как кура. Позвольте мне внизу посидеть.

– Не могу, – говорит, – позволить. А ежели вы мне взятку сейчас предложите, то я могу вас упечь, куда Макар телят не гонял.

Он думал, что я растеряюсь, задрожу, а я хоть бы что. Отбрil даже его.

– Вы, – говорю, – не страшайте меня и не возвышайте голос, от этого у вас печенка может лопнуть. А ежели наверх нужно, то ладно, сейчас полезу.

Полез. Два раза я, братцы мои, обрывался. Наконец влез. Проехал два перегона – нет, не могу больше – тошнит и к тому же упасть боюсь от толчка.

Слез я тихонечко, присел на нижнее место. Вдруг опять контроль.

– Ага, – говорит, – ты опять здесь. Плати штраф.

Заплатил я штраф.

«Ну, – думаю, – хотя теперь поеду спокойно».

Не тут-то было.

– Нет, – говорит контроль, – штраф штрафом, а ежели место лежачее – лезь наверх.

Влез я, братцы, снова наверх. Лежу, боюсь даже до ветру сойти.

А в Лихославле собрал я свои манатки да и поскорей прочь из вагона. А там нанял лошадей да и ходу, ходу...

Не езжайте, братцы, по Новоторжской ветке! Плохая ветка.

## Попугай

Нынче нам, братцы мои, великолепное житье. Все-таки еда хорошая: щи там или что другое... Мясо опять же. А которым по праздникам бабы, может, и пироги с капустой пекут. Вот оно какое великолепие!

На таких харчах мы, братишки, и позабывать стали, что это за голод такой. Позабывать начали, как это мы голодовали раньше, скажем, в девятнадцатом году.

А ведь и голодовали же мы, братцы, в свое время! Хлеб был в диковинку. Вспомнить удивительно.

А впрочем, не все, скажем, голодовали. Которые мужички, крестьяне то есть, – неплохо те жили. Все им из города везли: инструмент и драгоценные изделия и ценности всякие.

Уж и поклонялся же город деревне. Поклонялись городские мужичкам. А шельма же, братцы, мужичок наш, полюбовно будет это сказано! Ах ты, шельма какая!

Баба моя – кокетка, надо сказать, – зеркало повезла раз в деревню. Небольшое такое зеркалаще, но, скажем, рожу всю видно. Повезла, братцы мои. Думала, к празднику мало-мальски пуд мучки сволокет назад. Плакалась еще, дура такая: как это, – говорит, – тяжесть такую повезу.

Приехала в одну деревню. Куда там!

Часишки, зеркала, рояли – в каждой избе. А тут, извините за выражение, небольшое зеркалаще.

Ткнулась баба моя в одну избу – шесть куриных яиц дают. В другую ткнулась – опять шесть куриных. Вот, – думает, – клюква.

– Куда же, – спрашивает, – мне куриные яйца в дорогу? Дайте хоть крупы какой-нибудь или мучки, что ли.

Не дают.

– А нет, – говорят, – за зеркала у нас официальный тариф – на куриные яйца.

Так и вернулась баба моя ни с чем.

Мужик-то, впрочем, один прельстился зеркалом.

– Эх, – говорит, – жалко, что махонькое зеркалаще. Я бы, – говорит, – для тебя нарушил все нормы, дал бы тебе крупой. Ну да неподходящее зеркалаще. Мне, – говорит, – такое надо, чтоб и ноги видать было.

И зачем ему, братцы мои, ноги нужно видать?

Ах, шельма какой мужик!

А я вот тоже раз съездил. За Вологду. Смешно вспомнить. Попугая вез.

И ни за что бы я не поехал, да опять-таки баба моя пристала.

Баба моя – кокетка, надо сказать, – от хлеба с малороссийским салцем нипочем не откажется... Пристала и пристала. Поезжай да поезжай.

Ну и соседи тоже:

– Поезжайте, – говорят, – Семен Семеныч. Вы человек разговорчивый – вкрутите мужичкам.

А мне что? Я и поехал.

А перед отъездом-то разговоры всякие были. Чего везти в деревню. Одни говорят: ленты вези, кружева. Другие – ситчик попестрей. Третьи – бусы. Что дикарям, ей-богу.

Пошел я на толкучку. Думаю, куплю-ка, в самом деле, такую вещь, чтобы сразу в рожу кидалась.

Вот и купил, братцы мои, попугая в клетке.

Сидит, представьте себе, на толчке многоуважаемая дама такая (может быть, бывшая графиня) и домашним барахлом торгует. И тут же при ней клетка, а в клетке попка. И сидит



эта попка на кольцо, качается и орет по-французски: шармант, что в переводе на русский язык – прелестно значит.

Вот, братцы мои, я и приобрел птицу эту. То-то, – думаю, – удивлю деревню.

И удивил, слов нету.

А купил я эту попку за недорого. Хлебом, не помню – восемь, не помню – десять фунтов дал.

И вскоре после этого и поехал. В теплушке ехал. Разговор, помню, поднялся вокруг меня, смех.

– Куда, – спрашивают, – везешь птицу? Зачем?

– Везу, – говорю, – в деревню на хлеб менять. Почему, – спрашиваю, – попугаи в этих местах ходят? В какой цене? Не продешевить чтобы.

Смеются.

– Товар, – говорят, – неизвестный.

Предложил мне тут какой-то субчик полпуда ядрицы за птицу, да не отдал я.

Приехал в одну деревню. Народ вокруг меня столпился. Хохочут. Ребята тоже хохочут. Прутьями дразнят птицу. Под перья ей дуют.

«Ну, – думаю, – понравился товар».

Принялся я с бабой одной торговаться и совсем было в цене сошелся, да явился какой-то инвалид, что ли. Из армии.

– Стоп, – говорит, – братцы! Обман. Попка эта – ненастоящая. Настоящая попка «дурак» орет, а эта, – говорит, – что-то невнятно произносит.

Ну и смутил сделку, чертов инвалид. Пуд только стала давать баба.

Дальше я пошел.

В одну, в другую деревню – не берут. Хохочут, под перья дуют, а не берут. А которые бы и взяли, да обижаются, зачем «дурак» не произносит.

Два дня мотался я, братцы мои, с птицей, запарился, утомился – сказать невозможно. Прямо бы за полпуда отдал. Но и полпуда перестали давать.

– Вид, – говорят, – у птицы плохой.

А это верно: птица тоже запарилась. Все-таки дорога, да и под перья дули, да и ронял я ее раза два.

И вот посоветовал мне один старичок в дальнюю деревню идти. «А то, – говорит, – народ тут при железной дороге балованный, чего хотят – сами не знают».

Вот я и пошел.

А путь дальний. Жара. Пылища в нос бьет. Чересчур я тогда утомился. Вижу, и птица моя утомилась до невозможности. С кольца своего сошла, сидит внизу, нахмурившись, и хлеб не клюет.

«Ну, – думаю, – не скончалась бы раньше времени. Плохой вид. Вот, – думаю, – глупость какая будет, ежели так».

А сам все нажимаю, все быстрее да быстрее.

И вот пришел к вечеру в нужную деревню.

– Ну, – говорю, – попка, подбодрись.

В одну избу зашел.

– Не нужно ли, – говорю, – попугая?

– Нужно, – говорит мужик. – А почему товар? Покажи.

Стал я ему попку показывать, смотрю: лежит моя птица брюхом кверху, и лапки у ней врозь.

Обиделся мужик.

– Что ж, – говорит, – это ты дохлой птицей торгуешь?

Ох, чуть я не прослезился тогда. Вывалил попку из клетки, клетку бросил.

А мужик хохочет надо мной.

– Перестань, – говорит, – клетку бросать. Я тебе за нее шесть куриных яиц дам.

И дал.

– А жалко, – говорит, – что скончалась птица. Я бы, – говорит, – за нее четыре пуда дал.

Мне, – говорит, – очень последнее время попугаи нужны. Если, – говорит, – у тебя еще будут продажные попки – валяй, приноси.

Я говорю:

– Ладно. Принесу. Держи карман шире.

В общем, я вернулся домой в полном огорчении и больше в деревню не ездил.

## Сенатор

Из Гусина я выехал утром... Извозчик мне попался необыкновенный – куда как бойчее своей лошади. Лошаденка трусила особенной деревенской трухлявой рысью с остановками, тогда как извозчик ни на одну секунду не засиживался на месте: он привставал, гикал, свистел в пальцы, бил кнутовищем свою гнедую кобылку, стараясь попасть ей по бокам и по животу, иногда даже выпрыгивал из саней и, по неизвестной причине, бежал рядом с кобылкой, ударяя ее время от времени то ладонью, то ногой по брюху.

Я не думаю, что делал это он от холода. Мороз, помню, был незначительный, да и ехали мы недолго, с полчаса, что ли. Думаю, что делал это он по необыкновенной энергичности своего характера.

Когда мы подъезжали к какой-то деревушке, извозчик мой обернулся и, кивнув головой, сказал:

– Лаптенки это...

Потом засмеялся.

– Чего смеешься? – спросил я.

Он засмеялся еще пуще. Затем высморкался, ловко надавив нос одним пальцем, и сказал:

– Сенатор... сенатор тут в Лаптенках существует...

– Сенатор? Какой сенатор? – удивился я.

– Обыкновенно какой... сенатор... Генерал, значит, бывший...

– Да зачем же он тут живет? – спросил я.

– А живет... – сказал извозчик. – Людей дюже пугается – вот и живет тут. С перепугу то есть живет. После революции.

– А чего ж он тут делает?

Извозчик мой рассмеялся и ничего не ответил.

Когда мы въехали в Лаптенки, он снова обернулся ко мне и сказал:

– Заехать, что ли? Погреться нужно бы...

– Не стоит, – сказал я. – Приедем скоро.

Мы двинулись дальше.

– Гражданин, – сказал извозчик просительно, – заедем... Мне на сенатора посмотреть охота.

Я рассмеялся.

– Ну ладно. Показывай своего сенатора.

Мы остановились у черной, плохонькой избы, сильно приплюснутой толстенной соломенной крышей. Извозчик мой в одну секунду выскочил из саней и открыл ворота, не спросив ничего у хозяев. Сани наши въехали во двор.

Я вошел в избу.

Может, оттого, что я давно не был в деревне, изба эта показалась мне необыкновенно грязной. Маленькое оконце, сплошь заляпанное тряпками и бумагой, едва пропускало свет в избу. В избе баба стирала белье в лоханке. Рядом с лоханкой сидел старичок довольно дряхлого вида. Он внимательно, с интересом смотрел, как мыльная пена, вылетая из лоханки, ударялась в стену кусками и со стены сползала медленно, оставляя на ней мокрые полосы.

В избе было душно. Несмотря на это, старичок одет был крепко: в валенках, нагольном тулупе, даже в огромной меховой шапке.

Сам старичок был малюсенький – ноги его, свешиваясь с лавки, не доставали земли. Сидел он неподвижно.

Я поздоровался и просил побыть в избе минут пять – прогреться.

– Грейтесь! – коротко сказала баба, едва оборачиваясь в мою сторону.

Старичок промолчал. Он, впрочем, сурово взглянул на меня, но после снова принялся следить за мыльной пеной.

Я недоумевал.

«Уж не этот ли старикан – сенатор?» – думал я.

В это время в избу вошел мой извозчик.

Он поздоровался с бабой и подошел к старику.

– Господину сенатору с кисточкой, – сказал он, протягивая ему руку.

Старичок подал нехотя свою сухонькую ручку. Извозчик засмеялся, подмигнул мне и сказал тихо:

– Это и есть...

Должно быть, услышал это старичок. Он заерзал на скамье и заговорил вдруг каким-то странным мужицким говорком, сильно при этом окая:

– Вре-е... Вы не слушайте ево, господин... Меня тут все дразнят... сенатором... А чего это за слово – мне неизвестно. Ей-бо...

Баба бросила вдруг стирать, утерла лицо передником и рассмеялась. Извозчик мой засмеялся тоже.

Я уж подумал было, что это и в самом деле так: дразнят старика, однако меня смутила его странная, как бы нарочная мужицкая речь. Мужики здесь так не говорили.

Да и подозрительно было оканье и сухие, белые, не мужицкие руки.

– Послушайте, – сказал я, улыбаясь, – а я ведь вас где-то видел. Кажется, в Питере...

Старик необыкновенно смутился, заерзал на лавке, но сказал спокойно:

– В Питере?.. Нетути, не был я в Питере...

Извозчик ударил себя по ляжкам, присел и захохотал громко, захлебываясь. И, не переставая смеяться, он все время подталкивал меня в бок, говоря:

– Ой, шельма! Ой, умереть сейчас, шельма какая! Ой, врет как...

Баба смеялась тихо, беззвучно почти – я видел, как от смеха дрожали ее груди.

Старик смотрел на извозчика с бешенством, но молчал. Я присел рядом со стариком.

– Бросьте! – сказал я ему. – Ну чего вы, право... Я человек частный, по своему делу еду... К чему вы это передо мной-то? Да и что вы боитесь? Кто вас тронет? Человек вы старый, безобидный... Нечего вам бояться.

Тут произошла удивительная перемена со старичком. Он поднялся с лавки, скинул с себя шапку, побледнел. Его лицо перекошилось какой-то гримасой, губы сжались, профиль стал острый, птичий, с неприятно длинным носом. Старик казался ужасно взволнованным.

– Тек-с, – сказал он совершенно иным тоном, – полагаете, что никто не тронет? Никто?

– Да, конечно, никто.

Старичок подошел ко мне ближе. В своем волнении он окончательно потерял все мужицкое. Он даже стал говорить по-иному – не употребляя мужицких слов. Мне было ясно: передо мной стоял интеллигентный человек.

– Это меня-то никто не тронет? Меня? – сказал он почти шепотом. – Да меня, может, по всей России ищут.

Старик надменно посмотрел на меня.

Мне стало вдруг неловко перед ним. В самом деле: к чему я с ним заговорил об этом? Ему, видимо, нравилась его роль – тайного, опасного человека, которого разыскивает правительство. Сейчас этот тихий старичок казался почти безумным.

– Меня? – шипел старик. – Меня... (тут он назвал совершенно мне неизвестную фамилию).

– Простите, – пробормотал я, – я не хотел вас обидеть... И, конечно, если вас разыскивают...

Я поднялся с лавки, попрощался и хотел уйти.

– Позвольте! – сказал мне старик. – Что про меня в газетах пишут?

– В газетах? Ничего.

– Не может быть, – закричал старичок. – Вы, должно быть, газет не читаете.

– Ах да, позвольте, – сказал я, – что-то такое писали...

Старичок взглянул на меня, потом на хозяйку, на моего извозчика и, довольный, рассмеялся.

– Воображаю, – протянул он, – какую галиматью пишут. Что ж это, разоблачения, должно быть?

– Разоблачения, – сказал я.

– Воображаю...

Я вышел во двор. Когда мы выезжали со двора, старичок бросился к саням, снял шляпу и сказал:

– Прощайте, господин. Счастливый путь-дороженька. А про сенатора – врут... Ей-бо, врут... Дражнят старика...

Он еще что-то бормотал, я не расслышал – сани наши были уже на улице.

Извозчик мой тихонько смеялся.

– А что, – спросил я его, – как же он тут живет? У кого? Кто его держит?

– Сын... Сын его держит, – сказал извозчик, давась от смеха.

– Как сын... какой сын?

– Обыкновенно какой... Родной сын. Мужик. Крестьянин. Я не здешний, не знаю сам... Люди говорят... На воспитанье будто сенатор сына сюда отдал. К бабке Марье... Будто он в прежнее время его от актриски одной прижил... Неизвестно это нам... Мы не здешние...

– А ведь старик, пожалуй что, безумный, – сказал я.

– Чего-с?

– Сумасшедший, – говорю, – старик-то. Вряд ли его кто разыскивает.

– Зачем сумасшедший? – сказал извозчик. – Не сумасшедший он. Нет. Хитровой только старик. Хитрит, сукин сын. Мы, бывало, к ним соберемся и давай крыть старика: какой есть такой? документы? объясняй из прежнего. Затрясется старик, заплачет. Ну да нам что... Пушай живет... Может, ему год жизни осталось. Нам что...

Извозчик хлестнул кнутовищем, потом выскочил из саней и побежал рядом со своей кобылкой.

## Вор

Был Васька Тяпкин по профессии карманник. В трамваях все больше орудовал.

А только не завидуйте ему, читатель, – ничего не стоящая это профессия. В один карман влезешь – дерьмо: зажигалка, может быть; в другой влезешь – опять дерьмо: платок, или, например, папирос десяток, или, скажем, еще того чище – счет за электрическую энергию.

Так, баловство, а не профессия.

А которые поценнее вещи – бумажник там или часы, что ли, – дудки.

Неизвестно, где нынче содержат пассажиры это.

А и подлый же до чего народ пошел! Гляди в оба, как бы из твоего кармана чего не стырили. И стырят. Очень просто. На кондукторшину сумку, скажем, засмотрелся – и баста – стырили уж. Елки-палки...

Ну а что касается ценностей, то не иначе как пассажиры по подлости своей на груди их носят или на животе, что ли. Места эти, между прочим, нежные, щекотки нипочем не выносят. Пальцем едва колупнешь – крики: ограбили, дескать. Смотреть противно.

Эх, ничего не стоящая профессия!

Оптик один полупочтенный из налетчиков посоветовал Ваське Тяпкину от чистого сердца переменить профессию. Переменить то есть специальность.

– Время, – говорит, – нынче летнее. Поезжай-ка, – говорит, – братишка, в дачные окрестности. Облюбуй какую-нибудь дачу и крой после. И, между прочим, воздухом дыши. Ваш брат тоже туберкулезом захворать может. Очень просто.

«Это верно, – подумал Васька. – Работаеть ровно слон, а ни тебе спасибо, ни тебе благодарности. Поеду-ка я и в самом деле в дачные окрестности. Воздух все-таки, и работа иная. Да и запарился я – туберкулезом захворать можно».

Так Васька и сделал. Поехал в Парголово.

Походил по шоссе, походил по улицам – воздух, действительно, великолепный, дачный, слов нет, а разжиться нечем. И жрать к тому же на воздухе приспичило, только давай, давай – будто дыра в пузе: съел, а еще просится.

Стал Васька дачу облюбовывать. Видит, стоит одна дача жилая и на взгляд превосходная. На заборе заявление: медик Корюшкин, по женским болезням.

«Ежели медик, – думает Васька, – тем лучше. Медики эти завсегда серебро в буфете держат».

На сегодня залег Васька в кусты, что у медика в саду за клумбами, стал следить, что вокруг делается. А делается: нянька в сад с пятилетним буржуйчиком гулять вышла. Нянька гуляет на припеке, а парнишка по саду мечется, в игры играет. Игр этих у него до дьявола: куклы, маховички разные заводные, паровозики... А одна игра совсем любопытная – волчок, что ли. Заводом заведешь его – гудит это ужасно как и сам по земле, что карусель, крутится.

И до того Ваську эта игра заинтриговала, что едва он из кустов не выпал. Сдержался только.

«Неполным заводом, – думает, – они, идола, крутят. Ежели бы полным заводом – вот понес бы шибко».

А нянька распарилась на припеке, лень ей, видите ли, крутить.

– Крути, крути сполна, – шепчет про себя Васька. – Крути, дура такая... Сук тебе в нос...

Ушла нянька с парнишкой. Вышел и Васька из кустов. Пошел во двор, посмотрел что и как. Каждую мелочь знать все-таки нужно: где труба, а где, вообще, и кухня. После в кухню заявился. Услуги свои предложил. Отказали.

– Катись, – говорят, – сопнешь еще что. По роже видно.

А ведь верно: угадали, елки-палки, – спер Васька топор на обратном ходу. Ну да не говори под руку...

Назавтра Васька опять в кусты. Лежит, соображает, как начать.

«Лезть надо, – думает, – в окно. В столовую. Ежели окно на сегодня закрыто – не беда. Обожду. Завтра, может быть, забудут закрыть. Надо мной не каплет».

Всякую ночь подходил Васька к дому, трогал окно – не поддастся ли. Через неделю поддалось – закрыть забыли.

Скинул Васька пиджачок для легкости, успокоил в животе бурчанье и полез.

«Налево, – думает, – стол, направо буфет. Серебро в буфете».

Влез Васька в комнату – темно. Ночь хотя и светлая, а в чужих апартаментах трудно разобраться. Пошарил Васька руками – буфет, что ли. Открыл ящик. Пустяки в ящике – дерьмо: игрушки детские. Тьфу ты, бес. Действительно: куклы, маховички...

«Эх, елки-палки! – подумал Васька. – Не туда, честное слово, залез. Не иначе как в детскую комнату я залез. Елки-палки».

Руки опустил даже Васька. Хотел было в соседнюю комнату идти – страшно. С расположения сбился. К медику еще влезешь – ланцетом по привычке чикнет.

«Эх, – думает, – елки-палки. Соберу хоть игрушки. Игрушки, между прочим, тоже денег стоят».

Стал Васька выкладывать из ящика игрушки – волчок в руки попал. Тот самый, что в саду пускали давеча.

Улыбнулся Васька.

«Тот самый, думает. Пушу, ей-богу, после. Обязательно. Заведу на полный ход. А сейчас поторопиться нужно, товарищи».

Стал Васька торопиться, рассыпал что-то, зазвенело на полу.

Только смотрит – на кровати парнишка зашевелился. Встал. Пошел к нему босенький.

Оробел сначала Васька.

– Спи, – сказал. – Спи, елки-палки.

– Не трогай! – закричал мальчик. – Не трогай игрушки.

«Ах ты, – думает Васька, – засыпаться так можно».

А мальчик орет, плакать начинает.

– Спи, шибздик! – сказал Васька. – Раздавлю, как вошку.

– Не трогай. Мои игрушки...

– Врешь, – сказал Васька, пихая в мешок игрушки, – были, это точно, твои, а теперь ищи-свищи...

– Чего?

– Ищи, – говорю, – свищи.

Выкинул Васька мешок за окно и сам прыгнул. Да неловко прыгнул – грудь зашиб.

«Эх, подумал, елки-палки, так и туберкулезом захворать можно».

Присел Васька на клумбу, потер грудь, отдышался.

«Бежать, – думает, – скорее нужно».

Вскинул мешок на плечи, хотел бежать, про волчок вдруг вспомнил.

– Стоп! – сказал Васька. – Где волчок? Не забыл ли я волчок? Елки-палки.

Пощупал мешок – здесь. Вынул Васька волчок. Пустить охота, не терпится.

«А ну, – думает, – попробую заведу».

Закрутил он на полный ход, пустил. Гудит волчок, качается.

Засмеялся Васька. Прилег наземь от смеха.

«Вот, – думает, – когда полным ходом дует. Елки-палки».

Еще не докрутился волчок, как закричали вдруг в доме:

– Вор... Держи вора!

Вскочил Васька, хотел бежать – бряк по голове кто-то. Да не шибко ударили. Неопытно. Рухнул хотя Васька на землю, но вскочил после.

«Палкой, – думает, – ударили, что ли. Палкой, наверное, или смоляной веревкой».

Побежал Васька, закрывши рукой голову.

Пробежал версту, вспомнил: пиджак забыл.

Чуть не заплакал с досады Васька. Присел в канаву.

«Эх, – думает, – елки-палки. Переменить профессию надо. Ничего не стоящая профессия, хуже первой. Последнего, скажем, пиджачка лишился. Поступлю-ка я в налетчики. Елки-палки».

И пошел Васька в город.



## Мемуары старого капельдинера

Мне все говорят: почему бы вам, Григорий Палыч, записки этикие не написать – мемуары вроде бы про артистов. Вы человек семейный, впечатлительный и не чужды культурного просвещения. Вы двадцать лет капельдинером состояли и к сцене соприкасались.

И это верно: я двадцать лет служил искусству и того знаю, чего, прямо скажу, не всякий артист знает. Иной артистишка – дрянь, совершенная мелюзга, а нос перед тобой дерет. Вроде как наш театральный парикмахер Ферофонт: я, дескать, артист, а ты, мол, кто такой? Больно слушать. Но только врешь, брат. Про таких артистов я не упомяну, а буду я писать про замечательных артистов.

Вот Шаляпин – артист, прямо скажу, хороший. Он бас очень даже замечательный. Так сказать, знаменитый и исторический голос-бас на всем полушарии.

Но, конечно, голос у него не такой уж чересчур громкий, как некоторые воображают себе. Некоторые представляют или введены в сомнение, что голос у него такой чересчур громкий, что зеркала будто дребезжат и занавес вьется. Так это, прямо скажу, ничего подобного. Голос у него очень даже обыкновенный, и ежели мне, например, в фойе выйти, так и едва слышно. А ежели, извиняюсь, до ветру пройтись, так и того... не слышно, прямо скажу.

Ну а публика дура. Публика думает невесть что и прет, и прет, даже обидно. А которые без билета, охотно хорошо дают.

А вот был у нас бас – Иван Кириллыч Васин. Вот это, прямо скажу, очень даже замечательный бас. Прежде он в соборе даже выступал. Ну а после к нам в хор перевелся. Вот от такого голоса было действительно сотрясение предметов. Это многие подтвердят. Некоторых он даже в ужас вгонял, которые неопытные.

Но в хоре ему ходу не давали. Не позволяли ему даже проявить свой голос в полной своей мере. Но только он один раз из гордости взял ноту. Это мы «Русалку» тогда ставили. Шаляпин, Федор Иванович, – арию, а он, Кириллыч наш, как рявкнет, как рявкнет, собачий хвост... Куда там... Покрыл, прямо скажу, и оркестр, и Шаляпина. В одну минуту доказал, что он за какой бас. Ну, только за минуту гордости потерпел – очень его матевировали и после службы поперли. Да. А был бас замечательный.

Глазунов – хороший композитор и капельмейстер. Он мужчина полный и представительный. Некоторые утверждают, будто крупнее его и нету, но это говорят необдуманно.

Я сам знал бывшего помещика одного. Так куда там. Вот это был действительно крупный мужчина. Он хоть повыше будет слегка, но зато в полноту сравненья нету. А весом, прямо скажу, больше девяти пудов. Он так и на карточках на визитных печатал: помещик и потомственный дворянин Исидор Сидорович Лысаков, вес – 9 п. 20 ф.

Но, конечно, и в данном случае я не спорю. Глазунов – мужчина, прямо скажу, крупный.

А Вагнера я не люблю. Непонятный композитор. Много чересчур в барабан быют, а толку нету. Я в такие спектакли всегда лучше ухожу или меняюсь. А один раз, мы «Тангейзера» ставили, я ушел, а у меня зрители бинокль сперли. А с бинокля всегда прямой доход. А ежели балет ставим, так только давай, давай. Неприятности, прямо скажу.

Говорят, будто Юрьев еще хороший артист – не знаю и утверждать боюсь – он у нас в театре не поет.

*Григ. Литкин*

## Свинство

Ведь вот свинство какое: сколько сейчас существует поэтов, которые драгоценную свою фантазию растрачивают на рифмы да стишки... Ну чтоб таким поэтам объединиться да и издать книжонку на манер наших святцев с полным и подробным перечислением новых имен... Так нет того – не додумались.

А от этого с Иван Петровичем произошла обидная история.

Пришел раз Иван Петрович к заведывающему по делам службы, а тот и говорит:

– Ах, молодые люди, молодые люди! На вас, – говорит, – вся Европа смотрит, а вы чего делаете?

– А чего? – спрашивает Иван Петрович.

– Да как чего? Вот взять тебя... Ты, например, младенца ждешь... А как ты его назовешь? Небось Петькой назовешь?

– Ну, – говорит, – а как же назвать-то?

– Эх, молодые люди, молодые люди! – говорит заведывающий. – По-новому нужно назвать. Нужно быть революционером во всем... На вас вся Европа смотрит...

– Что ж, – отвечает Иван Петрович, – я не против. Да только фантазия у меня ослабла. Недостаток, так сказать, воображения... Вот вы, человек образованный, просвещенный, восточный факультет кончили – посоветуйте. У вас и фантазия, и все такое...

– Пожалуйста, – говорит заведывающий. – У меня фантазии хоть отбавляй. Это верно. Вали, назови, ежели дочка – Октябрина, ежели парнишка – ну... Ну, – говорит, – как-нибудь да назови. Подумай... Нельзя же без имени ребенка оставить... Вот хоть из явления природы – Луч назови, что ли.

А имя такое – Луч – не понравилось Иван Петровичу.

– Нет, – говорит, – Луч с отчеством плохо – Луч Ивановч... Лучше, – говорит, – я после подумаю. Спасибо, что на девчонку надоумили.

Стал после этого Иван Петрович задумываться – как бы назвать. Имен этих приходило в голову множество, но все такие имена: то они с отчеством плохи, а то и без отчества паршиво звучат.

«Ладно, – решил Иван Петрович, – может, на мое счастье, девчонка народится... Ну а ежели мальчишка, там подумаю. В крайнем случае Лучом назову. Шут с ним. Не мне жить с таким именем...»

Много раз собирался Иван Петрович подумать, да по легкомыслию своему все откладывал – завтра да завтра.

«Чего, – думает, – я башку раньше времени фантазией засорять буду».

И вот наконец наступило событие. Родилась у Иван Петровича двойня. И все мальчишки.

Сомлел Иван Петрович. Два дня с дивана не поднимался – думал, аж голова распухла.

А тут еще супруга скулит и торопит:

– Ну как? Ну как?

А Иван Петрович плашмя лежит и руками отмахивается – не приставай, дескать, убью.

А сам самосильно думает:

«Стоп, думает. По порядку буду... Одного назову, ежели это есть мальчик, – Луч, Луч Ивановч. Заметано... Хоть и плохо – сам виноват. Был бы девочкой – другое дело... Другого, ежели это тоже есть мальчик, а не девочка, назову, ну... Эх, – думает, – хоть бы одна девчонка из двух...»

Пролежал Иван Петрович два дня на диване, и вместо имен стали ему в голову всякие пустяки лезть – вроде насмешки: Стул, Стол Ивановч, Насос Ивановч, Картина Ивановна...

И побежал Иван Петрович с перепугу к заведывающему.

– Выручайте, – кричит, – вы меня подкузьмили!

– А что? – спрашивает.

– Да как же что! Вся Европа на меня смотрит, а у меня все мальчики... Ну как я их назову?!

Думал, думал заведывающий.

– Вот, – говорит, – Луна, например, неплохое имя...

Заплакал Иван Петрович.

– Я, – говорит, – про Луну думал уж. Луна – это женский род... У меня все мальчики.

Стал опять думать заведывающий.

– Нет, – говорит, – увольте. Фантазии у меня действительно много, но направлена она в иную сторону... Пойдем, – говорит, – старик, выпьем с горя.

Пошли они в пивную, а там в трактир, а там опять в пивную. И запил Иван Петрович.

Пять дней домой не являлся, а как явился, так уж все было кончено: одного парнишку назвали Колей, а другого Петей. Этакое свинство.

Вот такая это была история.

А во всем виноваты поэты. У них фантазия.

## Европа

Любит русский человек побранить собственное отечество. И то ему, видите ли, в России плохо, и это не нравится. А вот, дескать, в Европе все здорово. А что здорово – он и сам не знает.

А ежели он будет говорить про омолаживание, то плюньте ему в глаза.

Поехал тут один гражданин омолаживаться. А что получилось?.. Пустяки...

А так было. Жил один гражданин в нашем доме в шестом номере. И был этот гражданин до того старенький, что перестал он даже за квартиру платить.

– Чего, – говорит, – мне деньги переводить зря? Я, – говорит, – одной ногой в гроб смотрю. Небось, скоро помру – с меня взятки гладки.

Так и не платил.

Уж комендант дома и угрожал старичку, и требовал, и по совести урезонивал, и ябеды писал – не помогает. Старичок только усмехается.

– Сами, – говорит, – виноваты, что не плачу. Дураки вы, некультурные вы люди. Жил бы я в Европе – омолодили бы меня, там и снова бы я стал платить. Даже, – говорит, – на ремонт крыши бы дал. А так – не желаю.

Так и не платил. И мало того, что не платил, а еще и задирали всех жильцов. Издевался над их некультурностью. И все насчет Европы скулил.

Наконец кто-то посоветовал старичку в Европу ехать.

Так старичок и сделал. Достал себе паспорт, распродал имущество и к осени выехал. Даже не попрощался ни с кем.

И вот поехал старичок в Берлин. И пишет из Берлина письмо в Россию. Вроде как хвалится:

«Сидю, – говорит, – в Берлине. И на днях буду омолаживаться. А медицина тут поставлена очень отлично – каждая кишка на учете. А как омоложусь, так и деньги вышлю за квартиру за все время. И может быть, на ремонт. До свиданья».

И вот принялся старичок ходить к знаменитым профессорам. Пошел к одному, к другому, к пятому – нет. Не берутся омолаживать. Один профессор над крысами производит опыты, другой профессор теорией вопроса занят, третий опять на практике крыс омолаживает. Даже злость взяла старичка.

– Что ж это, – говорит он одному профессору. – Крысы да крысы... Это выходит, что я зря проехался. Что ж, – говорит, – вы ваньку валяете. Едят вас мухи. Раззвонили на всю планету, а как до дела, так и не можете. Над крысами только...

– Нет, – говорит профессор, – не только над крысами, а и над кроликами, и над морскими свинками, и даже над обезьянами... Но есть всемирно известные профессора, которые и чело- веков омолаживают.

Дал тут профессор старичку адрес одного знаменитого ученого, который проживал в Гамбурге.

Вот старичок собрался и выехал туда.

А оттуда пишет письмо в Россию.

«Сидю, – говорит, – в Гамбурге. И скоро буду омолаживаться. Как омоложусь, так и деньги вышлю. Раньше не могу из принципа. До свиданья».

Написал старичок письмо и пошел к знаменитому ученому.

– Здравствуй, говорит. Вот, – говорит, – желаю омолодиться. Осчастливьте. Впрысните сыворотку.

– Можно, – говорит ученый, – это вам будет стоить триста английских фунтов.

Подсчитал старичок свои карбованцы, охнул, схватился за голову.

– Ох, – говорит, – знаменитый профессор, не хватает у меня пол английского фунта, извиняюсь.

– Ну ничего, – говорит ученый, – пушай так. Мне полфунта не расчет. Раздевайтесь.

Разделся старичок и думает:

«Вот, – думает, – едят его мухи. Он меня омолодит, а я потом с голоду помру без копейки денег. Все ему отдам...»

Подумал-подумал и стал одеваться.

– До свиданья, – говорит, – я в другой раз зайду. Подумаю.

– Что ж вы вола вертите? – сказал профессор, бросая препарат на стол.

Старичок бочком-бочком да и на лестницу. Бежит по лестнице, вдруг слышит – сзади какой-то человек цыкает.

– Тс, – говорит человек, – вам чего, омолодиться? Я, – говорит, – устрою. Вот вам адрес ученого. Он хотя и не очень знаменит, но возьмет с вас недорого.

Вот на другой день старичок и пошел к ученому. И действительно, взял этот ученый со старичка недорого, впрыснул ему что следует, а через два дня старичок и ноги протянул – помер.

А с чего помер – неизвестно. Может, ему не в то место впрыснули, куда следует, а может, старичок и сам помер от потрясения.

Вот. А вы говорите – Европа!

## Новый человек

Делопроизводитель Нюхательного треста Игорь Владимирович Козьепупов лежал у себя в комнате на кушетке и весело улыбался. Рядом в соседней комнате, у жены Машеньки, сидят гости. Вернее, не гости, а гость... Какой-то товарищ Ручкин. Машенькин сослуживец.

«Сидит, – думает Козьепупов. – Пускай сидит. Мне от этого ни холодно, ни жарко... Я все-таки новый человек. Современный человек. Так сказать – дитя своего века... Другой муж в три шеи погнал бы этого чертова Ручкина. А я – пожалуйста. Сиди, говори, что хочешь, шепчись... Замыкайся на все запоры... Целуйся... Шут с вами – мне все равно. Я новый человек. Человек новой эпохи».

В соседней комнате гудел густой голос товарища Ручкина. Однако слов нельзя было разобрать.

«Гудит, – думает Козьепупов. – Гуди, собачий нос, гуди. Скажи спасибо, что на такого мужа напал. Другой бы муж за манишку да по лестнице, да по лестнице. Башкой паршивой по лестнице – не лазь, дескать, к чужим женам...»

Козьепупов присел на кушетку и закурил.

«Да-а, – сказал он про себя, – как ни говори, а новые отношения между полами. Полнейшее социальное равенство... Я хоть и делопроизводитель, но я передовой человек. Я даже, ей-богу, к самому себе уважение чувствую. Я новый человек – не знающий ни ревности, ни мещанской собственности... Ведь другой человек мог бы и кислотой плеснуть в поганую рожу этого Ручкина... А по правде сказать, и стоит... Интересно знать, о чем это дерьмо беседует с Машенькой?»

Козьепупов встал с кушетки и тихонько подошел к двери.

– Марья Михайловна, – густо говорил товарищ Ручкин, – вы прелестная дамочка... Дозвольте в ручку поцеловать...

Козьепупов замер у двери.

«Сволочь какая! – удивился он. – А? Дозвольте поцеловать... Другой бы муж за такие слова все кишки бы выпустил, с пятого этажа бы выкинул...»

Козьепупов в волнении отошел от двери и снова прилег на кушетку. Но теперь ему не лежалось.

«Этакая скотина, – думал Козьепупов. – Два часа сидит. Да еще гудит, как прохвост... Хоть бы подумал, что муж в соседней комнате... Я, знаете ли, хоть и новый человек, но если он еще десять минут просидит, то я ему пропишу пфеферу. Я ему все кишки выпущу... Я его, собачьего прохвоста, в зубной порошок разотру».

Козьепупов вскочил с кушетки и принялся шагать по комнате, нарочно стуча каблуками.

– Маша! – вдруг крикнул Козьепупов визгливым голосом. – Маша! Поздно уж... Спать пора!

Густой голос Ручкина прервался на полуслове. В комнате стало тихо. Через минуту в дверях показалась Машенька.

– Это нетактично! – сказала она. – Это свинство. Где твои убеждения?..

– А-а, нетактично? – заорал Козьепупов, брызгая слюной. – Нетактично!

Он схватил жену за руку и потащил в комнату, где сидел гость.

– Нетактично! – орал Козьепупов, тыча пальцем в товарища Ручкина. – А два часа сидеть тактично? Я, извиняюсь, товарищ, не из ревности... Я новый, передовой человек, но я покажу, что тактично. Я покажу, где раки зимуют! Вон отсюда! Пошел вон отсюда, дурак собачий...

Гость съежился и, забормотав непонятное, вышел из комнаты, испуганно оглядываясь. Машенька тихо плакала.

## Писатель

Конторщик Николай Петрович Дровишкин давно мечтал сделаться корреспондентом. Он послал даже раз в газету «Красное чудо» письмо с просьбой принять в рабкоры. Но ответа еще не было. И талант Дровишкина пропадал в бездействии.

А Дровишкин был очень талантливый человек. И главное – отличался красноречием. Все знакомые даже удивлялись.

– Голубчик, – говорили знакомые, – да с вашим талантом в газеты нужно писать.

В ответ Дровишкин только усмехался.

«Уж только бы мне попасть в газету, – думал Дровишкин. – Уж я бы написал. Уж я бы с моим талантом черт его знает что бы написал».

И вот однажды, развернув дрожащими руками «Красное чудо», Дровишкин прочел: «Ник. Дровишкину. – Пишите о быте. Ваш № 915».

От радости Дровишкин едва не задохнулся.

– Есть! Принят! Корреспондент «Красного чуда» Николай Дровишкин!

И, едва досидев до четырех, Дровишкин вышел на улицу, презрительно взглянув на начальство.

На улице восторг Дровишкина немного утих.

«О чем же я буду писать? – подумал Дровишкин, останавливаясь. – Как о чем? О быте... Вот, например... Ну что бы? Ну вот, например, милиционер стоит... Почему он стоит? Может, его солнце печет, а сверху никакой крыши нету... Гм, нет, это мелко...»

Дровишкин пошел дальше и остановился у окна колбасной.

«Или вот о мухах... Мухи на колбасе... Потом трудящиеся кушать будут...»

Дровишкин укоризненно покачал головой и зашел в лавку.

– Как же это так, братцы? – сказал он приказчику. – Мухи у вас на окнах...

– Чего-с?

– Нет, я так. Трудящиеся, – говорю, – потом кушать будут. После мух... Дайте-ка мне того... полфунтика чайной...

Дровишкин помялся у дверей, положил колбасу в карман и вышел из лавки.

«Нет, – подумал он, – о мухах нельзя – мелко. Нужно взять что-нибудь этакое крупное. Какое-нибудь общественное явление. Факт значительный».

Но ничего значительного Дровишкину не приходило в голову. Даже люди, проходящие мимо него, были самые обыкновенные люди, совершенно непригодные для замечательной статьи.

Настроение у Дровишкина упало.

«О погоде, что ли, написать? – уныло подумал он. – Или про попа, что ли...»

Но, вспомнив, что поп приходится дальним родственником жены, махнул рукой и пошел к дому.

Дома, закрывшись в своей комнате, Дровишкин принялся писать. Писал он долго. И когда кончил – уже начинало светать.

Разбудив жену, Дровишкин сказал:

– Вот, Веруся, послушай-ка. Я хочу знать твое мнение. Это явление из жизни...

Дровишкин сел против жены и стал читать глухим голосом. Статья начиналась туманно, и смысл ее даже самому Дровишкину был неясен, но зато конец был хлесткий:

«И вместо того, чтобы видеть перед окнами ландшафт природы, трудящиеся порой лицезреют перед глазами мокрое белье, которое повешено для просушки. За примером ходить недалеко. Не далее как сегодня, вернувшись после трудового дня, я увидел вышеуказанное белье,

среди которого были и дамские принадлежности, и мужское исподнее, что, конечно, не отвечает эстетическим запросам души.

Пора положить этому предел. То, что при старом режиме было обычным явлением, того не должно быть теперь».

– Ну как? – спросил Дровишкин, робко взглянув на жену. – Хорошо?

– Хорошо! – сказала жена. – Только, Коля, ты про какое белье говоришь? Это ведь наше белье перед окнами...

– Наше? – охнул Дровишкин.

– Ну да. Не узнал? Там и твое исподнее.

Дровишкин опустил перед женой и, уткнувшись носом в ее колени, тихонько заплакал.

– Верочка! – сказал Дровишкин, сморкаясь. – Кажется, все у меня есть: и слог красивый, и талант, а вот не могу... И как это пишут люди?



## Последнее Рождество

Давненько я не праздновал Рождества.

В последний раз это было лет семь назад.

Перед самым Рождеством выехал я к своим родным в Петроград. Мне не повезло: на какой-то пустяковой станции пришлось ночевать. Поезд опаздывал часов на двенадцать.

А станция была действительно пустяковая – не было даже буфета.

Сторож, впрочем, хвалился, что буфет «обнакновенно есть, но покуда», по случаю праздников, – нет. Утешение было среднее.

На этой станции нас, горемычных путников, было человек двенадцать. Тут был и какой-то купец-рыбник с бородой, два студента, и какая-то женщина в старомодной ротонде, с двумя чемоданами, и прочих неизвестный мне люд.

Все покорно сидели за столом в маленькой зале, и только в купце бушевала злоба. Он вскакивал из-за стола, бежал в дежурную, и нам было слышно, как голос его злобно повизгивал и повышался.

Кто-то из начальства отвечал спокойно:

– Не могу знать... В восемь утра... Не раньше.

Среди пассажиров был еще очень опрятного вида старичок в шубке и в высокой меховой шапке. Сначала старичок, добродушно посмеиваясь, утешал пассажиров, ласково глядя им в глаза, потом принялся подпевать тихим козлиным тенорком: «Рождество твое, Христе Боже наш».

Это был старичок совершенно набожного вида. Добродушие и кротость были заметны во всяком его движении.

Он сидел на стуле и, покачиваясь в такт, пел «Рождество твое». Но вдруг сорвался со стула и исчез со станции... Через несколько минут он вернулся, держа в руке еловый сучок.

– Вот! – сказал старичок с восторгом, подходя к столу. – Вот, милостивые государи, и у нас елка.

И старичок принялся втыкать елку в графин, тихо подпевая: «Рождество твое, Христе Боже наш».

– Вот, милостивые государи, – снова сказал старичок, несколько отходя от стола и любясь своей работой. – В этот торжественный день, по чьим-то грехам, вынуждены мы тут сидеть яко благ, яко наг...

Пассажиры с неудовольствием и раздражением смотрели на суетливую фигурку старика.

– Да, – продолжал старичок, – по чьим-то грехам... Православные христиане, этот торжественный день мы, конечно, привыкли проводить среди своих друзей и приятелей. Мы привыкли смотреть, как наши маленькие детки прыгают в неописуемом восторге вокруг рождественской елки... Нам нравится, милостивые государи, по человеческим слабостям, откусывать в этот день и ветчинки с зеленым горошком, и кружок-другой колбасы, и ломтик гуся, и рюмашечку чего-нибудь этого...

– Тьфу! – сказал рыботорговец, с омерзением глядя на старичка.

Пассажиры задвигались на стульях.

– Да, милостивые государи, – продолжал старичок тончайшим голосом, – привыкли мы проводить этот день в торжестве, но если нет, то не пойдешь против Бога... Говорят, тут неподалеку существует церковка... Пойду я туда... Пойду, милостивые государи, пролью слезу и поставлю свечечку...

– Послушайте, – сказал торговец, – а может, тут чем разжиться можно? Может, в самом деле, тут этого... ветчинки раздобыть можно? Ежели расспросить.

– Полагаю, что можно, – сказал старичок, – за деньги, милостивые государи, все можно. Ежели собратся...

Купец вынул бумажник и, хлопнув об стол, стал отсчитывать. Пассажиры с радостью заворочались на стульях, вытаскивая свои деньги...

Через несколько минут, подсчитав собранные деньги, старичок с восторгом объявил, что хватит за глаза и на еду, и на питье, и на прочее.

– Только вы недолго, – сказал торговец.

– Поставлю свечечку, – сказал старичок, – пролью слезу, расспрошу у православных христиан, где купить, и назад... За кого, милостивые государи, поставить свечечку?

– Поставьте за меня, – сказала женщина в ротонде, роясь в кошельке и протягивая деньги. Денег от нее старичок не взял.

– Нет, сударыня, – сказал он, – позвольте уж мне из своих скромных средств сделать христианское дело. За кого еще?

– Ну и за меня тогда, – сказал купец, пряча свой бумажник.

Старичок кивнул головой и вышел. «Рождество твое, Христе Боже наш», – услышали мы его голос.

– Какой божественный старичок! – сказал торговец.

– Удивительный старичок, – поддержал кто-то.

И пассажиры с восторгом стали рассуждать о старичке.

Прошел час. Потом два. Потом часы пробили пять. Старичок не шел. В семь часов утра его тоже не было.

Половина восьмого – подали поезд, и пассажиры бросились занимать места.

Поезд тронулся.

Было еще темновато. Вдруг мне показалось, что за углом станции мелькнула знакомая фигура старичка.

Я бросился к окну. Старичок скрылся.

Я вышел на площадку – и вдруг явственно услышал знакомый козлиный тенорок: «Рождество твое, Христе Боже наш».

Это было мое последнее Рождество.

Сейчас к религии я отношусь как-то скептически.

## Монастырь

В святых я, братцы мои, давненько не верю. Еще до революции. А что до Бога, то в Бога перестал я верить с монастыря. Как побывал в монастыре, так и закаялся.

Конечно, все это верно, что говорят про монастыри – такие же монахи люди, как и мы прочие: и женки у них имеются, и выпить они не дураки, и повеселиться, но только не в этом сила. Это давно известно.

А вот случилась в монастыре одна история. После этой истории не могу я спокойно глядеть на верующих людей. Пустяки ихняя вера.

А случилось это, братцы мои, в Новодеевском монастыре.

Был монастырь богатый. И богатство свое набрал с посетителей. Посетители жертвовали. Бывало, осенью, как напрут всякие верующие, как начнут лепты вносить – чертям тошно. Один вносит за спасение души, другой – за спасение плавающих и утопающих, третий так себе вносит – с жиру бесится.

Многие вносили – принимай только. И принимали. Будьте покойны.

Ну а, конечно, который внесет – норовит уж за свои денежки пожить при монастыре и почетом пользоваться. Да норовит не просто пожить, а охота ему, видите ли, к святой жизни прикоснуться. Требуется и келью отдельную, и службу, и молебны.

Ублаготворяли их. Иначе нельзя.

А только осенью келий этих никак не хватало всем желающим. Уж простых монахов вытесняли на время по сараям, и то было тесно.

А сначала было удивительно – с чего бы это народ сюда прет? Что за невидаль? Потом выяснилось: была тут и природа богатая, климат, и, кроме того, имелась приманка для верующих.

Жили в монастыре два монаха-молчальника, один столпник и еще один чудачок. Чудачок этот мух глотал. И не то чтобы живых мух, а настойку из мух пил натошак. Так сказать, унижал себя и подавлял свою плоть.

Бывало, с утра пораньше народ соберется вокруг его сарайчика и ждет. А он, монах то есть, выйдет к народу, помолится, поклонится в пояс и велит выносить чашку. Вынесут ему чашку с настойкой, а он снова поклонится народу и начнет пить эту гнусь.

Ну, народ, конечно, плюется, давится, которые слабые дамы блюют и с ног падают, а он, сукин сын, вылакает гнусь до дна, не поморщится, перевернет чашку, дескать, пустая, поклонится – и к себе. Только его и видели до другого дня.

Один раз пытались верующие словить его, дескать, не настоящая это настойка из мух. Но только верно – честь честью. Монах сам показал, удостоверил и сказал народу:

– Что я, Бога, что ли, буду обманывать?

После этого слава о нем пошла большая.

А что до других монахов – были они не так интересны. Ну хотя бы молчальники. Ну молчат и молчат. Эка невидаль! Столпник – тоже пустяки. Стоит на камне и думает, что святой. Пустяки!

Был еще один такой – с гирькой на ноге ходил. Этот нравился народу. Одобряли его. Смешил он верующих. Но только долго он не проходил – запил, гирьку продал и ушел восвояси.

А все это, конечно, привлекало народ. Любопытно было. Оттого и шли сюда. А шли важные люди. Были тут и фоны, и бароны, и прочая публика. Но из всех самый почтенный и богатый гость был московский купчик Владимир Иванович.

Много денег он всадил в монастырь. Каялся человек.

Грехи замаливал.

– Я, – говорил он про себя, – всю жизнь грешил, ну а теперь пятый год очищаюсь. И надеюсь очиститься.

А старенький был этот человек! Бороденка была у него совсем белая. И, на первый взгляд, он был похож на святого Кирилла или Мефодия. Чего такому-то не каяться?

А приезжал он в монастырь часто.

Бывало, приедет, остановит коляску версты за три и прет пешком.

Придет вспотевший, поклонится братии, заплачет. А его под ручки. Пот с него сотрут, и водят вокруг, и шепчут на ухо всякие пустяки.

Ну, отогреется, проживет недельку, отдарится и снова в город. А там опять в монастырь. И опять кается.

А каялся он прямо на народе. Как услышит монастырский хор – заплачет, забьется: «Ах я такой! Ах я этакий!» Очень на него хор действовал. Жалел только старик, что не дамский это монастырь.

– Жаль, говорил, что не дамский, а то я очень обожаю самое тонкое пение сопран.

Так вот, был Владимир Иванович самый почтенный гость. А от этого все и случилось.

Продавалось рядом с монастырем имение. Имение дворянское. «Дубки». Имение удобное – земли рядом. Вот игумен и разгорелся на него. Монахи тоже.

Стал игумен вместе с экономом раскидывать – как бы им подобрать к своим рукам. Да никак. Хоть и денег тьма, да купить нельзя. По закону не показано. По закону мог монастырь землю получить только в дар. А купить нельзя было.

Вот игумен и придумал механику. Придумал он устроить это дело через Владимира Ивановича. Посетитель почтенный, седой – купит и подарит после. Только и делов.

Ну, так и сделали.

А купчик долго отнекивался.

– Нет, говорил, куда мне! От мирских дел я давно отошел, мозги у меня не на то самое направлены, а на очищение и на раскаяние – не могу, простите.

Но уломали. Мраморную доску обещали приклепать на стене с заглавием купчика. Согласился купчик.

И вот дали ему семьдесят тысяч рублей золотом, отслужили молебствие с водосвятием и отправили покупать.

Покупал он долго. Неделю. И приехал назад в монастырь вспотевший и вроде как не в себе. Приехал утром. С экипажа не слез, к игумену не пошел, а велел только выносить свои вещи из кельи.

Ну а монахи, конечно, сбежались – увидели. И игумен вышел.

– Здравствуйте, – говорит. – Сходите.

– Здравствуйте, – говорит. – Не могу.

– Отчего же, – спрашивает, – не можете? Не больны ли? Как, дескать, ваше самочувствие и все такое?

– Ничего, – говорит Владимир Иванович, – спасибо. Я, – говорит, – приехал попрощаться да вещички кой-какие забытые взять. А сойти с экипажа не могу – ужасно тороплюсь.

– А вы, – говорит игумен, – через не могу. Какого черта! Нужно нам про дело поговорить. Купили?

– Купил, – отвечает купчик, – обязательно купил. Такое богатое имение не купить грешно, отец настоятель.

– Ну, и что же? – спрашивает игумен. – Оформить надо... Дар-то...

– Да нет, – отвечает купчик. – Я, – говорит, – раздумал. Я, – говорит, – не подарю вам это имение. Разве мыслимо разбрасываться таким добром? Что вы?

Чего тут и было после этих слов – невозможно рассказать. Игумен, конечно, ошалел, нос у него сразу заложил – ни чихнуть, ни сморкнуться не может. А эконом – мужчина грузный –

освирепел, нагнулся к земле и, за неимением под рукой камня, схватил гвоздь этакий длинный, барочный и бросился на Владимира Иваныча. Но не заколол – удержали.

Владимир Иванович побледнел, откинулся в экипаже.

– Пушай, – говорит, – пропадают остальные вещи.

И велел погонять.

И уехал. Только его и видели.

Говорили после, будто он примкнул к другому монастырю, в другой монастырь начал жертвовать, но насколько верно – никто не знает.

А история эта даром не прошла. Которые верующие монахи стали расходиться из монастыря. Первым ушел молчальник.

– Ну, – говорит, – вас, трамтарарам, к чертям собачьим!

Плюнул и пошел, хотя его и удерживали.

А засим ушел я. Меня не удерживали.

## Рассказ певца

Искусство падает, уважаемые товарищи! Вот что.

Главная причина в публике. Публика пошла ужасно какая неинтересная и требовательная. И неизвестно, что ей нужно. Неизвестно, какой мотив доходит до ее сердца. Вот что.

Я, уважаемые товарищи, много пел. Может, Федор Иванович Шаляпин столько не пел. Пел я, вообще, и на улицах, и по дворам ходил. А что теперешней публике нужно – так и не знаю.

Давеча со мной такой случай произошел. Пришел я во двор. На Гончарной улице. Дом большой. А кто в нем живет – неизвестно по нынешним временам.

Спрашиваю дворника:

– Ответь, – говорю, – любезный кум, какой тут жилец живет?

– Жилец разный. Есть, – говорит, – и мелкий буржуй. Свободная профессия тоже имеется. Но все больше из рабочей среды: мелкие кустари и фабричные.

«Ладно, думаю. Кустарь, – думаю, – всегда на “Кари глазки” отзывается. Спою “Кари глазки”».

Спел. Верчу головой по этажам – чисто. Окна закрыты, и никто песней не интересуется.

«Так, думаю. Может, – думаю, – в этом доме рабочие преобладают. Спою им “Славное море, священный Байкал”».

Спел. Чисто. Никого и ничего.

«Фу ты, – думаю, – дьявол! Неужели, – думаю, – в рабочей среде такой сдвиг произошел в сторону мелкой буржуазии? Если, – думаю, – сдвиг, то надо петь чего-нибудь про любовь и про ласточек. Потому буржуй и свободная профессия предпочитают такие тонкие мотивы».

Спел про ласточек – опять ничего. Хотя бы кто копейку скинул.

Тут я, уважаемые товарищи, вышел из терпения и начал петь все, что знаю. И рабочие песни, и чисто босяцкие, и немецкие, и про революцию, и даже «Интернационал» спел.

Гляжу, кто-то бумажную копейку скинул.

До чего обидно стало – сказать нельзя. Голос, – думаю, – с голосовыми связками дороже стоит.

«Но стоп, думаю. Не уступлю. Знаю, чего вам требуется. Недаром два часа пел. Может, – думаю, – в этом доме, наверно, религиозный дурман. Нател!»

Начал петь «Господи помилуй» – глас восьмой.

Дотянул до середины – слышу, окно кто-то открывает.

«Так, – думаю, – клюнуло. Открываются».

Окно, между тем, открылось, и хлесь кто-то в меня супом.

Обомлел я, уважаемые товарищи. Стою совершенно прямой и морковку с рукава счищаю. И гляжу, какая-то гражданка без платка в этаже хохочет.

– Чего, – говорит, – панихиды тут распускаешь?

– Тс, – говорю, – гражданочка, за какое самое с этажа обливаются? В чем, – говорю, – вопрос и ответ? Какие же, – говорю, – песни петь, ежели весь репертуар вообще спет, а вам не нравится?

А она говорит:

– Да нет, – говорит, – многие песни ваши хороши и нам нравятся, но только квартирные жильцы насчет голоса обижаются. Козлетон ваш им не нравится.

«Здравствуйте, – думаю. – Голос уж в этом доме им не нравится. Какие, – думаю, – пошли современные требования».

Стряхнул с рукава морковку и пошел.

Вообще искусство падает.

## Тетка Марья рассказала

Пошла я, между прочим, в погреб. Взяла, конечно, горшок с молоком в левую руку и иду себе.

Иду себе и думаю:

«Паутина, – думаю, – в угле завелась. Сместь надо».

Повела я поверху головой, вдруг хрясь затылком об косяк. А косяк низкий.

А горшок хрясь из рук. И текет молоко.

А в глазах у меня мурашки и букашки, и хрясь я тоже об пол. И лежу, что маленькая.

После пришла в себя.

«Так, – думаю, – мать честная, пресвятая. Едва я, – думаю, – от удара не кончилась».

Пришла я домой, голову косынкой обернула и пилюлю внутрь приняла. Пилюли у меня такие были... И живу дальше.

И начало, милые, с тех пор у меня дрожать чтой-то в голове. И дрожит, и болит, и на рвоту зовет.

Сегодня, например, голова болит, завтра я блюю. Завтра блюю, послезавтра обратно голова болит. И так она, сукин сын, болит, что охать хочется и на стенку лезть.

Ладно. Болит она, сукин сын, месяц. И два болит. И три болит. После Авдотья Петровна ко мне заявляется и пьет кофей.

Сем-пересем. Как, и чего, и почему. А я и говорю ей:

– Голова-то, – говорю, – Авдотья Петровна, не отвинчивается – в карман не спрячешь. А если, – говорю, – ее мазать, то опять-таки чем ее мазать? Если куриным пометом, то, может, чего примешивать надо – неизвестно.

А Авдотья Петровна выкушала два стакана кофey, кроме съеденных булок, и отвечает:

– Куриный, – говорит, – помет или, например, помет козий – неизвестно. Удар, – говорит, – обрушился по затылку. Затылок же дело темное, невыясненное. Но, – говорит, – делу может помочь единственное одно лицо. А это лицо – ужасно святой жизни старец Анисим. Заявись между тем к нему и объяснись... А живет он на Охте. У Гусева.

Выпила Авдотья Петровна еще разгонный стакашек, губы утерла и покатилась.

А я, конечно, взяла, завернула сухих продуктов в кулек и пошла на другой день к старцу Анисиму. А голова болит, болит. И блевать тянет. Пришла.

Комната такая с окном. Дверь деревянная. И народ толкется. И вдруг дверь открывается и входит старец святой Анисим.

Рубашка на нем сатиновая, зубы редкие и в руках жезло.

Подала я ему с поклоном сухими продуктами и говорю как и чего. А он вроде не слушает и говорит загадками:

– На Бога надейся, сама не плошай... Не было ни гроша, вдруг пуговица...

А кулек между тем взял и подает своей сиделке.

– Анисим, – говорю, – не замай. Либо, – говорю, – кулек назад отдай, либо объясни ровней как и чего.

А он скучным взглядом посмотрел и отвечает:

– Все, – говорит, – мы у Бога на примете... Чем ушиблась, тем и лечись.

«Ах ты, – думаю, – клюква! Чего ж это он говорит такое?»

Но спорить больше не стала и пошла себе. Дома думала, и плакала, и не решалась загадку разгадать. А после, конечно, решилась и стукнулась. Стукнулась затылком о косяк и с катушек долой свалилась. И «мя» сказать не могу.

А после свезли меня в больницу. И что ж вы думаете, милые мои? Поправилась. Слов нет: башка по временам болит и гудит, но рвоту как рукой сняло...

## Исторический рассказ

В этом деле врать не годится. Если ты видел Владимира Ильича – говори: видел там-то, при таких-то обстоятельствах. А если не видел – молчи и не каркай по-пустому. Так-то будет лучше для истории.

А что Иван Семеныч Жуков хвалился, будто он на митинге видел Владимира Ильича и будто Ильич все время смотрел ему в лицо, то это вздор и сушая ерунда. Не мог Ильич смотреть ему в лицо, – лицо как лицо, борода грубая, тычком, нос простой и заурядный. Не мог Ильич смотреть на такое лицо, тем более что Иван Семеныч Жуков нынче ларек открыл – торгует, и, может, у него гири неклеимые.

За такое вранье я еще при встрече плюну в бесстыжие глаза этого Жукова.

Вообще от такого вранья только путаница может произойти в истории.

Я вот видел нашего дорогого вождя, Владимира Ильича Ленина, не вру.

Я, может, специально от Мартынова пропуск в Смольный достал. Я, может, часа три как проклятый в коридорах ходил – ждал. И ничего – не хвастаюсь. А если и говорю теперь, то для истории.

А встал я в коридоре ровно в три часа пополудни. Встал и стою что проклятый. А тут возле меня мужчина в меховой шубе стоит и ногами дергает от холода.

– Чего, – спрашиваю, – стоите и ногами дергаете?

– Да, – говорит, – замерз. Я, – говорит, – шофер Ленина.

– Ну? – говорю.

Посмотрел я на него – личность обыкновенная, усишки заурядные, нос.

– Разрешите, – говорю, – познакомиться.

Разговорились.

– Как, – говорю, – возите? Не страшно ли возить? Пассажир-то не простой. А тут вокруг столбы, тумбы – не наехать бы, тыфу-тыфу, на тумбу.

– Да нет, – говорит, – дело привычное.

– Ну, смотрите, – говорю, – возите осторожно.

Ей-богу, так и сказал. И не хвастаюсь. А если и говорю, то для истории. А шофер, хороший человек, посмотрел на меня и говорит:

– Да уж ладно, постараюсь.

Ей-богу, так и сказал. «Постараюсь», – говорит.

– Ну, – говорю, – старайся, братишка.

А он махнул рукой – дескать, ладно.

– То-то, говорю.

Хотел я записать наш исторический разговор – бац – карандаша нету. Роюсь в одном кармане: спички, тонкая бумага на заvertку, нераскуренная пачка восьмого номера, а карандаша нету. Роюсь в другом кармане – тоже нету.

Побежал я во второй этаж, в канцелярию – дали огрызок. Возвращаюсь поскорей назад – нету шофера. Сейчас тут стоял в шубе и ногами дергал, а сейчас нету. И шубы нету.

Я туда, сюда – нету.

Выбегаю на улицу – шофер на машине сидит, машина шумит и трогается. А в машине – дорогой вождь, Владимир Ильич, сидит, и воротничок поднят.

Приложил я руку к козырьку, хотел закричать ура, но забоялся часового и отошел влево.

Отошел – и не хвастаюсь. Не кричу налево и направо – дескать, и я видел Ильича.

Ну видел и видел. Про себя счастлив, а которые люди хотят от меня подробностей узнать, пущай прямо ко мне обращаются.



## Колдун

Чудеса, граждане! Кругом, можно сказать, пар, электрическая энергия, швейные ножные машинки, – и тут же наряду с этим – колдуны и кудесники.

Совершенные чудеса!

У мужика в деревне сеялка и веялка, и землю свою мужик раздраконивает паровым трактором, и тут же рядом и почти в каждой деревне проживает колдун. Живет, хлеб жует и мужичков поцукивает.

Странные и непонятные вещи!

На днях вот в одной деревне убили колдуна. Ну убили, убили – забыть надо. Так не забыли мужички. Плачут теперь и рыдают и рвут на себе волосенки.

Потому – пугаются, что будет наказание свыше.

А пришел этот колдун перед самой своей гибелью к одному среднему мужику. А примета такая: пришел колдун – значит, жди беды: либо корова скончается, либо другое несчастье.

Пришел колдун и сел за стол. А глаза у самого мутные, усы книзу, и бороденка треплется.

Сидит колдун за столом и почесывает левую руку. Ну, конечно, в избе испугались. Хозяйка мечется, кричит, прет на стол все съедобное. Старуха кланяется между тем колдуну в пояс и наивно спрашивает:

– И чего ты, батюшка, пришел, сел за стол и чешешь левую ручку? Не случится ли какой бедешки или горя?

А колдун, нахмурясь, отвечает:

– Может, бабка, и случится. А случится, так откупишься, божья старушка. Бояться беды нечего.

А хозяин, инвалид Тимошка, цыкает на старушку и сам к колдуну подходит.

– Нечего, – говорит, – дарма тут сидеть – прохладиться. Нечего, – говорит, – тут ручки чесать – блох у меня разводить. Почесал, и хватит – катись колбаской.

Ахнули в избе от нахальной реплики. А колдун посерел, встал, понюхал пустой воздух и вышел.

Ну вышел – вышел. Баба плачет, старушка хрюкает, а Тимошка, выпятив грудь, отвечает:

– Я, – говорит, – еще премного жалею, что колдуна между глаз не ударил. Я, – говорит, – колдунов завсегда в переносье бью.

И вот наступила ночь. Баба плачет, старушка хрюкает. А Тимошка на лавке лежит и носом посвистывает.

Вдруг среди ночи баба Тимошку будит.

– Ну, – говорит, – дождались – несчастье. Слушай!

И верно: со двора из хлева тоненько так теля заливается.

Ну, зажгли фонарь, вышли во двор – верно: стоит теленок посереде хлева, хвостик свой приподнял ввысь и орет, орет – ушам скучно.

Дали телке хлебца моченого – не берет. Дали молока – отказывается.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.